

Шб(7/6)

АБВ



ДВА
ЛИКА
ПЛАНЕТЫ

*Английские
писатели
о
Стране
Советов*



ДВА
ЛИКА
ПЛАНЕТЫ

*Английские
писатели
о
Стране
Советов*

Составитель и автор примечаний
В. А. Скороденко

Послесловие Г. А. Анджапаридзе



Рэнсом, Артур (1884—1967) — писатель, литературный критик, журналист. Автор биографий Э. А. По (1910), О. Уайльда (1912), сборников статей. Широко известен своими книгами для детей и подростков: «Алладин» (1919), «Ласточки и амазонки» (1931), «Долина ласточек» (1931), «Питер Дак» (1933), «Голубиная почта» (1936), «Большая шестерка» (1940) и другими. Рэнсом изучил русский язык, перевел и издал сборник русских народных сказок «Русские сказки, стариной Петром рассказанные» (1916).

В качестве корреспондента английских газет «Дейли ньюс» (1916—1919) и «Манчестер гардиан» (1919—1924) Рэнсом бывал в России и Советском Союзе. Он несколько раз был принят В. И. Лениным, в 1918 и 1922 годах получал у В. И. Ленина интервью. Был одним из организаторов кампании по сбору средств в помощь голодающим Поволжья. Выступал со статьями и сообщениями, которые содействовали разоблачению зарубежных домыслов о молодом Советском государстве. Опубликовал книги «Шесть недель в России» (1919), «Кризис в России» (1921), «Китайская головоломка» (1927) и другие.

Очерк «Великий вождь» — о встречах с В. И. Лениным — был опубликован вместе с книгой А. Р. Вильямса «Ленин: Человек и его дело» (1919). Настоящий перевод впервые опубликован в журнале «Дружба народов» (1959, № 4), впоследствии перепечатан в книге: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в 5-ти т. Том 5: Воспоминания зарубежных современников. — М.: Политиздат, 1970. Воспроизводится по последнему изданию.

«Тяжелый год» — глава из книги «Шесть недель в России». Перевод воспроизводится по изданию: Глазами иностранцев: Иностранные писатели о Советском Союзе. — М.: ГИХЛ, 1932.

ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ

1

Что бы ни думали о Владимире Ильиче Ульянове-Ленине его враги, но даже и они не отрицают, что он — один из величайших людей своего времени. Стоит ли объяснять, почему я записал тот мой краткий разговор с ним, который, как мне кажется, позволяет судить о складе его ума.

Разговаривая со мной о том, что английскому рабочему движению не хватает теоретиков, он вспомнил, как на одном собрании слышал выступление Бернарда Шоу.

— Шоу, — сказал Ленин, — честный человек, попавший в компанию фабианцев. Он куда левее всех тех, кто его окружает.

Ленин ничего не знал о книге Шоу «Совершенный вагнерианец» и очень заинтересовался ею, когда я рассказал ему содержание. Кто-то из присутствовавших вмешался в разговор и назвал Шоу клоуном. Ленин сердито отрезал:

— Он, может быть, и клоун для буржуазии в буржуазном государстве, но в революции его не сочли бы за клоуна.

Он спросил меня:

— Сознательно ли работает Сидней Вебб на капиталистов?

И когда я ответил, что это, по моему глубокому убеждению, не так, Ленин заметил:

— Тогда у него больше трудолюбия, чем ума. У него безусловно огромные знания.

... О Советах Ленин сказал:

— Вначале я думал, что они есть и останутся чисто русской формой, но теперь совершенно очевидно, что под разными названиями они должны стать орудием революции повсюду.

Он выразил мнение, что в Англии не допустят, чтобы я говорил правду о России, и в качестве примера рассказал, как в Америке заставили молчать полковника Робинса. О Робинсе он спросил:

— В самом ли деле он относился к Советскому правительству дружелюбно?

Я ответил:

— Да, но только как спортсмен, восхищавшийся его мужеством и смелостью в борьбе с трудностями.

Я привел слова Робинса, говорившего:

— Я не могу воевать с ребенком, у колыбели которого провел шесть месяцев. Но если бы большевистское движение началось в Америке, я взял бы в руки винтовку, чтобы в любой момент выступить против него.

Ленин заметил:

— Вот это человек честный и гораздо дальновиднее многих. Мне он всегда нравился.

Представив себе образ ребенка, Ленин весело рассмеялся:

— У колыбели этого ребенка сидят еще несколько миллионов человек.

... Говоря о клевете, которую распространяют о России, Ленин заметил, что это главным образом извращенные факты, а не голые выдумки, и в качест-

ве примера рассказал о недавно опровергнутом им слухе.

— Вы знаете, откуда пошел этот слух? — спросил он. — Я, разговаривая по телефону с одним знакомым, пожелал ему счастливого Нового года и сказал: «Будем надеяться, что в новом году мы совершим меньше глупостей, чем в старом». Кто-то услышал об этом и рассказал кому-то еще. Одна же из газет объявила: «Ленин говорит: мы совершаем глупости». С этого все и началось.

Больше, чем когда-либо раньше, Ленин произвел на меня впечатление счастливого человека.

Возвращаясь из Кремля, я думал: видел ли я когда-нибудь человека его калибра, который обладал бы таким же жизнерадостным темпераментом? Мне никто не приходил на ум. Этот невысокий, лысоватый, с морщинками на лице человек, который, покачиваясь на стуле, смеется то по одному, то по другому поводу, в то же время всегда готов каждому дать обстоятельный совет; при этом совет настолько хорошо аргументирован, что делается для его сторонников убедительнее любого приказа. Его морщины — морщины смеха, а не горя. Я думаю, что это именно так, ибо он первый великий вождь, который полностью отрицает значение своей собственной личности. Ему совершенно несвойственно честолюбие. Более того, как марксист, он верит в народное движение, которое с ним или без него все равно будет поступательным... Поэтому он свободен, как не был свободен ни один выдающийся человек до него. Доверие к нему рождает не столько то, что он говорит, сколько эта ощущаемая в нем внутренняя свобода и это его бросающееся в глаза самоотречение. Исходя из своей философской концепции, он ни на минуту не допускает, чтобы ошибка одного человека могла испортить все дело. Сам он, по его мнению, только участник, а не причина событий, которые навеки будут связаны с его именем.

2

Я отправился к Ленину на следующий день после парада на Красной площади и праздника в честь III Интернационала¹.

¹ Торжественное заседание ВЦИК, Московского Совета, МК РКП(б), ВЦСПС, профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов Москвы в ознаменование создания III, Коммунистическо-

Первым делом он сказал мне:

— Боюсь, джингоисты¹ в Англии и во Франции используют вчерашние события в качестве предлога для новых выступлений против нас.

Он заговорил о последней чичеринской ноте и сказал, что в России возлагают на нее большие надежды. Бальфур где-то сказал: «Пускай огонь погаснет сам». Так не выйдет. Но самый быстрый путь восстановить в России нормальные условия состоит, конечно, в заключении мира и соглашении с союзниками. «Я уверен, мы могли бы договориться, если бы они вообще хотели договориться. Англия и Америка, возможно, пошли бы на это, не будь их руки связаны Францией. А интервенция в широком смысле сейчас едва ли возможна. Они, должно быть, поняли, что с Россией никогда нельзя расправиться так, как расправляются с Индией, и что отправка сюда войск равноценна их отправке в коммунистический университет».

Я сказал что-то про общую обстановку враждебности, с какой встречают пропаганду большевиков в зарубежных странах.

Ленин заметил:

— Скажите им, пусть построят вокруг каждой из своих стран китайскую стену. У них же есть таможенники, границы и береговая охрана. Они же могут убрать любых большевиков, каких только захотят. Революция не зависит от пропаганды. Если нет условий для революции, никакая пропаганда не сможет ни ускорить, ни задержать ее. Война создала эти условия во всех странах, и я убежден, что, поглоти сегодня Россию море или же исчезни она совсем с лица земли, революция в остальной Европе будет развиваться своим чередом. Спрячьте Россию на двадцать лет под воду, но и этим вы ни на шиллинг, ни на час в неделю не удовлетворите требований цеховых старост Англии.

Я заявил ему, как неоднократно заявлял большинству людей в России, что не верю в возможность революции в Англии.

го Интернационала, в котором принимали участие и делегаты I конгресса Коминтерна, состоялось в Большом театре 6 марта 1919 года.

Парад на Красной площади в Москве в честь создания III Интернационала состоялся 7 марта 1919 года. А. Рэнсом был принят В. И. Лениным в тот же день.

¹ Джингоисты — кличка английских воинствующих шовинистов.

Ленин ответил:

— У нас говорят, что человек может ходить и не знать, что болен тифом. Лет двадцать, а может быть, и тридцать тому назад у меня был тиф, а я об этом и не подозревал, пока он не свалил меня. Так вот, и Англия, и Франция, и Италия уже заразились. Англия, возможно, кажется вам незатронутой, но микроб уже проник в нее.

Я рассказал ему о том, что забастовки у нас носят неопределенный и разобщенный характер и что либеральный, в противовес социалистическому, характер этого движения, если только оно вообще носило политическую окраску, напоминает мне картину России 1905 года, а вовсе не России 1917 года, и что я уверен, что все утихнет.

— Да, очень возможно,— сказал Ленин.— Это, может быть, период воспитательный, во время которого английские рабочие все же осознают свои политические потребности и повернут от либерализма к социализму. Конечно, социализм в Англии слаб. Ваши социалистические движения... ваши социалистические партии... Когда я был в Англии, я старался побывать всюду, где только мог, и для страны с таким большим индустриальным пролетариатом они ничтожны... горсточка на углу улицы... собрание в гостиной... в школьном классе... все это ничтожно. Но вы должны не забывать об одном значительном различии между Россией тысяча девятьсот пятого года и сегодняшней Англией. Наш первый Совет был создан во время революции, ваши комитеты цеховых старост существуют уже давно. У них нет программы, нет направления, но та оппозиция, с которой они столкнутся, заставит их выработать программу.

Говоря об ожидавшемся приезде бернской делегации, он спросил меня, знаю ли я Макдональда, чье имя фигурировало вместо имени Гендерсона в последующих телеграммах, в которых сообщалось об их приезде. Ленин сказал:

— Я очень рад, что вместо Гендерсона едет Макдональд. Конечно, Макдональд в любом смысле слова не марксист, но он по крайней мере интересуется теорией, а поэтому можно полагать, что он постарается понять, что здесь происходит. Большого мы не просим.

Затем мы немного поговорили о вопросе, который очень меня интересует, а именно о том, как незаметно, совершенно независимо от войны, претерпевает изменение коммунистическая теория в трудном процессе ее претворения в жизнь. Мы говорили об изменениях в «Рабочем контроле», который теперь совсем не похож на те стихийные комитеты, которые поначалу затрудняли работу. Затем мы разговорились об антипатии крестьянства к военному коммунизму и о том, как развивалась дальше эта идея. Я спросил, как будут выглядеть отношения между коммунистами городов и проникнутыми духом собственничества крестьянами и нет ли опасности того, что между ними возникнет антипатия; я сказал при этом, что мне жаль так скоро уезжать, потому что не смогу увидеть, как выдержит эластичность коммунистической теории неизбежный нажим крестьянства.

Ленин заметил, что в России наблюдается довольно резкое различие между богатыми и бедными крестьянами.

«Единственная оппозиция,— сказал он,— с которой мы сталкиваемся в России, прямо или косвенно связана с богатым крестьянством. Беднота, как только она освобождается от политического господства богатеев, становится на нашу сторону; она сейчас составляет огромное большинство».

Он спросил меня, не собираюсь ли я вернуться, сказав, что я смог бы поехать в Киев понаблюдать революцию так, как я наблюдал ее в Москве. Я сказал, что мне очень не хотелось бы думать, что я в последний раз приехал в страну, которую люблю почти так же, как свою собственную. Он рассмеялся и ответил мне комплиментом, заметив, что хотя я и «англичанин», но более или менее сумел разобраться в том, чего добиваются большевики, и что он был бы очень рад видеть меня еще раз.

1919

ТЯЖЕЛЫЙ ГОД

30 января (1919 г.) мы, четверо газетных корреспондентов — два норвежца, один швед и я, — покинули Стокгольм, чтобы отправиться в Россию. Мы ехали с члена-

ми посольства Советского правительства, с Воровским и Литвиновым во главе, которые возвращались в Россию после разрыва официальных отношений со Швецией.

Наш пароход с трудом пробивал себе дорогу через ледяные глыбы в Або. Оттуда мы поехали по железной дороге до русской границы. Путешествие продолжалось дольше обыкновенного; встречались разные препятствия, которые финская администрация пыталась оправдать разными причинами. Нам говорили, что русские белогвардейцы собирались устроить нападение на поезд. Литвинов спросил, улыбаясь: «Не нарочно ли медлят, чтобы дать им время для организации нападения?»

Более нервные из нас считали это возможным. В Выборге, однако, нам сообщили, что в Петрограде начались сильные волнения и что у финнов нет охоты ввергнуть нас в хаос восстания. Кто-то нашел газету, и мы прочли подробный отчет о том, что случилось. На обратном пути я узнал, что это сообщение, так же как и многие подобные, было прямо протелеграфировано в Англию. Сообщалось, что в Петрограде произошло серьезное восстание; Семеновский полк перешел к восставшим, им удалось захватить в свои руки город; правительство бежало в Кронштадт, который обстреливал Петроград из тяжелых орудий.

Это казалось малоутешительным, но что было делать? Мы решили кончать шахматный турнир, который начали на пароходе. Выиграл эстонец. Я шел вторым. Неожиданным удачным ходом я обыграл Литвинова, который, по существу, был лучшим игроком, чем я.

В воскресенье ночью мы приехали в Териоки, а в понедельник утром медленно приближались к границе Финляндии у Белоострова. Отряд финских солдат ожидал нас. Никто не имел права войти в здание станции, тщательно следили за тем, чтобы ни один опасный революционер не ступил на финскую территорию. Нам дали трое маленьких саней. На них мы положили наш багаж, а сами под конвоем финнов пошли пешком к границе. Финский лейтенант шел во главе нашей маленькой группы, беседовал с нами добродушно по-немецки и по-шведски с видом человека, который считает нужным быть любезным с несчастными, которых собираются бросить в адский котел.

Несколько сот метров двигались мы вдоль рельсов, а потом пошли по тропинке в снегу, которая вела через лесок, и подошли к маленькому деревянному мостику, переброшенному через узкую замерзшую речку, отделявшую Россию от Финляндии. На обоих концах этого мостика, едва достигавшего двадцати метров в ширину, находилось по шлагбауму, по две будки и по два часовых...

Финны подняли шлагбаум, и финский офицер, как предводитель, торжественно прошел до середины моста. Здесь был выгружен наш багаж. Никто из нас не имел права ступить на мост, пока офицер и несколько солдат с русской стороны не пошли нам навстречу; только маленькая Нина, десятилетняя дочка Воровского, болтавшая с финнами по-шведски, получила разрешение перейти мостик. Робко перешла она на другую сторону и заключила дружбу с солдатом Красной Армии. Он стоял с ружьем в руке и ласково наклонился к ней, чтобы показать ей значок рабоче-крестьянской республики, который был на его фуражке и состоял из перекрещивающихся серпа и молота.

Наконец финский офицер взял список конвоируемых и громко прочел фамилии: «Воровский, его жена и ребенок». Улыбаясь, он через плечо посмотрел при этом на Нину, которая в это время любезничала с часовым. Затем он вызвал: «Литвинов». Одного за другим вызвал он всех русских, их было около тридцати. Мы, четверо иностранцев, Гримлунд — швед, Пунтервальд и Штанг — норвежцы и я — были последними. Наконец, после общего прощания и восклицания Нины: «Helse Finland!», финны двинулись обратно к своей культуре. Мы же пошли вперед, к борющейся за свое существование новой цивилизации России. После перехода моста мы попали из одного мирозерцания в другое, от одной крайности классовой борьбы к другой, от диктатуры буржуазии к диктатуре пролетариата.

Различие сразу бросалось в глаза. На финской стороне мы восторгались новой, великолепной постройки станцией, которая была по размерам больше, чем это было нужно, но давала правильное понятие о духе новой Финляндии. На русской стороне мы увидели серый, старый деревянный дом. В очень холодном буфетном зале нельзя было купить ничего съестного. Длинные столы, когда-то нагруженные икрой и другими закусками, были пусты. Правда, стоял самовар. Мы взяли чай, по

шестьдесят копеек стакан, и сахар, по два рубля пятьдесят копеек за кусок. Мы пили чай в комнате, где проверяли паспорта и где только накануне, по-видимому, топились печка. Шведский хлеб Пунтервальда показался нам очень вкусным. Мне очень трудно передать ту странную смесь подавленности и веселья, которая охватила нас при взгляде на эту заброшенную, изголодавшуюся станцию. Мы знали, что нас больше не стерегут и что мы более или менее можем делать, что хотим. Общество разделилось на две части, из которых одна плакала, а другая пела. Г-жа Воровская, которая с первой революции не была в России, горько плакала. Литвинов и более молодые члены нашего общества становились все веселее, несмотря даже на отсутствие обеда. Они пошли по деревне, играли с детьми и пели. Когда мы наконец попали в поезд и убедились, что вагоны не топлены, кто-то взял мандолину, и мы согревались танцами. В этот момент я думал с огорчением о тех пяти детях, которые ехали с нами и для которых страна, испытывавшая войну, блокаду и революцию, была малоподходящим местопребыванием. Но детям передалось душевное состояние родителей-революционеров, возвращавшихся к своей революции, и они бегали возбужденно взад и вперед по вагону или садились на колени то к одному, то к другому пассажиру. Были сумерки, когда мы прибыли в Петроград.

В то время как станция в Финляндии была совершенно безлюдна, мы здесь нашли четырех носильщиков, за двести пятьдесят рублей перенесших с одного конца платформы на другой весь наш багаж.

Мы сами, как и в Белоострове, погрузили наши вещи на подводу, для нас приготовленную. Много времени ушло на то, чтобы распределить между нами по жребию комнаты в гостинице. Воспользовавшись этим, мы вышли на улицу, чтобы расспросить о восстании и бомбардировке, о которой мы слышали в Финляндии. Никто об этом не имел ни малейшего понятия.

Как только окончилось распределение комнат по жребию,— мне, по счастью, досталась комната в отеле «Астория»,— я направился в город через Литейный мост. Трамваи шли. Город казался абсолютно спокойным. На противоположной стороне реки я увидел во тьме,— которая, впрочем, зимой никогда не бывает полной из-за снега,— слабые контуры крепости. Все, что я так часто видел за последние шесть лет, опять представало пред мо-

ими глазами: Летний сад, Английское посольство и обширная площадь перед Зимним дворцом.

На ней стояли во время июльского восстания вооруженные грузовики, на ней во время корниловской авантюры расположились биваком солдаты, а еще раньше на ней же Корнилов производил смотр юнкерам.

Мои мысли обратились к Февральской революции. Я снова видел перед собой бивачные огни революционеров на углу площади в ту ночь, когда последние члены царского правительства, потерявшие рассудок, выпускали обращения к народу, в которых требовали, чтобы народ оставил улицы, требовали в тот момент, когда сами они уже были осаждены в Адмиралтействе.

Я видел ту же площадь еще раньше, в день объявления войны, запруженную толпами народа, когда царь на один миг показался на балконе дворца.

На этом мои воспоминания прервались. Мы остановились около «Астории»...

Я дал снести мой багаж наверх, где мне была предоставлена довольно хорошая комната...

Хотел заказать себе ужин, но узнал, что в гостинице, кроме горячей воды, ничего нельзя получить. Тогда я отправился на небольшую прогулку. Правда, я не особенно охотно вышел на улицу со своим английским паспортом, без всяких других бумаг, дающих мне право на пребывание в России. Мне, как и другим иностранцам, обещали дать такую бумагу, но я еще ее не получил. Я направился в «Регину», ранее одну из лучших гостиниц города. Те из приехавших, кто попал туда, очень жаловались на свое помещение. Я там не остался, пошел по Невскому, по Мойке, а затем обратно к моей гостинице. На улицах, так же как и в гостинице, было неполное освещение. В редких домах были освещены окна. Редкие прохожие, которых я встречал, оживленно разговаривали между собой. Улицы были подметены чище, чем в последнюю зиму при царском режиме.

На следующее утро я получил чай и хлебную карточку. На купон мне дали маленький кусок черного хлеба, качество которого было, однако, значительно лучше, чем та смесь из отрубей и соломы, от которой я так хворал прошлое лето в Москве. Затем я вышел, зашел за Литвиновым, и мы отправились в Смольный инсти-

тут, где воспитывались раньше дочери дворян. Позже здесь была штаб-квартира Советского правительства, а потом, после переезда правительства в Москву, здание это было предоставлено Северной коммуне и Петроградскому Совету. При дневном свете город казался менее заброшенным. Разгрузка Петрограда, довольно безрезультатно предпринятая при Керенском, теперь до известной степени осуществилась. Город обезлюдел отчасти из-за голода, отчасти вследствие остановки фабрик, которые, в свою очередь, должны были закрыться из-за невозможности доставить в Петроград топливо и сырье.

Что больше всего бросается в Петрограде в глаза после шестимесячного отсутствия — это полное исчезновение вооруженных солдат. Городу, казалось, возвращен был мир, революционные патрули больше не были нужны. Встречные солдаты не вооружены, живописные фигуры революции, опоясанные пулеметными лентами, исчезли.

Второе, что обращает на себя внимание, особенно на Невском проспекте, раньше пестревшем чрезвычайно элегантной публикой, — это полнейшее отсутствие новой одежды. Я не видел никого, кто носил бы что-либо, что казалось бы купленным за последние два года, кроме некоторых офицеров и солдат, которые были одеты теперь так же хорошо, как и в начале войны. Петроградские дамы обращали раньше особенное внимание на обувь, а обуви сейчас абсолютный недостаток. Я видел молодую женщину в хорошо сохранившейся и, как казалось, очень дорогой шубе, а на ногах у нее были лапти, обвязанные полотняными тряпками...

Бронированный автомобиль, который раньше обыкновенно стоял перед входом в Смольный, исчез...

Обед в Смольном прошел так же непринужденно, как в былые дни, только еды было гораздо меньше. Делегаты, мужчины и женщины, приходили прямо с работы, садились на свои места, ели и возвращались к своим занятиям. Обед был чрезвычайно прост: суп с куском конины, которая была вкусна, каша с чем-то белым, не имевшим никакого вкуса, и чай с куском сахара.

Разговор вертелся главным образом около вопроса о возможности мира, и довольно пессимистические сообщения Литвинова были приняты с разочарованием. Когда я кончил обед, пришли Воровский, г-жа Воровская,

маленькая Нина, оба норвежца и швед. Я узнал, что половина нашей компании собиралась сегодня же вечером уехать в Москву; я решил поехать с ними.

Был очень холодный день, когда я пробирался сквозь толпу на вокзале в Москве. Я долго торговался с извозчиком, который потребовал сто рублей за поездку до «Метрополя». Я вспомнил, что еще год назад мы с полковником Робинсом платили десять, а иногда даже восемь рублей за это расстояние. Я принужден был заплатить пятьдесят рублей после упорного торга, причем я был без багажа, с одной только маленькой пишущей машинкой.

Улицы в глубоком снегу казались в меньшем порядке, чем в Петрограде, но все же были чище, чем год назад. Трамваи шли. Извозчиков было, по-видимому, столько же, сколько их было раньше. Лошади казались в лучшем состоянии, чем прошлое лето; тогда они еле-еле передвигали ноги. Я спросил о причине этого улучшения; извозчик рассказал мне, что лошади теперь имеют паек, подобно людям, и таким образом каждое животное получало теперь немного овса. На улицах было много людей, но большое число закрытых магазинов угнетающе действовало на меня. Тогда я еще не знал, что причиной этого была национализация торговли...

Особенно поразил меня вид гостиницы «Метрополь». Все повреждения, нанесенные революцией, заметные еще прошлым летом следы снарядов и пуль, были за это время исправлены...

Вознесенский достал мне карточку на обед в «Метрополе». (Эту карточку я должен был отдать обратно после получения комнаты в «Национале»). Обед состоял из тарелки супа и маленькой порции какого-то другого блюда. В разных частях города устроены советские столовые, которые тоже дают подобные обеды. стакан слабого чая без сахара стоит тридцать копеек. Моя сестра накануне моего отъезда из Стокгольма прислала мне маленькую бутылочку сахара. Было трогательно видеть, с какою радостью некоторые из моих друзей пили сладкий чай.

Из «Метрополя» я пошел в «Красный флот», чтобы привести свою комнату в порядок. Шесть месяцев тому назад здесь можно было получить относительно чистое

помещение. Но матросы привели гостиницу в ужасный вид, и теперь грязь здесь неопишущая. Отопление не действует, и освещение скверное. Та, что занимала раньше эту комнату, оставила на столе самовар, несколько грязных папилюток и всякий мусор. Я попросил служащего немного прибрать в комнате и заказал самовар. Он не мог принести мне ни ложки, ни ножа, ни вилки, и только с большим трудом я уговорил его достать мне стакан...

В моей комнате в «Красном флоте» в эту ночь было настолько холодно, что я лег в постель в овчинной шубе и укрылся всевозможными платками, одеялами и даже матрацем. И все-таки я очень плохо спал.

На следующий день я напрасно пытался найти лучшую комнату. Во время моей прогулки по городу я видел всюду революционные скульптуры. Одни были очень скверны, другие очень интересны, но все они были сделаны наспех, к торжеству годовщины Октябрьской революции. Художники тоже приняли участие в украшении города. И хотя погода сильно испортила большинство картин, все-таки уцелело достаточно, чтобы дать понятие о праздничном впечатлении, которое они производили. Там, где фасады каких-нибудь домов были для ремонта обнесены лесами, художники использовали всю гладкую поверхность, чтобы на них нарисовать огромные панно, воображающие символические фигуры революции. На Тверской ряд домов был таким образом разукрашен.

Больше всего мне понравился ряд деревянных ларьков против «Националя», в Охотном ряду. Футуристы и им подобные художники разрисовали их. Ларьки были очаровательны, и их яркие краски и наивные мотивы так шли к Москве, что я не мог себе представить город без них. (Раньше они были монотонного, желтовато-грязного цвета). Чистые основные краски: синяя, красная, желтая, примитивные узоры цветов на белом или пестром, в клетку фоне казались теперь, по контрасту со снежными массами на улицах, с пестрыми головными уборами женщин и с желтыми овчинными полушубками мужчин, менее футуристическими, чем памятники средневековой Москвы.

Может быть, будет интересно отметить, что некоторые упрямые ригористы во время моего пребывания в Москве подняли серьезный протест против слишком большой свободы, которую дали футуристам, и было пред-

должно, чтобы искусство революции было более доступным и менее кричащим. Однако эта критика не относилась к росписи упомянутых деревянных ларьков, смотреть на которые мне всегда доставляло удовольствие...

На следующее утро мне удалось переехать в комнату в «Национале». Выяснилось, что это было очень милое помещение, расположенное около кухни и поэтому довольно теплое.

Прошло довольно много времени, пока перенесли мои вещи; переезд из одной гостиницы в другую стоил, несмотря на близкое расстояние, сорок рублей. Я устроился по-домашнему, купил несколько книг и составил два списка: документов, необходимых для моей работы, и тех людей, которых я хотел видеть.

Комната была чрезвычайно чистая; чистота была, очевидно, предметом гордости горничной, которая пришла для уборки комнаты. Она протестовала даже против того, чтобы я бросал спички на пол. Я ее спросил, как нравится ей новое правительство. Она ответила, что, правда, голодно, но она себя чувствует гораздо свободнее, чем раньше.

После обеда я отправился на кухню гостиницы, где постоянно можно было достать кипяток; обширная кухня находится в распоряжении жителей гостиницы. Здесь нашел я множество людей, которые старались всячески использовать огромную плиту. Тут был, например, казак с седыми волосами, одетый в красную черкеску, с патронами на груди. Он разогревал суп рядом с маленькой еврейкой, которая пекла картофельный пирог. Видный, немолодой уже, член Исполнительного комитета был усердно занят приготовлением небольшого куска мяса. Две маленькие девочки варили в старых жестянках картошку. В другом помещении, которое было приспособлено для прачечной, маленькая длинноволосая революционерка стирала юбку. Женщина, повязанная синим головным платком, гладила блузку. Другая усердно кипятила постельное белье или что-то в этом роде в большом котле. И непрестанно приходили люди со всех этажей гостиницы с кувшинами и чайниками, чтобы получить кипяток для чая. Посуда была самая разнообразная, начиная с элегантных медных чайников, кончая жадкими жестянками. В другом конце коридора, в боль-

шом окне, отделяющем вторую кухню от первой, находилась форточка: здесь ждала большая очередь людей с собственными тарелками и мисками, чтобы получить свою порцию супа и мяса по обеденному купону...

Когда я в начале недели платил за комнату вперед, мне выдали карточку, по краям которой были напечатаны все дни недели. По этой карточке я имел право получать каждый день обед. Каждый день от карточки отрезался купон, так что я никаким образом не мог получить обед два раза. К обеду давали очень хороший суп и кусок мяса или рыбы. Цена колебалась между пятью и семью рублями. Обед выдавался от 2 до 7 часов.

До обеда голодали. В два часа дня сознание, что можно каждую минуту пойти поесть, действовало так успокаивающе, что я все время откладывал и большею частью обедал в пять или шесть часов...

Кроме предметов первой необходимости, покупаемых по карточкам, съестные продукты можно было доставать и у спекулянтов, но по баснословным ценам. Фунт хлеба по карточке стоит один рубль двадцать копеек, а у спекулянта — от пятнадцати до двадцати рублей. Пайковый сахар стоит двенадцать рублей фунт, в вольной продаже — не менее пятидесяти рублей. Из всего этого ясно, что отказ распределить продукты по карточкам привел бы к тому, что богатые ели бы досыта, а бедные бы недоедали.

Один коммунист сказал мне:

— Существует только одно средство для уничтожения спекуляции, и оно состоит в том, чтобы выдавать достаточное количество продуктов по карточкам. Когда все, что нужно, можно будет купить за рубль двадцать копеек, то никто не будет платить спекулянтам четырнадцать рублей.

— Когда же это будет? — спросил я.

— Как только война будет окончена и мы сможем использовать наши транспортные средства для хозяйственных нужд. Нельзя отрицать, что в Москве — голод.

На третий день после моего приезда я видел человека, везшего сани, нагруженные, как мне казалось, кониной. Стая ворон налетела на сани и с жадностью клевала мясо. Человек неустанно отгонял их кнутом, но они были настолько голодны, что это не пугало их. Бы-

вали случай, когда изголодавшиеся вороны влетали в комнату гостиницы через форточку, чтобы подобрать упавшие на пол крошки...

Нельзя отрицать и то, что здесь страдали от холода. Я меньше стал ощущать мои страдания, когда узнал, что правительственные чиновники были не в лучших условиях, чем остальной народ. Даже в Кремле я видел архивариуса, работавшего в старой овчинной шубе и в валенках. Время от времени он вставал и хлопал руками. Так в старые времена делали лондонские извозчики, чтобы привести в движение стынущую кровь.

Зима 1919 года

Уэллс, Герберт Джордж (1866—1946) — писатель, публицист, философ, историк, общественный деятель. Родоначальник социально-философской научной фантастики, автор хрестоматийных рассказов и романов в этом жанре: «Машина времени» (1895), «Человек-невидимка» (1897), «Война миров» (1898), «Когда спящий пробнется» (1899) и других, относящихся преимущественно к утопической разновидности фантастики. По убеждениям Уэллс был буржуазным социалистом, либералом, весьма далеким от марксизма, кратковременное увлечение которым пережил в начале 1900-х годов. Он занимал последовательную антифашистскую позицию. В начале 1914 года Уэллс побывал в Петербурге и Москве; в 1920 году посетил молодую Советскую республику по приглашению Советского правительства и 6 октября был принят В. И. Лениным; в третий раз приезжал в СССР в 1934 году. До конца жизни Уэллс оставался неизменным другом советского народа.

Книга «Россия во мгле» (1920) объединяет серию статей, публиковавшихся на страницах еженедельника «Санди экспресс». Содержащая ряд выпадов против марксизма, которого Уэллс не понимал и который перетолковывал весьма своеобразно, а также осуждение военного коммунизма, эта книга в то же время проникнута уважением к большевикам. В ней Советское правительство признается как единственно возможное в России в сложившихся условиях и высказывается пожелание об оказании помощи стране, находившейся в состоянии разрухи. Выступление Уэллса в поддержку Советской власти вызвало остервенелую критику в реакционной буржуазной и белогвардейской печати.

Первый русский перевод «России во мгле» был издан в Харькове в 1922 году. Книга выходила отдельными изданиями в Госполитиздате (1958, 1959), включалась в собрание сочинений Г. Уэллса в 15-ти томах (1964). Настоящий перевод В. Хинкиса опубликован в сборнике: *Уэллс, Герберт. Россия во мгле.* — М.: Прогресс, 1970. Фрагменты из книги даются по этому изданию, как и примечания к тексту, принадлежащие профессору С. С. Хромову.

«О Ленине» — отрывок из книги «Опыт автобиографии» (1934). Впервые на русском языке опубликован в газете «Правда» 27 марта 1960 года. Настоящий перевод Р. Померанцевой вошел в вышеуказанный сборник и дается по этой публикации.

РОССИЯ ВО МГЛЕ

(Главы из книги)

Петроград на краю гибели

В январе 1914 года я провел в Петербурге и в Москве две недели; а в сентябре 1920 года господин Каменев¹,

¹ Каменев (Розенфельд) Л. Б. (1883—1936) — в большевистской партии состоял с 1901 года. После победы Октября занимал ряд государственных постов. Неоднократно выступал против

приехавший в Лондон в составе русской торговой делегации, пригласил меня побывать там еще раз. Я тотчас же принял приглашение и в конце сентября выехал туда вместе с сыном, который немного говорит по-русски. Мы провели пятнадцать дней в России, главным образом в Петрограде, где нам предоставили полную свободу и, за редкими исключениями, показывали все, что мы желали увидеть. Мы совершили также поездку в Москву, где я имел продолжительную беседу с господином Лениным, о которой расскажу особо. В Петрограде я остановился не в отеле «Интернационал», где обыкновенно размещают иностранцев, а у своего старого друга Максима Горького. Нашим гидом и переводчицей была племянница бывшего русского посла в Лондоне, с которой я познакомился в России еще в 1914 году. Она получила образование в Ньюнеме, ее пять раз арестовывали при большевиках, ей запрещено выезжать из Петрограда, так как она пыталась перейти через границу в Эстонию, где живут ее дети, и от нее менее всего приходилось ожидать пособничества любым попыткам пустить мне пыль в глаза. Я подчеркиваю это, поскольку и в Англии и в России меня со всех сторон предостерегали, что истинное положение будет ловко замаскировано и, где бы я ни побывал, мне всюду постараются втереть очки.

Однако на деле положение России столь ужасно и бедственно, что замаскировать его нет никакой возможности. Официальную делегацию, пожалуй, еще можно попытаться как-то отвлечь, оглушить приемами, громом оркестров, трескучими речами. Но едва ли мыслимо представить в розовом свете два огромных города пытливому взору двоих случайных гостей, которые к тому же часто ходят порознь. Разумеется, когда просишь показать школу или тюрьму, выбирают далеко не самое худшее. В любой стране постарались бы показать что лучше, и тут Советская Россия — не исключение. На это можно сделать скидку.

Самое потрясающее из впечатлений, испытанных нами в России,— это впечатление величайшего и непоправимого краха. Огромная монархия, господствовавшая здесь в 1914 году, с ее системой управления, обществен-

ленинской политики партии. В 1927 году XV съездом ВКП(б) был исключен из партии как активный деятель троцкистской оппозиции. В дальнейшем, несмотря на заявления о признании своих ошибок, антипартийной деятельности не прекратил и в 1934 году был в третий раз исключен из партии.

ных институтов, финансов и экономики, пала и разрушилась до основания, не выдержав непрерывной шестилетней войны. История еще не видела столь чудовищной катастрофы. В наших глазах это крушение затмевает даже самую революцию. Под жестокими ударами империалистической агрессии насквозь прогнившая Россия, которая до 1914 года была неотъемлемой частью старого цивилизованного мира, рухнула и исчезла с лица земли. Крестьянство, которое было краеугольным камнем государственной пирамиды, все так же возделывает землю и живет без особых перемен. Все остальное разрушено или разрушается. При этих чрезвычайных обстоятельствах, среди всеобщего развала, власть взяло правительство, которое опирается на сплоченную партию — партию коммунистов, насчитывающую около 150 000 активных членов¹. Ценой массовых расстрелов это правительство справилось с бандитизмом, установило относительный порядок и спокойствие в обескровленных городах, ввело предварительную систему пайков.

Должен сказать сразу, что в настоящее время это единственное правительство, возможное в России. Только оно одно воплощает в себе идею, только оно еще дает России основу для сплочения. Но главное не в этом. Для западного читателя важнее всего тот печальный и грозный факт, что общественно-экономическая система, построенная по образу и подобию нашей, а также тесно с нею связанная, потерпела крах.

Нигде в России этот крах не предстает с такой неумолимой очевидностью, как в Петрограде. Петроград создавался искусственно, по воле Петра Великого; его бронзовая конная статуя, воздвигнутая в небольшом скверике близ Адмиралтейства, и посейчас высится среди города, в котором едва теплится жизнь. Петроградские дворцы либо заброшены и пустуют, либо заняты новыми правительственными учреждениями, и так странно видеть здесь дощатые перегородки, пишущие машинки и столы, за которыми работают люди, отдающие все силы борьбе с голодом и иностранной интервенцией. Прежде в городе было множество магазинов, где шла бойкая торговля. В 1914 году мне нравилось бродить

¹ К IX съезду партии, состоявшемуся 29 марта — 5 апреля 1920 года, примерно за полгода до приезда Уэллса в Советскую Россию, в РКП(б) насчитывалось около 612 тысяч членов, а к X съезду партии (8—16 марта 1921 года) число коммунистов превышало 732 500.

по петроградским улицам среди оживленной толпы и покупать всякие мелочи. Теперь эти магазины закрыты. Вероятно, на весь Петроград наберется не более пяти или шести торгующих магазинов. Есть один государственный посудный магазин, где я купил, кажется, за семьсот или восемьсот рублей несколько блюдечек вместо сувенира, есть еще несколько цветочных ларьков. Меня поразило, что в почти обезлюдившем городе, над которым нависла угроза голодной смерти, в городе, где едва ли не каждый носит на себе единственный костюм и единственную смену ветхого, заплатанного белья, продают и покупают цветы. За пять тысяч рублей, что по текущему курсу составляет на наши деньги примерно шесть шиллингов восемь пенсов, можно купить букет крупных, изумительно красивых хризантем.

Не знаю, могут ли слова «все магазины закрыты» дать западному читателю хотя бы приблизительное представление о том, как выглядит сейчас улица в русском городе. Она не имеет ни малейшего сходства с Бонд-стрит или Пикадилли в воскресный день, когда магазины степенно дремлют за спущенными шторами, чтобы в понедельник снова пробудиться к жизни. У этих магазинов самый жалкий и заброшенный вид; краска облезает, витрины либо потрескались, либо выбиты вовсе и заколочены досками, уцелевшие кое-где остатки товаров засижены мухами, иные витрины сплошь заклеены объявлениями; стекла все больше мутнеют, меж рамами скопилась двухлетняя пыль. Эти магазины мертвы. Им никогда уже не воскреснуть.

Закрыты и все большие петроградские рынки, напоминающие восточные базары, так как идет отчаянная борьба за то, чтобы удержать под общественным контролем товары первой необходимости, не дать спекулянтам до невероятия взвинтить цены на последние, скудные запасы продовольствия. Когда магазины закрыты, гулять по улицам попросту нелепо. И никто уже не «гуляет». Выясняется, что современный город не что иное, как бесконечные ряды магазинов, ресторанов и тому подобных заведений. Закройте их, и улица тотчас утратит всякий смысл. Торопливо снуют редкие прохожие — помнится, в 1914 году здесь было гораздо оживленней. Трамваи, обычно переполненные, еще ходят до шести вечера. Это единственный транспорт, доступный всем жителям, оставшимся в городе, — последнее, что было унаследовано от капиталистического предпринимательства.

При нас за проезд в трамвае перестали взимать плату. Прежде билет стоил два или три рубля — за одно яйцо приходится платить раз в сто больше. Поэтому и до отмены проездной платы трамваи были ничуть не менее перегружены в те часы, когда люди возвращаются с работы. При посадке возникает давка. Если не удастся влезть в вагон, виснут на подножках и буферах. В часы пик трамваи буквально облеплены людьми, уцепившимися за что попало; сплошь и рядом кого-нибудь сталкивают, происходят несчастные случаи. Мы видели толпу, обступившую ребенка, которого трамвай перерезал пополам, и даже в том небольшом кругу людей, с которыми мы общались в Петрограде, двое сломали ноги, сорвавшись с трамвая.

Улицы, по которым ходят эти трамваи, в ужасающем состоянии. Вот уже три или четыре года их не ремонтируют; это сплошные ухабы, похожие на воронки от снарядов, глубиной нередко в два или три фута. Морозы изгрызли мостовые, водостоки обрушились, деревянные тротуары взломаны, их растащили на дрова. Лишь единственный раз мы видели в Петрограде попытку отремонтировать улицу. Какая-то неведомая организация привезла в тихую улочку кучу торцов и два бочонка смолы. Для дальних поездок по городу нам обычно давали принадлежащий государству автомобиль из тех, что остались от прежних времен. Во время этих поездок нас немилосердно трясло и без конца швыряло на крутых поворотах. Эти чудом уцелевшие автомобили заправляют теперь керосином. Они чихают, окутываясь облаком голубоватого дыма, причем моторы их запускаются с пулеметным треском. Все деревянные дома минувшей зимой были разобраны на дрова, и в провалах, зияющих меж каменных зданий, видны лишь развороченные кирпичные печи и фундаменты.

Все ходят в обносках; и в Петрограде и в Москве все тащат на себе мешки. Когда идешь в сумерки по глухой улице и навстречу попадают лишь оборванные, торопящиеся люди с ношей на плечах, создается впечатление, что жители поголовно покидают город. И такое впечатление не вполне обманчиво. Я видел большевистские статистические сводки, в которых этот вопрос освещен откровенно и честно. Население Петрограда насчитывало прежде 1 200 000 человек, теперь же здесь осталось немногим более 700 000 жителей, и число их все сокращается. Многие вернулись в деревню крестьянст-

воваты, многие эмигрировали, но главный урон нанесли суровые лишения. Смертность в Петрограде составляет более 81 на 1000 человек; в прошлом она составляла 22 на 1000 и уже тогда превышала смертность в крупных западноевропейских городах. Недоедание, полнейший упадок жизненных сил повлекли за собой падение рождаемости до 15 на 1000 человек. В прошлом она составляла 30 на 1000.

В мешках, с которыми люди не расстаются, иногда носят продовольственные пайки, выдаваемые в советских учреждениях, иногда же — что-либо предназначенное на продажу или купленное незаконным путем. Русские всегда питали пристрастие к торговле и любили поторговаться. Даже в 1914 году в редком из петроградских магазинов товары продавались по твердым ценам. Никто не признавал установленных цен; в Москве извозчики непременно торговались, сбавляя по гривеннику. Перед лицом нехватки почти всех товаров, нехватки, отчасти обусловленной бременем военных расходов — ибо Россия вот уже шесть лет непрерывно ведет войну, — отчасти же порожденной крушением всего общественного строя, а также блокадой, при совершенно неупорядоченном денежном обращении, спасти города от бесконтрольной торговли из-под полы, спекуляции, голода и, наконец, от самой примитивной грызни из-за остатков продовольствия и предметов первой необходимости можно было одним лишь способом — введя какую-то форму общественного контроля и систему пайков.

Советское правительство ввело эту систему из принципиальных соображений, но всякое другое правительство в России вынуждено было бы сейчас сделать то же самое. Если бы война в Западной Европе продолжалась по сей день, в Лондоне тоже были бы введены пайки на продукты, ордера на одежду и квартиры. Но в России это пришлось осуществлять на основе стихийного крестьянского хозяйства, имея дело со своенравным и необузданным населением. Поэтому борьба неизбежно приняла жестокий характер. С пойманным спекулянтом, настоящим спекулянтом, наживающим на своей торговле значительные барыши, расправа бывает короткой: его расстреливают. Сурово карают даже за обыкновенную торговлю. Всякая торговля сейчас рассматривается как «спекуляция» и запрещена законом. Но на диковинную уличную торговлю снедью и всякими мелочами в Петрограде смотрят сквозь пальцы, в Москве же она ведет-

ся и вовсе открыто, потому что только благодаря этому крестьяне привозят в города продукты.

Широко распространена также подпольная торговля между знакомыми людьми. Всякий по мере возможности старается таким способом добавить что-нибудь к своему пайку. У каждой железнодорожной станции торгуют в открытую, как на рынке. Повсюду мы видели толпу крестьян, которые ожидают поезда и предлагают молоко, яйца, яблоки, хлеб и прочее. Пассажиры вылезают из вагонов и наполняют мешки. Яйцо или яблоко стоит 300 рублей.

Судя по виду, крестьяне вполне сыты, и я думаю, им живется не хуже, чем в 1914 году. Пожалуй, даже лучше. Теперь у них стало больше земли, и они избавились от помещиков. Никакие попытки свергнуть Советское правительство не встретят у них поддержки, так как они убеждены, что, пока это правительство у власти, теперешнее положение не изменится. Это не мешает им всеми силами сопротивляться красногвардейцам, заготавливающим продовольствие по установленным ценам. Иногда им удается напасть на небольшой красногвардейский отряд и перебить его. Лондонские газеты раздувают каждый такой случай, спеша возвестить о крестьянском восстании против большевиков. В действительности ничего подобного нет. Просто крестьяне стремятся жить привольно при существующем строе.

Однако, за исключением крестьян, все классы общества — в том числе и руководящие круги — испытывают сейчас крайние лишения. Кредитная система и промышленность, изготовлявшая предметы широкого потребления, пришли в полное расстройство, а все попытки создать другую форму производства оказались безуспешными. Поэтому новых товаров нет нигде. Едва ли не единственное, что имеется в изобилии, — это чай, папиросы и спички. Спичек в России сейчас больше, чем их было в Англии в 1917 году, причем спичка советского производства отличается превосходным качеством. Однако достать такие вещи, как воротнички, галстуки, ботиночные шнурки, постельное белье и одеяла, ложки и вилки, самую необходимую посуду и галантерею попросту немислимо. Если случается разбить стакан или чашку, купить новые можно только из-под полы, после долгих поисков. Из Петрограда в Москву мы ехали в спальном вагоне-люкс, но в купе не было графина, стаканов, самых простых вещей. Решительно все исчезло. Понача-

лу нам показалось удивительным, что почти все мужчины небрежно бреются, и мы склонны были приписать это всеобщему безразличию, но поняли, в чем дело, когда один знакомый обмолвился в разговоре с моим сыном, что вот уже год бреется одним-единственным безопасным лезвием.

Медикаменты тоже невозможно достать. Нет лекарств от простуды и от головной боли; нельзя лечь в постель с грелкой. Поэтому малейшее недомогание часто переходит в серьезную болезнь. Почти у всех, с кем нам приходилось общаться, болезненный и подавленный вид. Редко можно встретить бодрого, здорового человека в этой обстановке лишений и житейских забот.

Тех, кто тяжело заболевает, ожидает печальная судьба. Мой сын побывал в Обуховской больнице и рассказал мне, что положение там самое прискорбное. Больница испытывает ужасающую нехватку решительно во всем, половина коек пустует, но больных не принимают ввиду невозможности обеспечить за ними уход. О дополнительном, калорийном питании не может быть и речи, разве только родственники больного каким-либо чудом сами добудут продукты и принесут передачу. Доктор Федоров рассказал мне, что операции бывают лишь раз в неделю, когда удастся подготовить самое необходимое. В остальные дни об этом нечего и думать, больные вынуждены ждать.

Едва ли в Петрограде найдутся люди, имеющие вторую смену одежды, и в огромном городе, где нет много транспорта, кроме редких, переполненных трамваев¹, все носят старые, прохудившиеся сапоги, которые обычно приходится не впору. Но изредка видишь поразительные контрасты. Директор школы, куда мы приехали без предупреждения, удивил меня своим щегольством. Он был в смокинге и голубой саржевой жилетке. Некоторые выдающиеся ученые и литераторы, с которыми я встречался, ходили без воротничков, обмотавшись шарфами. Горький носит единственный свой костюм.

В Петрограде, на встрече с литераторами, известный писатель господин Амфитеатров² обратился ко мне с

¹ На Неве я видел однажды набитый битком пассажирский пароходик. Обычно же река пустынна, лишь изредка проплывет принадлежащий государству буксир или покажется лодочник, вылавливающий из воды деревянные обломки. (Прим. автора)

² Амфитеатров А. В. (1862—1923) — русский буржуазный фельетонист и беллетрист. Вскоре после описываемых событий

длинной речью, исполненной горечи. Он, подобно многим, был уверен, что я слеп и тупоумен, что мне пускают пыль в глаза. Он призывал всех присутствующих снять свои благопристойные пиджаки, дабы я собственными глазами увидел скрываемые под ними жалкие лохмотья. Слушать его было тяжело, тем более что мне он не сообщил ничего нового, но я привожу здесь этот случай, чтобы подчеркнуть, сколь велика всеобщая нищета. Полураздетые жители этого разоренного и разрушенного города, несмотря на тайную торговлю, живут впроголодь. Советское правительство при всем своем желании не может удовлетворить их насущные нужды. В районной кухне мы видели, как распределяют питание по общим нормам. Мы отметили чистоту и хорошее обслуживание, но это не может возместить нехватку продуктов. По самой низкой категории там выдавали миску жидкой похлебки и примерно столько же яблочного компота. Хлеб отпускают по карточкам, и люди подолгу выстаивают за ним в очередях, но однажды, когда не было муки, пекари в Петрограде целых три дня совсем не выпекали хлеба. Качество хлеба не одинаково: иногда это превосходный черный хлеб из грубой муки, иногда же — сырой, вязкий, как глина, и несъедобный.

Не знаю, могут ли все эти бессвязные подробности дать западному читателю представление о том, какова сейчас повседневная жизнь Петрограда. Говорят, в Москве гораздо хуже с жильем и топливом, но внешне она выглядит далеко не так мрачно, как Петроград. Нашему взгляду все это представилось в октябре, в удивительно ясные, погожие дни. Представилось в сиянии солнца, в уборе багряной и золотой листвы. Но в один прекрасный день похолодало, жухлые листья закружились в воздухе, затем пошел снег. Впервые ощутилось дыхание близкой зимы. А потом снова вернулось осеннее великолепие.

Когда мы покидали Россию, солнце еще ярко сияло. Но при мысли о близкой зиме у меня сжимается сердце. Советское правительство не пожалело усилий, чтобы подготовить Северную коммуну¹ к предстоящим трудностям. Дрова сложены штабелями на набережных, посреди

эмигрировал и сотрудничал в наиболее реакционных зарубежных журналах.

¹ Северной коммуной в 1918—1920 годах назывались Петроград и Петроградский промышленный район.

главных улиц, во дворах — всюду, где только возможно. В прошлую зиму многие жили в домах при температуре ниже нуля; водопроводные трубы замерзли, канализация не работала. Читатель легко может представить себе последствия. Люди ютились в едва освещенных комнатах, поддерживая силы чаем и разговорами. Придет время, и кто-нибудь из русских писателей расскажет нам, что это значило для ума и сердца русского человека. Возможно, в нынешнем году будет легче. Говорят, будто и продовольственное положение улучшилось, но мне трудно в это поверить. Железные дороги пришли почти в полную негодность; паровозные котлы топят дровами, и локомотивы все более изнашиваются; когда составы, громяхая, ползут со скоростью не выше двадцати пяти миль в час, болты шатаются и рельсы дрожат под колесами. Но даже если бы железные дороги не были в столь безнадежном состоянии, все равно южные продовольственные районы захвачены Врангелем. Скоро холодные дожди обрушатся на 700 000 душ населения, оставшегося в Петрограде, а потом пойдут снега. Ночи станут все длиннее, а дни убывают.

Вы скажете, что в этих бедствиях и всеобщем упадке повинна власть большевиков! Но я не верю в это. О большевистском правительстве я расскажу подробнее после того, как обрисую картину в целом. Но должен сказать сразу, что разоренная Россия отнюдь не подверглась нападению некой разрушительной и зловещей силы. Прогнивший строй сам по себе пришел в упадок и рухнул. Не при коммунизме, а при капитализме построены нелепые громады этих городов. Не коммунизм вверг эту гигантскую, пошатнувшуюся, обанкротившуюся империю в опустошительную шестилетнюю войну. Это сделал европейский империализм. И не коммунизм подверг истерзанную и, быть может, погибающую Россию непрерывным нападениям платных наемников, интервенции и мятежам, не коммунизм стиснул ее в кольцо жестокой блокады. Мстительный французский кредитор, тупоголовый английский журналист гораздо более ответственны за ее смертные муки, чем любой из коммунистов. Но к этому я вернусь, когда опишу несколько подробнее, какой представлялась нам Россия во время нашей поездки. Лишь имея некоторое понятие о материальной и духовной подоплеке той гибели, на краю которой оказалась Россия, мы сможем понять и оценить по справедливости большевистское правительство.

В России, являющей собою столь грандиозную картину гибели общества, я многое хотел увидеть, и особенно меня интересовала деятельность моего старого друга Максима Горького. Об этой деятельности рассказывали члены вернувшейся из России лейбористской делегации, и рассказы их вызвали у меня горячее желание взглянуть на все своими глазами. Помимо прочего, меня очень беспокоило то, что сообщил о здоровье Горького мистер Бертран Рассел¹; но я счастлив сказать, что в этом смысле все обстоит благополучно. Я нашел Горького не менее здоровым и полным сил, чем в 1906 году, когда мы с ним познакомились. И с тех пор он неизмеримо вырос как личность. Мистер Рассел писал, что Горький при смерти и русская культура, по всей вероятности, тоже при смерти. Мне кажется, мистер Рассел, как это часто бывает с творческими людьми, не устоял перед искушением и сгустил краски ради эффектной концовки. Он застал Горького в постели, мучимого приступами кашля, и его воображение дорисовало остальное.

Горький занимал в России особенное, совершенно исключительное положение. Он не более коммунист, чем я, и мне довелось слышать, как он у себя на квартире, ничуть не скрывая своих взглядов, возражал против крайностей в споре с такими людьми, как Бакаев², в недавнем прошлом — председатель Петроградской Чрезвычайной комиссии, и Залуцкий³, который становится

¹ Рассел, Бертран (1872—1970) — английский математик, философ и общественный деятель. После второй мировой войны с позиций буржуазного либерализма и пацифизма выступал за мир.

² Бакаев И. П. (1887—1936) — с 1917 года член Петроградского Совета и губисполкома. На XIV съезде партии входил в Ленинградскую делегацию, ставшую в оппозицию к ЦК и съезду; после съезда примкнул к оппозиции, возглавлявшейся Зиновьевым, Каменевым и Троцким. За антипартийную деятельность исключен из партии.

³ Залуцкий П. А. (1887—1937) — с 1905 года эсер. В большевистской партии состоял с 1907 года. До Октябрьской социалистической революции работал в партийных организациях Харбина, Владивостока и Петрограда. В 1918—1920 годах — на ответственных должностях в Красной Армии. В 1921 году — член и секретарь Президиума ВЦИК. С 1925 года — активный участник троцкистско-зиновьевской оппозиции. В 1927 году XV съездом исключен из партии. После восстановления в 1928 году вновь исключен из рядов ВКП(б) в 1934 году за антипартийную и антисоветскую деятельность.

сейчас одним из наиболее влиятельных лидеров Коммунистической партии. Это было весьма убедительное проявление свободы слова, ибо Горький не столько спорил, сколько осуждал, причем делал это в присутствии двоих глубоко заинтересованных и пытливых англичан.

Но он приобрел доверие и уважение почти всех большевистских вождей и волею необходимости стал при новом строе как бы спасителем, обладая известными официальными полномочиями. Он горячо убежден в величайшей ценности западной науки и культуры и считает необходимым в эти тяжкие годы голода, войны и общественных бедствий сохранить связь духовной жизни России с духовной жизнью всего мира. В этом его всячески поддерживает Ленин. Деятельность Горького стала средоточием многих определяющих факторов в жизни России и проливает свет на истинное положение дел, обнаруживая, до какой степени катастрофично это положение.

Такого потрясения, какое испытала Россия в конце 1917 года, еще не испытывало ни одно современное общество. После того как правительство Керенского не пожелало заключить мир, а британское военно-морское командование отказалось прийти на помощь России в Балтийское море, русские армии рассыпались и солдаты с оружием в руках хлынули назад, в Россию,—неудержимый поток крестьян в солдатской форме, рвавшихся домой, отчаявшихся, голодных, недисциплинированных. Это крушение сопровождалось подрывом всех общественных устоев. То был полнейший развал общества. По России прокатилась волна крестьянских восстаний. Запылали помещичьи усадьбы, и нередко этому сопутствовала жестокая расправа. Отчаяние исторгло из человеческих душ все самое отвратительное, и в подавляющем множестве случаев большевики ответственны за эти злодеяния ничуть не более, чем, скажем, австралийское правительство. На улицах Петрограда и Москвы людей среди бела дня останавливали и раздевали до белья при полном безразличии окружающих. Трупы убитых валялись в канавах иногда по целым дням, и прохожие равнодушно шли мимо. Вооруженные люди, нередко самозванцы, объявлявшие себя красногвардейцами, врывались в дома, грабили и убивали. В начале 1918 года молодое большевистское правительство вынуждено было вести решительную борьбу не только против контрреволюции, но также против грабителей и бан-

дитов всех мастей. Лишь летом 1918 года, после того как тысячи налетчиков и громил были расстреляны, ходить по улицам больших русских городов вновь стало безопасно. Цивилизованное общество в России на время перестало существовать, страну захлестнул ураган насилия и беззаконий, а слабому, неопытному правительству приходилось наряду с борьбой против бессмысленной иностранной интервенции преодолевать ужасающий внутренний развал. И до сих пор Россия прилагает все силы, чтобы превозмочь этот хаос.

Искусство, литература, наука — все изысканное и утонченное, что связано для нас с «цивилизацией», было охвачено этим ураганом бедствий. На время театр оказался самой устойчивой частью русской культуры. Театры стояли, как прежде, и никто не пытался их огрabitь или разрушить; актеры, привыкшие приходить туда на репетиции и спектакли, продолжают работать; традиционные государственные субсидии были сохранены. Поистине это поразительно, но русская драма и опера выжили среди жестоких бурь и живы до сих пор. Как выяснилось, в Петрограде каждый вечер ставится более сорока спектаклей; в Москве — примерно столько же. Мы слышали Шаляпина, этого величайшего певца и актера, в «Севильском цирюльнике» и в «Хованщине»; музыканты изумительного оркестра были одеты очень быстро, но дирижер не уронил своего достоинства, представ перед зрителями во фраке и при белом галстуке; мы побывали на «Садко», видели Монахова в «Царевиче Алексее» и в роли Яго в «Отелло» (Дездемону играла супруга Горького, госпожа Андреева¹). Когда смотришь на сцену, кажется, будто ничто не переменялось в России; но вот занавес падает, оборачиваешься к публике и сразу чувствуешь, что совершилась революция. В ложах и в партере не видно больше ни блестящих мундиров, ни вечерних туалетов. Куда ни глянь, везде та же публика, всегда одинаковая, внимательная, дружелюбная, сдержанная и плохо одетая. Как и в Лондонском театральном обществе, места в театрах разыгрываются по жребию. Билеты по большей части бесплатные. На один спектакль они распределяются, скажем, среди членов профсоюзов, на другой — среди красноармейцев и их семей, на третий — среди школьников, и так далее.

¹ Андреева М. Ф. (1872—1953) — известная актриса и общественная деятельница, член КПСС с 1914 года.

Иногда билеты все-таки поступают в продажу, но в целом это не принято.

Я слышал Шаляпина в Лондоне, но не имел тогда случая с ним познакомиться. Теперь же, в Петрограде, наше знакомство состоялось, и мы отобедали в кругу его милого семейства. У него двое почти взрослых приемных детей и две маленькие дочки, обе очень недурно разговаривают на несколько манерном, безупречно правильном английском языке, а младшая превосходно танцует.

В сегодняшней России Шаляпин воистину представляется чудом из чудес. Это подлинный талант, дерзкий и ослепительный. В жизни он пленяет тем же воодушевлением и неиссякаемым юмором, благодаря которым были так чудесны встречи с Бирбомом Три¹. Говорят, он наотрез отказывается петь бесплатно и требует за выступление гонорар в 200 000 рублей — около 15 фунтов на наши деньги, — а когда с продуктами бывает особенно туго, настаивает, чтобы ему уплатили мукой, яйцами или чем-нибудь еще. И он никогда не встречает отказа, ведь если бы Шаляпин объявил забастовку, это нанесло бы невосполнимый ущерб театральной жизни Петрограда. Поэтому в его доме, быть может единственном в России, ощущается относительное благополучие. На супругу Шаляпина до такой степени не повлияла революция, что она спросила у нас, какие сейчас моды в Лондоне. Из-за блокады самые свежие журналы мод, которые она видела, были за январь или февраль 1918 года.

Но театр занимает в русском искусстве особое положение. Остальным видам искусства, литературе и науке катастрофа 1917—1918 годов нанесла сокрушительный удар. Некому стало покупать книги и картины, ученые получают жалованье в рублях, покупательная способность которых за короткое время упала в пятьсот раз. Для них не нашлось места в новом, еще не сформировавшемся обществе, которое борется против грабежей, убийств и всеобщей разрухи; о них забыли. На первых порах Советское правительство уделяло ученым так же мало внимания, как первая французская революция, у которой «не было нужды в химиках». Таким образом, все эти

¹ Бирбом, Герберт (1853—1917) — известный английский актер и театральный деятель, сводный брат писателя-сатирика и художника-карикатуриста Макса Бирбома.

люди, без которых немыслимо существование цивилизованного общества, оказались в самой отчаянной нужде. Усилия Горького были направлены в первую очередь на то, чтобы поддержать и спасти их. Главным образом благодаря ему и наиболее прозорливым деятелям в большевистском правительстве была создана спасательная служба — настоящие «островки спасения», причем самая лучшая и самая действенная из таких организаций — это Петроградский Дом ученых, помещающийся в старинном дворце великой княгини Марии Павловны. Здесь мы увидели подлинный центр распределения особых пайков, где делается все возможное для удовлетворения нужд четырех тысяч ученых и их семей — в общей сложности приблизительно десяти тысяч человек. В Доме ученых не только выдаются пайки, там есть ванны, парикмахерская, портняжная и сапожная мастерские, целая сеть бытового обслуживания. Есть даже небольшой фонд обуви и одежды. Есть спальни и нечто вроде лечебницы для больных и ослабевших от голода.

Из всех впечатлений от поездки в Россию это было, пожалуй, одно из самых необычайных — там, среди страдавших, изможденных людей, я встретил некоторых выдающихся представителей русской науки. Я увидел востоковеда Ольденбурга¹, геолога Карпинского², нобелевского лауреата Павлова³, а также Радлова⁴, Белопольского⁵ и других ученых с мировым именем. Они буквально засыпали меня вопросами о новейших достижениях науки за пределами России, и я устыдился своего полнейшего невежества. Если бы я мог это предвидеть, то привез бы с собой соответствующие материалы. Из-за нашей блокады мировая научная литера-

¹ Ольденбург С. Ф. (1863—1934) — видный русский ученый-востоковед, академик. Специалист по истории литературы, искусств, археологии, этнографии и лингвистики Индии и Ирана. В 1904—1929 годах — непреременный секретарь Петербургской академии, затем Академии наук СССР.

² Карпинский А. П. (1847—1936) — крупнейший советский геолог. В 1917—1936 годах президент Российской академии, затем Академии наук СССР.

³ Павлов И. П. (1849—1936) — великий русский ученый-физиолог, создатель материалистического учения о высшей нервной деятельности животных и человека, академик.

⁴ Радлов Э. Л. (1854—1928) — известный русский философ, автор ряда работ по истории философии.

⁵ Белопольский А. А. (1854—1934) — выдающийся русский астроном, академик.

тура для этих людей недостижима. Нет новых приборов, не хватает писчей бумаги, работать приходится в холодных лабораториях. Просто поразительно, как они вообще могут работать. И тем не менее работа успешно продвигается; Павлов проводит удивительные по своей широте и тонкости исследования высшей нервной деятельности у животных; Манухин утверждает, что нашел эффективный метод лечения туберкулеза даже в поздней стадии и т. д. Я привез реферат научного отчета Манухина, который уже переводится на английский язык и вскоре будет опубликован. Дух науки воистину паразитен. В эту зиму Петрограду грозит жестокий голод, и Дом ученых — если только мы не сделаем все возможное, чтобы это предотвратить, — разделит общую участь, но почти никто из ученых не обмолвился о продовольственной помощи. В Доме искусств заходила речь о нужде и лишениях, ученые же об этом даже не заговаривали. Они жаждут получить лишь научную литературу; знания для них превыше хлеба. Надеюсь, что в этом я смогу им помочь. Я предложил им образовать комиссию и составить список необходимых книг и статей, этот список я привез с собой и вручил секретарю Лондонского Королевского научного общества, который уже начал действовать. Предстоит создать денежный фонд, вероятно, в три или четыре тысячи фунтов стерлингов (адрес секретаря Королевского общества — Лондон, Запад, Берлингтон-Хаус), но согласие большевистского правительства и правительства Англии на такую духовную поддержку уже получено, и я надеюсь, что вскоре первый комплект книг будет выслан этим людям, которые вот уже столько времени оторваны от духовной жизни всего мира.

Если бы даже поездка в Россию не принесла мне никакого иного удовлетворения, я был бы вполне вознагражден уже тем, что наше присутствие, безусловно, ободрило и ободрило этих замечательных людей в Доме ученых и в Доме искусств. Многие из них, видимо, уже отчаялись получить какие-либо вести из-за рубежа. Целых три года, три долгих, беспросветных года они прожили в мире, который на глазах все глубже погружался в бездну лишений, в непроницаемый мрак. Возможно, у них были короткие встречи с какими-нибудь политическими делегациями, приезжавшими в Россию, — этого я не знаю; но вне сомнения, они даже не надеялись увидеть вновь свободного и независимого челове-

ка, который неофициальным порядком приехал из Лондона, и не только приехал, но мог беспрепятственно вернуться назад, в потерянный для них западный мир...

Все любители музыки в Англии знают творчество Глазунова¹; он дирижировал в Лондоне оркестрами и был избран почетным доктором Оксфордского и Кембриджского университетов. Встреча с ним глубоко взволновала меня. Некогда это был крупный, пышущий здоровьем человек, теперь же он бледен и до того исхудал, что одежда буквально висит на нем. Он пришел расспросить меня о своих друзьях — сэре Хьюберте Пэрри и сэре Чарлзе Вильерсе Стэнфорде². Он сказал, что продолжает сочинять музыку, но последние остатки нотной бумаги уже на исходе. «И больше не предвидится», — сказал он. Я возразил, что предвидится, причем в достаточном количестве и очень скоро. Он отнесся к этому с недоверием. Он вспоминал Лондон и Оксфорд; чувствовалось, что его снедает тоска по большому городу, где жизнь бьет ключом, по городу, где всего вдоволь и царит веселое оживление, где в теплых, ярко освещенных залах ему внимала бы восторженная публика. И мое присутствие было для него живым свидетельством того, что все это еще существует. Он повернулся спиной к окну, за которым, в тоскливых сумерках, катила свои холодные, серые воды Нева и вырисовывались низкие тюремные стены Петропавловской крепости. «Скажите, ведь в Англии не будет революции — как, по-вашему? Там, в Англии, у меня много добрых друзей, очень много добрых друзей...» Мне было нелегко с ним расстаться, а ему — еще тяжелей проститься со мной.

Глядя на этих выдающихся людей, которые живут, словно беженцы, среди развалин рухнувшего империализма, я понял, как неотвратимо зависит человек редкого таланта от прочности цивилизованного строя. Заурядный человек может сменить профессию; он может стать матросом, фабричным рабочим, землекопом — кем угодно. Так или иначе, ему приходится работать, но он не одержим демоном, который вынуждает его следовать единственному своему призванию, быть только тем, что

¹ Глазунов А. К. (1865—1936) — русский композитор и дирижер, народный артист республики, профессор Петербургской, а затем Ленинградской консерватории, ее директор в 1905—1928 годах.

² Пэрри Х. Х. (1848—1918) и Стэнфорд Ч. В. (1852—1924) — английские композиторы.

он есть, или умереть. Шаляпин должен быть только Шаляпиным, и ничем иным, Павлов должен быть Павловым, а Глазунов — Глазуновым. И пока такие люди имеют возможность следовать своему единственному призванию, они живут полноценной жизнью. Шаляпин все так же великолепно поет и играет на сцене — совершенно не считаясь с коммунистическими принципами; Павлов все так же поглощен своими замечательными исследованиями — он ходит в старом пальто, и кабинет его завален картофелем и морковью, которые он выращивает на досуге; Глазунов будет сочинять музыку, пока не израсходует последний листок нотной бумаги. Но многим другим, по-видимому, приходится гораздо хуже. Смертность среди выдающихся представителей интеллигенции ужасающе высока. Без сомнения, во многом это объясняется общими жизненными лишениями, но, как мне кажется, нередко решающую роль здесь играет отчаяние, порожденное ненужностью большого таланта¹. В России 1919 года им так же невозможно жить, как в краале² у кафров.

Наука, искусство и литература — это тепличные растения, которые необходимо оберегать от холода, хранить и лелеять. Как ни парадоксально, но наука, преобразующая весь мир, создается гениями, нуждающимися в защите и помощи больше, чем кто бы то ни было. Но, к чести большевистского правительства, оно теперь осознало опасность полной гибели русской интеллигенции и, невзирая на блокаду и непрестанную борьбу против наемных мятежников и интервенции, которые, по милости нашей страны и Франции, причиняют России множество бедствий, позволило создать эту спасательную службу и оказывает ей поддержку. Наряду с Домом ученых существует Дом искусств. Сейчас в России никто, кроме

¹ Рассуждения Г. Уэллса о положении ученых и работников искусства в Петрограде в 1920 году не всегда достаточно объективно отражают подлинную картину. Партия и правительство уделяли большое внимание организации науки и развитию высшего образования. Известны многочисленные факты ленинской заботы о крупных ученых и писателях — Павлове, Тимирязеве, Горьком и многих других. За короткое время пребывания в России пораженный общим бедственным состоянием страны автор не сумел увидеть всех тех усилий правительства, которые были направлены на поддержание и дальнейшее развитие отечественной науки и культуры.

² Крааль — тип поселения у скотоводческих народов Юго-Восточной Африки; кафры — устаревшее наименование ряда негритянских племен, обитающих в восточной части Южно-Африканской Республики.

нескольких поэтов, не пишет книг, никто не рисует картин¹. Но большинство писателей и художников нашли себе применение в подготовке грандиозного издания русской энциклопедии всемирной литературы. В этой удивительной России, измученной войной, холодом, голодом и тяжкими невзгодами, всерьез делается большое литературное дело, которое немыслимо сейчас ни в богатой Англии, ни в богатой Америке. В Англии и в Америке практически перестали выпускать хорошие книги в общедоступных изданиях «ввиду дороговизны бумаги». Духовная пища английских и американских народных масс оскудевает, становится все низкопробнее, и никому из власть имущих нет до этого дела. Здесь большевистское правительство по сравнению с ними оказалось на высоте. В голодающей России сотни людей работают над переводами, их переводы набираются и печатаются, и, быть может, благодаря этому новая Россия так глубоко ознакомится с сокровищницей мировой мысли, что оставит позади все другие народы. Я видел некоторые из этих книг, а также работу переводчиков. Я написал «быть может», так как у меня нет полной уверенности. Ведь среди царящей здесь разрухи эта творческая работа, как и всякая другая, ведется неорганизованно и бессистемно. Я не представляю себе, как можно донести мировую литературу до русского народа. Книжные магазины закрыты, книготорговля, как и вся остальная торговля, под запретом. Вероятно, книги станут распространять по школам и различным организациям.

Максим Горький пытается спасти не только ученых и литераторов. С его деятельностью связана третья, еще более своеобразная спасительная организация. Это — Экспертная комиссия, разместившаяся в здании бывшего британского посольства. Когда терпит крах общественный строй, основанный на частной собственности, и все права на частную собственность внезапно отменяют-

¹ Это неверное утверждение. В годы гражданской войны создали новые произведения М. Горький, А. Серафимович, Демьян Бедный, В. Маяковский, В. Брюсов, А. Блок, С. Есенин и многие другие. Отдали свой талант служению революции художники И. Владимирова, Б. Кустодиев, И. Грабарь, К. Юон и другие. В области политического плаката активно работали В. Маяковский, М. Черемных, В. Дени. Большую работу вели скульпторы С. Ковенко, И. Шадр, В. Мухина и другие. В 1918—1920 годах только в Москве и Петрограде было открыто более сорока памятников выдающимся революционерам, деятелям науки, литературы и искусства.

ся целиком и полностью, невозможно отменить и ликвидировать само имущество, находившееся прежде в частной собственности. Дома вместе со всей обстановкой стоят, как прежде, в них живут их бывшие хозяева, если только они не сбежали из России. Когда большевистские власти реквизируют дом или занимают пустующий дворец, им приходится решать, как поступить с этим имуществом. Всякому, кто знает человеческую психологию, ясно, что в иных случаях простодушные должностные лица, а также их жены, пожалуй менее простодушные, не могли устоять перед соблазном и кое-что тайком присвоили. Однако общий дух большевизма — это дух честности, решительно чуждый грабежей и личной наживы. Со времени катастрофы в Петрограде и в Москве было, насколько я знаю, сравнительно немного грабежей. В Москве с бандитизмом покончили весной 1918 года, поставив его к стенке. Мы заметили, что в особняках для правительственных гостей и в других подобных местах все строго инвентаризовано. Изредка нам приходилось видеть на столе разрозненные вещи — хрустальную посуду или фамильное серебро — в доме, где они выглядели не на своем месте, однако по большей части их продали хозяева, чтобы купить еду или самое необходимое. У матроса, которому было поручено сопровождать нас в Москву и обратно, был изящный серебряный чайничек, некогда украшавший, вероятно, чей-то очаровательный салон. Но этот чайничек явно покинул вышедший свет самым законным путем.

Чтобы надежнее обеспечить сохранность ценностей, Экспертная комиссия собрала и взяла на учет все, что может считаться произведением искусства. Дворец, где прежде помещалось британское посольство, напоминает переполненную старинными вещами антикварную лавку на Бромптон-роуд. Мы ходили по залам, в которых свалены прекраснейшие обломки старого общества. Просторные покои заставлены скульптурами; нигде, даже в Неаполитанском музее, мне еще не доводилось видеть сразу столько беломраморных Венер и сильфид. Всевозможные картины сложены штабелями, а в коридорах до самого потолка высятся одна на другой инкрустированные этажерки; одна зала заставлена ящиками со старинными кружевами, другая — роскошной мебелью. Все это нагромождение ценностей описано и взято на учет. Но и только. Я обнаружил, что никто и понятия не имеет, как быть дальше с этим никчемным великолепием.

Если русские коммунисты действительно создают новый мир, то в их новом мире все это как будто оказывается неуместным. И они даже не предполагали, что им придется иметь с этим дело. Точно так же они всерьез не задумывались о том, как быть с магазинами и рынками, когда запретили торговлю в магазинах и на рынках. Точно так же не продумали они и проблему, как превратить город, состоящий из частных особняков, в коммунистическое общежитие. Марксистская теория привела их к идее «диктатуры классово-сознательного пролетариата», а далее подразумевалось — теперь мы видим, до какой степени туманно, — что возникает новое небо и новая земля. Если бы это осуществилось, произошла бы подлинная революция в жизни человечества. Но мы убедились, что небо в России все то же и земля все та же, покрытая руинами, усеянная брошенной собственностью и обломками старой, разрушенной государственной машины, и все тот же непокорный, упрямый крестьянин цепко держится за свое хозяйство — и коммунизм, мужественно и честно правящий в городах, все же очень часто напоминает фокусника, который забыл принести с собой голубя и кролика, а потому не может ровно ничего извлечь из шляпы.

Крах — вот главное, что определяет сейчас положение России. Революция и правление коммунистов, о чем я расскажу в следующей главе, — лишь следствие краха. Это совершилось во время краха и обусловлено им. В высшей степени важно, чтобы на Западе это поняли. Если бы мировая война длилась еще год или несколько дольше, Германию, а вслед за ней и другие западные державы постигла бы та же катастрофа — с некоторыми национальными особенностями, — что и Россию. Обстановка, которую мы наблюдали в России, — это обостренная и достигшая своего завершения обстановка, которая назревала в Англии в 1918 году. Здесь та же нехватка, какую испытывали мы, только принявшая чудовищные масштабы; здесь та же карточная система, только менее упорядоченная и действенная; в России спекулянтов не штрафуют, а расстреливают, и вместо ЗЗГМ¹ действует Чрезвычайная комиссия. То, что в Англии ощущалось лишь как затруднение, в России выросло до размеров бедствия. Вот и вся разница. Насколько я могу судить, в Западной Европе и сейчас еще зреет подобная ката-

¹ Закон о защите государственных мероприятий.

строфа. Я далеко не уверен, что опасность уже позади. Война, потворство своим прихотям, спекуляция, существующая за чужой счет, вероятно, до сих пор расточают больше, чем производит западный мир; в таком случае нас неминуемо постигнет крах — расстройство финансов, всеобщая нужда, развал общественной и политической системы и все прочее,— это лишь вопрос времени. Магазины на Риджент-стрит ожидает та же участь, что и магазины на Невском проспекте, а мистеру Голсуорси¹ и мистеру Беннету² придется делать все возможное, дабы спасти художественные сокровища Мэйфера³. Лишь совершенно искажая международную обстановку и толкая людей на ошибочные политические действия, можно утверждать, что те ужасающие бедствия, которые сегодня испытывает Россия, в сколько-нибудь серьезной степени вытекают из деятельности коммунистов; что злодеи-коммунисты довели Россию до таких бедствий и стоит лишь свергнуть коммунистов, как вся Россия тотчас вновь обретет полнейшее благоденствие. В бедственное положение Россию ввергла мировая война, а также нравственное и духовное оскудение ее правящих и имущих кругов. (Подобно тому как и наша британская держава, а впоследствии даже и Америка могут быть ввергнуты в такие же бедствия.) У них не достало ни ума, ни совести положить конец войне, положить конец всяческому разорению, они присваивали все блага, обрекая остальных на несчастья и порождая опасное недовольство, а потом было уже поздно. Они правили, разоряли страну и грызлись между собой, словно слепые, не видя неотвратимой катастрофы, покуда она не свершилась. И тогда пришли коммунисты, о чем я расскажу в следующей главе...

Кремлевский мечтатель

Я поехал из Петрограда в Москву главным образом для того, чтобы увидеться и поговорить с Лениным. Этой

¹ Голсуорси, Джон (1867—1933) — известный английский писатель реалистического направления, автор многотомных «Саги о Форсайтах» и «Современной комедии».

² Беннет, Арнольд (1867—1931) — писатель-реалист, одна из крупнейших фигур в английской литературе конца XIX — первой трети XX века.

³ Мэйфер — аристократический квартал Лондона, во многих особняках которого собраны ценнейшие частные коллекции живописи и скульптуры.

встречи я ждал с большим интересом и был заранее предубежден против него. Но он оказался совсем не похожим на того человека, которого я предполагал увидеть.

Ленин не писатель; по его опубликованным сочинениям нельзя судить о его личности. Короткие, резкие брошюры и статьи, издаваемые в Москве под его именем, в которых нередко высказываются ошибочные представления о психологии западных рабочих и упорно отстаивается нелепый тезис, что в России произошла та самая социалистическая революция, которая была предсказана Марксом, не отражают, как я убедился при встрече с ним, и крупницы его интеллекта. Порой в этих работах блеснет вдохновенная прозорливость, в целом же они лишь повторяют готовые идеи и формулировки ортодоксального марксизма¹. Быть может, это необходимо. По-видимому, только такой язык и понятен коммунистам; внезапный переход к новой терминологии породил бы недоумение и разброд. Левый коммунизм — это хребет нынешней России; к сожалению, хребет этот лишен гибкости, он лишь с величайшим трудом поддается на угодливую лесть.

Москва, залитая ярким октябрьским солнцем, в убоге золотистой, трепещущей листвы, по сравнению с Петроградом, выглядела привольней и оживленней. На улицах несравненно болеелюдно, свободней идет торговля, довольно много извозчиков. Рынки открыты. Улицы и дома не так разрушены. Правда, кровопролитные уличные бои в начале 1918 года оставили довольно много следов². Один из куполов нелепого собора Василия Блаженного, что стоит у самых ворот Кремля, разворочен снарядом и до сих пор не восстановлен. Мы заметили, что трамваи не перевозят пассажиров; их используют для доставки продовольствия и топлива. Говорят, что в этом смысле Петроград обеспечен лучше Москвы.

Десять тысяч крестов на московских церквах по-прежнему ярко сверкают при свете дня. На высоких крем-

¹ Здесь Г. Уэллс обнаруживает непонимание существа ленинизма как нового этапа в творческом развитии марксизма. В «Опыте автобиографии», написанном в 1934 году, Уэллс пересмотрел свою точку зрения и признал, что «он (Ленин. — С. Х.) превратил марксизм в ленинизм». См. настоящий сборник, с. 51.

² В начале 1918 года в Москве кровопролитных уличных боев не было. Возможно, автор имеет в виду бои, имевшие место во время подавления левозэсеровского мятежа 6 июля 1918 года.

левских башнях простирают крылья имперские орлы; большевистское правительство слишком занято или безразлично к таким вещам, и орлов до сих пор не убрали. В церквях идут богослужения, верующие истово прикладываются к иконам, нищим на паперти удается порой выклянчить подавание. Особенно много богомольцев привлекает знаменитая часовня с чудотворным образом Иверской божьей матери неподалеку от Воскресенских ворот. Толпы крестьянок, не имея возможности протиснуться в маленькую часовню, целуют камни у входа.

А напротив, на стене дома, висит мраморная доска со знаменитым ныне лозунгом, прибитая здесь вскоре после революции по распоряжению московских властей: «Религия — опиум для народа». Воздействие этого лозунга значительно ослабляется тем, что народ в России неграмотен.

По поводу этой надписи у меня вышел короткий, но довольно забавный спор с американским финансистом мистером Вандерлипом, который жил вместе с нами в особняке для гостей правительства. Он утверждал, что лозунг нужно убрать. Я возразил, что его следует сохранить для истории, и к тому же веротерпимость должна в равной мере распространяться и на атеистов. Однако мистер Вандерлип был слишком возмущен и не мог вникнуть в смысл моих слов.

Особняк, где мы жили, просторный, богато обставленный, стоял на Софийской набережной (№ 17), прямо напротив высокой кремлевской стены, за которой теснят друг друга купола и башенки этой царской твердыни. Здесь мы чувствовали себя далеко не так свободно и непринужденно, как в Петрограде. Стража у ворот ограждала нас от случайных посетителей, тогда как в Петрограде самые разные люди приходили ко мне побеседовать частным порядком. Насколько я понял, мистер Вандерлип прожил в Москве уже несколько недель и предполагал пробыть еще примерно столько же. У него не было ни прислуги, ни секретаря, ни переводчика. Он не вел со мной разговоров о своих делах, лишь осторожно обронил раз-другой, что это чисто финансовые и торговые дела, совершенно не связанные с политикой. Я слышал, что он привез Ленину письменные полномочия от сенатора Гардинга¹, но поскольку любопытство не

¹ Гардинг, Уоррен (1865—1923) — сенатор с 1914 года, президент США с 1921 года.

в моем характере, я даже не пытался проверить это и вообще предпочел не вмешиваться. Я не спросил даже, каким образом в коммунистическом государстве можно заключать торговые или финансовые сделки с кем-либо, помимо правительства, а с правительством — иметь дело вне связи с политикой. Я молчаливо признал, что подобные тайны выше моего разума. Соблюдая полнейшую сдержанность, мы вместе садились за стол, ели, курили, пили кофе, беседовали. «Миссия» мистера Вандерлипа, окруженная глубоким молчанием, стала для нас чем-то вездесущим и многозначительным.

Моей встрече с Лениным предшествовала долгая и неприятная волокита, но вот наконец я отправился в Кремль, сопровождаемый господином Ротштейном¹, игравшим прежде видную роль в коммунистических кругах Лондона, и одним американским товарищем с большим фотоаппаратом, — этот товарищ, как я понял, тоже был представителем русского Комиссариата иностранных дел.

Помню, в 1914 году доступ в Кремль был совершенно свободный, совсем как в Виндзорский замок, и в его ворота тоненькой, но непрерывной струйкой вливались по двое и небольшими группками богомольцы и туристы. Теперь же туда нелегко попасть. Еще у ворот начались хлопоты из-за разрешений и пропусков. Прежде чем попасть в кабинет Ленина, нам пришлось пройти, словно через фильтры, через пять или шесть комнат, где охрана и сотрудники проверяли наши документы...

Наконец нас пропустили к Ленину, и мы увидели человека невысокого роста, который сидел за большим письменным столом в светлом кабинете с окнами, выходящими на площадь перед дворцом. На столе был полнейший беспорядок. Я сел сбоку подле стола, и этот невысокий человек — когда он сидит на краешке стула, ноги его едва касаются пола — повернулся ко мне, облокотившись о стол поверх вороха бумаг, и заговорил. Он прекрасно владеет английским языком, но я отметил про себя то весьма характерное для сегодняшней России обстоятельство, что господин Ротштейн неусыпно

¹ Ротштейн Ф. А. (1871—1953) — советский историк и общественный деятель, действительный член АН СССР. Член КПСС с 1901 года. Находясь в эмиграции в Англии (с 1890 года), участвовал в 1920 году в создании Коммунистической партии Великобритании. В августе 1920 года вернулся на Родину. В течение ряда лет был на дипломатической работе.

следил за разговором, иногда вставлял замечания или подсказки. Американец тем временем пристроил свой аппарат и потихоньку, но с большим усердием принялся нас фотографировать. Наша беседа была так интересна, что он нам ничуть не мешал. Вскоре все это щелканье и шевеление стали вовсе незаметны.

Я пришел, готовый к столкновению с марксистским догматиком. Но он оказался совсем не похож на догматика. Я слышал, будто Ленин любит поучать; однако в нашей беседе ничего подобного не было. Много писали о его смехе, который поначалу как будто приятен, но вскоре начинает казаться циничным. Такого смеха я не услышал ни разу. Формой своего лба он напоминал мне кого-то — я не мог припомнить, кого именно, и понял это лишь на днях, когда увидел мистера Артура Бальфура¹ при скупом свете лампы, затененной абажуром. Передо мной был точно такой же выпуклый череп не вполне правильной формы. У Ленина приятное, очень подвижное, смугловатое лицо, живая улыбка, и я заметил у него привычку (возможно, это объясняется каким-либо дефектом зрения) щурить один глаз, делая паузу в разговоре; он не очень похож на известные всем фотографии, так как принадлежит к людям, у которых мимолетное выражение лица гораздо важнее, чем сами черты; во время разговора он иногда жестикулировал над кипами бумаг и говорил быстро, вникая в самую суть дела, безо всякой позы, рисовки или недомолвок, как умеют говорить лишь подлинные ученые.

Всю нашу беседу определяли и пронизывали два — как бы их назвать? — два лейтмотива. Один исходил от меня к нему: «Как представляется вам будущее России? Какое государство вы стремитесь создать?» Другой — от него ко мне: «Почему в Англии до сих пор не началась социалистическая революция? Почему вы не готовите социалистическую революцию? Почему не свергнете капитализм и не провозгласите коммунистическое государство?» Оба эти мотива сплетались, перекликались, дополняли друг друга. Второй возвращал нас к первому: «Но что дала вам социалистическая революция? Успешно ли она завершилась?» И тут мы снова

¹ Бальфур А. Д. (1848—1930) — английский государственный и политический деятель, один из лидеров консервативной партии. В 1902—1905 годах — премьер-министр. После Великой Октябрьской социалистической революции явился одним из организаторов антисоветской интервенции.

переходили ко второму: «Для ее успешного завершения к нам должен примкнуть западный мир. Почему это не делается?»

До 1918 года все марксисты считали революцию своей конечной целью. Пролетарии всех стран соединятся, свергнут капитализм и обретут вечное счастье. Но в 1918 году коммунисты неожиданно для себя очутились в России у власти, и нужно было явить миру обещанный золотой век. Этот новый, лучший общественный строй еще не появился, и на то у коммунистов есть весьма красноречивые оправдания — непрекращающиеся войны, блокада и все прочее, но тем не менее они явно начинают понимать, что марксистское мировоззрение не дало им никакой практической подготовки. Можно указать сотню проблем — некоторых я уже коснулся, — к которым они не могут даже подступиться. Однако рядовой коммунист приходит в праведное негодование, стоит вам хотя бы усомниться в том, что при новом строе все делается самым лучшим и самым мудрым образом. Он напоминает самолюбивую хозяйку, которая, когда ее выселяют из дома, требует похвал за идеальный порядок. Он напоминает позабытых суффражисток¹, которые сулили всем земной рай, стоит только освободиться от тирании «законов, установленных мужчинами». Но Ленин, от чьей откровенности, вероятно, захватывает дух у его последователей, окончательно отверг всякое лицемерие и заявил, что революция в России — это не что иное, как наступление эпохи беспредельных поисков. Он писал недавно, что люди, перед которыми стоит огромная задача ниспровержения капитализма, должны быть готовы к тому, что им придется испробовать один за другим множество методов, пока они не найдут метод, наиболее соответствующий их цели.

Наша беседа началась с обсуждения будущего больших городов при коммунизме. Мне хотелось услышать мнение Ленина о том, как далеко пойдет процесс отмирания городов в России. В разрушенном Петрограде я осознал то, чего не понимал раньше: облик и самую структуру города определяют магазины и рынки, стоит их упразднить, и девять из десяти зданий в обычном городе прямо или косвенно утратят свое назначение и

¹ Суффражистки — участницы буржуазного женского движения в Англии начала XX века за предоставление женщинам равных с мужчинами прав.

смысл. «Города станут гораздо меньше,— согласился Ленин. — Они изменятся. Да, очень изменятся». Я заметил, что это потребует огромной работы. Придется снести прежние города и построить новые, на другом месте. Церкви и величественные дворцы Петрограда уподобятся историческим памятникам Новгорода Великого или храмам Пестума¹. Значительная часть современного города перестанет существовать. Ленин охотно согласился со мной. Мне кажется, он рад был встретиться с человеком, сознающим неизбежные последствия коллективизма, которых не могут постичь до конца даже многие из его единомышленников. Предстоит коренная перестройка всей России, полное ее обновление...

А промышленность — предстоят ли и здесь столь же коренные преобразования?

Известно ли мне о том, что уже сейчас делается в России? Знаю ли я об электрификации?

Оказывается, Ленин, который, как и положено ортодоксальному марксисту, осуждает всяческих «утопистов», в конечном счете сам увлекся утопией — утопией электрификации. Он употребляет все свое влияние, стремясь осуществить план строительства в России мощных электростанций, которые дадут целым губерниям свет и энергию для транспорта и промышленности. Он сказал, что в экспериментальном порядке уже электрифицированы два района. Можно ли вообразить более отважный план в этой стране лесистых равнин, населенной безграмотными крестьянами, в стране, где нет ни водных энергетических ресурсов, ни квалифицированных специалистов, где угасает торговля и промышленность? Подобный план осуществляется сейчас в Голландии, он рассматривался в Англии, и в этих густонаселенных странах с развитой промышленностью электрификация, вполне возможно, будет с успехом осуществлена, окажется выгодной и полезной во всех отношениях. Однако в России такой план превосходит самые пылкие технические фантазии. Сколько ни вглядываюсь я в будущее России, словно в темный кристалл, мне не дано разглядеть то, что видит этот невысокий человек, работающий в Кремле: он видит, как вместо разрушенных железных дорог возникают новые, электрифицированные магистрали, как по всей стране прокладываются новые шоссейные пути, как со-

¹ Храмы Пестума — античные храмы в окрестностях древнеримского города Пестума, ныне Песто. (Прим. составителя)

дается новое, счастливое коммунистическое государство с могучей промышленностью. И во время нашей беседы он почти заставил меня поверить в свое предвидение.

— И вы намерены осуществить все это с крестьянством, приросшим корнями к земле?

— Но не только города будут перестроены: исчезнут все различия между городом и деревней.

— Уже сейчас,— сказал Ленин,— мы не всю сельскохозяйственную продукцию получаем от крестьянства. Кое-где создано крупное сельскохозяйственное производство. Правительство взяло в свои руки большие земельные владения там, где условия этому благоприятствуют, и землю обрабатывают не крестьяне, а рабочие. Возможно, это получит дальнейшее распространение. Сначала такой порядок установится в одной губернии, потом в другой...

Справиться сразу со всей массой крестьянства, пожалуй, нелегко; но порознь это можно сделать без всякого труда. Когда речь зашла о крестьянах, Ленин придвинулся ко мне поближе; он заговорил теперь конфиденциальным тоном. Как будто крестьяне и в самом деле могли подслушать наш разговор.

Я возражал, что нужно не только создать материальную основу общества, нужно преобразовать сознание всего народа. В силу своих обычаев и традиций русские — это нация индивидуалистов и торговцев; чтобы создать новый мир, нужно переделать самые их души. Ленин спросил, ознакомился ли я с той работой, которая ведется в области просвещения. Я рассказал о том, что видел, и кое-что похвалил. Он кивнул с довольной улыбкой. Вера его в свое дело поистине непоколебима.

— Но все это лишь наметки, самые первые шаги,— сказал я.

— Приезжайте через десять лет, и вы увидите, что мы сделаем за это время в России,— отвечал он.

Благодаря ему я понял, что коммунизм, несмотря на Маркса, все же таит в себе огромные созидательные возможности. После того как я перевидел среди коммунистов столько унылых фанатиков, одержимых идеей классовой борьбы, столько твердолобых, выхолощенных доктринеров, после всех моих встреч с заурядными приверженцами марксизма, вымуштрованными и исполненными пустой самоуверенности, этот удивительный невысокий ростом человек, который откровенно признает,

что строительство коммунизма — это грандиознейшая и сложнейшая задача, и скромно посвящает ее осуществлению все свои силы, буквально пролил бальзам на мою душу. Он по крайней мере видит преображенный, заново построенный мир, этот мир воплощенных замыслов.

Он попросил меня подробнее поделиться впечатлениями, почерпнутыми в России. Я сказал, что, на мой взгляд, коммунисты часто действуют слишком прямолинейно и поспешно, разрушают, когда они еще не готовы строить, и это особенно заметно в Петроградской коммуне. Они ликвидировали торговлю, когда не были еще готовы ввести пайки; уничтожили кооперативные объединения, вместо того чтобы их использовать, и т. д. Тут мы подошли к нашему коренному разногласию, разногласию между коллективистами и марксистами, к вопросу, необходима ли такая крайность, как социалистическая революция, и есть ли необходимость полностью уничтожать старую общественно-экономическую систему, чтобы создать новую. Я считаю, что путем длительного, систематического воспитательного воздействия можно цивилизовать существующую капиталистическую систему и превратить ее в мировую систему коллективизма; однако Ленин уже много лет неразрывно связан с марксистскими догмами, провозглашающими неизбежность классовой борьбы и падение капиталистического строя в качестве непременных предпосылок для строительства нового общества, диктатуру пролетариата и т. п. Поэтому он вынужден был доказывать, что современный капитализм носит закоренелый хищнический характер, что он расточителен и неисправим никакими средствами, и, если его не уничтожить, он всегда будет тупо и бессмысленно эксплуатировать достояние человечества, всячески препятствовать использованию национальных богатств для общего блага и неизбежно породить войны.

Не скрою, что в этом споре мне пришлось туго. Неожиданно Ленин достал новую книгу Кьюцца Моне «Триумф национализации», которую он, как я понял, прочел очень внимательно.

— Вот видите, стоит только у вас появиться по-настоящему активной коллективистской организации, которая может сыграть какую-то роль в жизни общества, как капиталисты тотчас ее губят. Они погубили ваши национализированные верфи, они не дают вам экономично раз-

рабатывать угольные шахты. — Он похлопал ладонью по книге. — Здесь обо всем этом сказано.

Когда я стал доказывать, что войны порождает не капиталистический строй, а националистический империализм, он вдруг спросил:

— А что вы думаете об этом новом республиканском империализме, исходящем из Америки?

Тут вмешался господин Ротштейн и что-то сказал по-русски, но Ленин оставил его слова без внимания.

И хотя господин Ротштейн взывал к дипломатической сдержанности, Ленин рассказал, что один американец вздумал своими планами поразить воображение Москвы. Он предлагает признать большевистское правительство и оказать России экономическую помощь. Предлагает заключить оборонительный союз, дабы обезопасить Сибирь от японской агрессии. Предлагает создать американскую военно-морскую базу на дальневосточном побережье и подписать долгосрочную концессию сроком на пятьдесят или шестьдесят лет для разработки природных богатств Камчатки, а также, возможно, и других крупных областей азиатской части России. Как мне кажется, есть ли здесь стремление к миру? Можно ли сомневаться в том, что это — начало новой всемирной грызни? Как на это посмотрят британские империалисты?

— Капитализм,— действительно утверждал Ленин,— это вечная конкуренция и грызня. Он прямо противоположен принципам коллективизма. Он не способен перерасти ни в общественное, ни во всемирное единство.

— Но должна же какая-нибудь промышленно развитая держава прийти России на помощь,— сказал я. — Без такой помощи невозможно никакое восстановление...

Наш многоплановый спор остался неоконченным. Мы тепло простились, и я вместе со своим сопровождающим пустился в обратный путь, от барьера к барьеру, через те же фильтры, которые мы уже один раз миновали.

— Это замечательный человек,— сказал господин Ротштейн. — Но все-таки он поступил неосмотрительно...

Мы возвращались в особняк мимо сверкающих золотом деревьев, что растут вдоль древнего рва у подножия кремлевской стены, и я не был расположен разговаривать. Мне хотелось поразмыслить о Ленине, пока его образ свеж в моей памяти, и разглагольствования сопровождающего мне мешали. Но господин Ротштейн говорил не закрывая рта.

Он все убеждал меня не рассказывать мистеру Вандерлипу о возможных перспективах русско-американских взаимоотношений, хотя я заверил его с самого начала, что слишком уважаю ту сдержанность, которой окружил себя мистер Вандерлип, чтобы посягнуть на нее хоть единым опрометчивым словом.

Наконец я вернулся в дом № 17 по Софийской набережной, где сел за стол вместе с мистером Вандерлипом и молодым лондонским скульптором. Нам прислуживал старый лакей, который был удручен скудостью трапезы и вспоминал дни минувшего великолепия, когда в этом особняке гостил Карузо и пел наверху, в большой зале, перед сливками московского общества. Мистер Вандерлип предложил посмотреть один из больших рынков, а вечером побывать на балете, но мы с сыном собирались вернуться в Петроград ночным поездом, чтобы вовремя успеть в Ревель, на стокгольмский пароход.

1920

О ЛЕНИНЕ

(Из „Опыта автобиографии“, 1934)

Его влияние на людей проистекало из того огромного умения все предвидеть и дать нужный совет, которое он проявил в годы революционного кризиса. Он оказался тогда человеком, к которому всякий приходил со своими страхами и сомнениями. Сила его состояла в четкости и одновременно тонкости мышления. Путем незаметных сдвигов, общее значение которых удалось измерить и оценить только после его смерти, он превратил марксизм в ленинизм...

Он, как и всякий другой человек, принадлежал своему времени и своей эпохе. Тогда, во время нашей беседы, у каждого из нас были свои предубеждения. Мы говорили главным образом о необходимости заменить мелкое крестьянское хозяйство сельскохозяйственным производством совершенно иного масштаба — это было за восемь лет до первого пятилетнего плана — и о только еще задуманной им электрификации России. Относительно последней я высказал недоверие, потому что не знал тогда, какими колоссальными гидроэнергетическими ресурсами располагает Россия. «Приезжайте снова и посмотрите на нас через десять лет», — сказал он в ответ на мои сомнения.

Когда я беседовал с Лениным, предмет нашего разговора интересовал меня куда больше, чем оба мы вместе взятые. Меня совершенно не занимало тогда, высокого мы роста или маленького, старые или молодые. Мне запомнились лишь его эмоциональность и удивительная четкость мысли. Но сейчас, когда, просматривая свою старую, четырнадцатилетней давности книгу, я снова вижу его перед собой и сравниваю его с другими известными мне государственными деятелями, я начинаю понимать, какой выдающейся исторической фигурой он был. Я решительно не согласен с мнением, будто все человеческие достижения следует приписывать тем или иным «великим людям», но если только допустить, что мы, смертные, способны подняться к величию, я должен признать, что во всяком случае Ленин был поистине великим человеком...

Ленин, когда я его видел, уже недомогал, ему приходилось часто отдыхать; в начале 1922 года врачи категорически запретили ему регулярно работать, и летом того же года он был частично парализован, а в начале 1924 года скончался. Таким образом, период его активной государственной деятельности охватывает, да и то не целиком, всего лишь пять заполненных событиями лет. И все же за эти короткие годы он сумел внушить России тот неиссякаемый и все преодолевающий дух созидания, который не оскудел и сегодня. Если бы не он и не созданная им дисциплинированная Коммунистическая партия, русская революция наверняка скатилась бы к жесточайшей военной диктатуре и общество потерпело бы окончательный крах. Но его Коммунистическая партия выделила из своих рядов и поставила на государственные посты дисциплинированных и пусть неопытных, но преданных делу работников, без которых задачи революции сейчас абсолютно невыполнимы, и хотя это были люди малоподготовленные, самого факта их появления оказалось достаточно для того, чтобы революционная Россия сумела выжить. Его ум всегда сохранял гибкость, и он с удивительной легкостью перешел от революционной деятельности к перестройке общества. В 1920 году, когда я с ним встретился, он с юношеским увлечением изучал возможности предполагавшейся «электрификации России». Замысел Пятилетнего плана, который рисовался ему в виде отдельных, последовательно проводимых областных планов, русская система высоковольтных линий, новостройки Днеп-

ропетровска — все это уже складывалось в его мозгу. И еще долго после того как он перестал непосредственно участвовать в этой работе, он по-прежнему вдохновлял тех, кто трудился. Он и сейчас, наверно, все с той же энергией работает рядом с ними.

Во время моей последней поездки в Москву в июле 1934 года я посетил его Мавзолей и снова увидел этого невысокого человека. Он показался мне еще меньше, чем прежде, лицо его было бледно-восковым, борода более рыжей, чем мне запомнилось, всегда беспокойные руки неподвижны. В нем были достоинство и простота и что-то немного трогательное, какая-то детскость и мужество — великие свойства человеческой души. Он спит. Он уснул слишком рано для России.

1934

Джек ЛИНДСЕЙ

Линдсей, Джек (р. в 1900 г.) — писатель, литературный критик, искусствовед и историк. Родился в Австралии в семье известного художника Нормана Линдсея; с 1926 г. натурализовался в Англии. Член Коммунистической партии Великобритании с 1941 года. Линдсей — автор исторических романов из эпохи античности и Возрождения — «Цезарь мертв» (1934), «Адам нового мира» (1937), «Ганибал» (1941), «Подземный гром» (1965) и др., а также о ключевых событиях в истории Великобритании: «1649. Повествование об одном годе» (1938), «Люди сорок восьмого» (1948), «Большой дуб. Рассказ о 1549 годе» (1957). Крупнейшее создание Линдсея — эпический цикл романов, рисующих судьбы представителей рабочего класса и интеллигенции в послевоенной Англии, озаглавленный «Британский путь»: «Весна, которую предали» (1953), «Час выбора» (1955), «Твой дом» (1957), «Восстание сыновей» (1960) и др. Линдсею принадлежат исследования о классиках английской литературы (Ч. Диккенсе, Дж. Мередите и др.), автобиографические книги, литературно-критические статьи, популярные жизнеописания выдающихся художников, исторические труды, переводы из античных, польских, греческих авторов. Он составил и перевел на английский язык антологию русской советской поэзии 1917—1955 гг. (1957). Произведения Линдсея широко издавались в переводе на русский и на языки народов СССР, а сам он неоднократно приезжал в Советский Союз, был гостем съездов советских писателей.

Статья «Светоч, который я искал», написанная к 90-летию со дня рождения В. И. Ленина, была опубликована в журнале «Иностранная литература» (1960, № 4) и перепечатана в книге: Я видел будущее. Кн. 2. — М.: Прогресс, 1977. Текст дается по последнему изданию.

СВЕТОЧ, КОТОРЫЙ Я ИСКАЛ

Когда в 1918 году я узнал о русской революции, то отнесся к ней с сочувствием. Я был подготовлен к этому растущей ненавистью к войне 1914—1918 годов и тем мятежным ощущением протеста, которое черпало свою силу скорее в творчестве Блейка, Шелли и Уильяма Морриса, чем в каком-либо политическом или экономическом анализе происходящих событий. В 1919 году я всем сердцем приветствовал русскую революцию, причем скорейшему моему переходу к прямой ее поддержке способствовали в определенной степени два человека. Один — Уиллоуби, который руководил в Брисбейне Ассоциацией просвещения рабочих... Другим был Джим Куилен из американской организации «Индустриальные рабочие мира». В нем были прекрасно воплощены типические черты пролетарского революционера.

В результате я стал выступать в университете, в студенческом дискуссионном клубе, ратуя за Октябрьскую революцию и прославляя Ленина. Но ничего написанного Лениным я тогда еще не читал и не знал о нем ничего, кроме того, что он является вождем революции, которая свергла все самое ненавистное мне в окружающем мире.

Вплоть до 1936 года я мало чего достиг в этом отношении. Развитие мое прошло множество различных фаз, причем ни одна из них не характеризовалась политической сознательностью, хотя в каждой я так или иначе отвергал буржуазную действительность. Несколько лет провел я в жестокой нужде в Корнуолле, отдавая все свои силы работе над романами. Так как меня больше всего тянуло к истории, я сосредоточил все внимание на историческом романе, остановив свой выбор на эпохе Цезаря, которую хорошо знал. В этой работе я занял позиции, очень близко подведшие меня к историческому и диалектическому материализму. Когда же разразилась гражданская война в Испании, она заставила меня понять необходимость соотнести свои взгляды с современным положением, и я принялся за чтение книг Маркса, Энгельса, Ленина.

Я читал их с жадностью и увлечением, чувствуя, что вот он наконец, тот светоч, который я искал. Книги Ленина научили меня очень многому. Благодаря ему я понял, как применить принципы марксизма к обществу, в котором живу, к империалистическому миру. Многие из философских высказываний Ленина живут в моем сознании и поныне. И все-таки, как ни грандиозно значение ленинских идей, мне думается, что главная сила воздействия Ленина на меня заключается в том, что слово этого истинного марксиста всегда неотделимо от действий, и, как бы глубоко ни проникала его теоретическая мысль, он ни на минуту не отрывался от практической борьбы, которой посвятил свою жизнь.

Огромное значение Ленина для меня лично определяется тем, что в нем блестяще воплощен образ нового человека, человека с коммунистическим сознанием. В силу обстоятельств ему приходилось заниматься главным образом вопросами политической экономии, но он всегда предстает перед нами как многогранный человек, как гармонически развитая личность. Именно его цельность и многосторонность всегда производили на меня сильнейшее впечатление. Столь же скромный, сколь и глу-

бокий, Ленин остается для нас вечно новым, человеком, чье обаяние безгранично. По-моему, это объясняется слиянием в нем воедино двух качеств: беспощадной ясности мировоззрения и чистой любви к людям, веры в заложенные в них возможности. И эти качества, характеризующие Ленина в нравственном отношении, представляются мне особенно замечательными. Я преклоняюсь перед Лениным-коммунистом.

Произведения Ленина и главная идея всей его жизни оказали глубокое воздействие на мое творчество. Это относится к историческим романам, написанным мной после 1936 года, в такой же степени, как и к моим книгам о современности. Ленин помог мне разобраться не только в том, какова структура сил, сталкивающихся в каждой конкретной общественной ситуации, но и в том, как идеологические отношения переплетаются с социальными. Он помог мне также окончательно разобраться в человеческих поступках, в том, что определяет единство человеческой личности. На мой взгляд, борьба за это единство и цельность проходит сквозь всю историю человечества, как бы ни были трудны условия для их осуществления в прошлом и как бы ни казалась подчас несбыточной мечта о мире как о братстве людей и о духовной гармонии в каждом человеке. Влияние Ленина на мое понимание всего этого настолько велико, что я просто не в силах представить себе, как иначе сумел бы познать жизнь в ее прошлом и настоящем и осмыслить коммунистическое будущее.

1960

Шоу, Джордж Бернард (1856—1950) — классик литературы XX века, лауреат Нобелевской премии (1925); английский писатель, ирландец по происхождению. Шоу был социалистом умеренного толка и резким критиком буржуазной цивилизации во всех областях — политики, морали, производственных отношений, образа жизни, социальных институтов, культуры и искусства. Он писал социально-критические романы, выступал как художественный рецензент (1886—1887), музыкальный обозреватель (1888—1894) и театальный критик (1895—1898). Главный вклад Шоу в культуру и литературу XX века — разработанная им теория «драмы идей», «пьесы-дискуссии» и созданные на протяжении 1892—1950 годов пьесы, построенные на парадоксах, обнажающих несурасицу и абсурдность буржуазных социальных отношений, морали и быта. Широкой известностью пользуются драмы Шоу, успешно идущие в театрах мира, — «Дома вдовца» (1892), «Профессия госпожи Уоррен» (1894), «Ученик дьявола» (1896—1897), «Цезарь и Клеопатра» (1898), «Майор Барбара» (1905), «Пигмалион» (1913; по мотивам пьесы написан знаменитый мюзикл «Моя прекрасная леди»), «Дом, где разбиваются сердца» (1913—1919), пенталогия «Назад к Мафусаилу» (1918—1920), историческая трагедия о Жанне д'Арк «Святая Иоанна» (1923), политические сатиры «Тележка с яблоками» (1929), «Плохо, но правда» (1931), «На мели» (1933), «Женева» (1938) и многие другие. В 1978—1981 годах в Советском Союзе осуществлено издание полного собрания пьес Шоу на русском языке.

С самого начала литературной деятельности Шоу прославился как острый полемист и страстный публицист. Он отстаивал и пропагандировал идеи социализма и мира, утверждал веру в прогресс человечества, обличал реакцию и фашизм, защищал от клеветы и нападок Советское государство, другом которого стал с первых лет революции. Шоу посетил СССР в 1931 году, совершая кругосветное путешествие.

«Ответ простакам», представляющий собой выдержки из выступления Шоу по радио на Америку после возвращения из СССР, был помещен в органе английской Независимой рабочей партии — газете «Форвард» 30 апреля 1932 года. Настоящий перевод опубликован в журнале «Новый мир» (1956, № 7) и перепечатан в издании: Я видел будущее. Кн. 1. — М.: Прогресс, 1967. Текст дается по этой публикации.

ОТВЕТ ПРОСТАКАМ

Здорово, Америка! Здорово, мои друзья в Америке! Как у вас дела, старые простаки, целый месяц твердившие друг другу, что я заврался насчет России? Ну-с, если последние сообщения о ваших делах верны, то вряд ли вы сможете теперь так говорить. Теперь уже Россия над нами смеется. Она нас превратила в дураков, пристыдила, выставила на посмеище, оставила в хвосте и чуть

что не сбила с ног. Мы читали ей лекции с высоты нашего цивилизованного превосходства, а сейчас мы принимаем героические меры для того, чтобы скрыть нашу краску смущения от России.

Мы ее бранили за безбожие, а сейчас — солнце сияет над Россией, как над страной, к которой господь благоволит; на нас же тяжело обрушился его гнев, и мы не знаем, куда обратиться за помощью или поощрением.

Мы гордились нашим мастерством в крупных делах и тем, что они имеют под собой солидную основу благодаря нашему знанию человеческой природы, а сейчас мы — банкроты.

Ваш президент, который прославился тем, что кормил голодающие миллионы в опустошенной войне Европе, не может сейчас прокормить в мирное время собственный народ.

Крики отчаяния наших финансистов отдались эхом во всем мире и вызвали поголовное изъятие вкладов из английского банка и разорили его. Дефицит нашего бюджета составляет 350 миллионов долларов; ваш дефицит составляет 500 миллионов долларов. Наши дельцы не могут найти работы трем миллионам рабочих, а ваши выбросили на улицу вдвое больше людей.

Наши государственные деятели по обе стороны океана не могут сделать ничего другого, как разбивать головы безработным или откупаться от них пособиями и обращением к благотворительности. Наше сельское хозяйство разорено, и наша промышленность разваливается под тяжестью своей собственной производительности, потому что мы не додумались, как распределить наши богатства и как производить их.

Перед лицом всей экономической некомпетентности, политической беспомощности и финансовой несостоятельности Россия гордится своим бюджетным активом в 750 миллионов долларов. Ее население занято до последнего мужчины и женщины, ее научно поставленное сельское хозяйство удваивает и утраивает свои урожаи. Она блистает своими работающими полным ходом, растущими фабриками, блистает своими способными руководителями, своей атмосферой надежд и обеспеченности даже для бедняков — атмосферой, которой не знала еще ни одна цивилизованная страна.

Генри Джордж, затем Маркс

Когда я был молодым человеком, на меня сильно повлиял один американец, по имени Генри Джордж, который открыл мне глаза, и я почувствовал необходимость следовать его указаниям. И вот я познакомился с учением Карла Маркса, который еще шире открыл мне глаза, и мне стало совершенно ясным, что наша капиталистическая система должна закончиться банкротством цивилизации и что прожить с этой системой мы сможем уже недолго, и то ценою страшных бедствий и деградирующей нищеты девяти десятых человечества.

Четырнадцать лет спустя русский, по фамилии Ульянов, больше известный под именем Ленина, последовал моему примеру и прочитал Маркса. В 1914 году наши империалисты втянули нас в войну. Вы пытались воздержаться от участия в этой войне, но вас принудили к ней. Благодаря вам эта война, вместо того чтобы сделать то, чего хотели империалисты, уничтожила три империи, превратила Европу из королевского континента в республиканский, и единственное европейское государство, которое было больше Соединенных Штатов, стало федерацией коммунистических республик.

Это не совсем то, чего вы ожидали,— не так ли? Вашу молодежь отправляли на бойню не для того, чтобы она приветствовала Карла Маркса и повторяла его лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Однако именно это и произошло. Это изумительное новое в мире государство, Союз Советских Социалистических Республик, или вкратце СССР, и есть то, что вы получили за ваш заем свободы и кровь, пролитую вашей молодежью. Это не то, что вы намеревались получить, но, по-видимому, это то, что господь намеревался вам послать. Так или иначе, вы это получили, и сейчас вы должны использовать это наилучшим образом.

Предостережение едущим в Россию

Теперь позвольте мне дать несколько советов для путешественников, на случай, если вы присоединитесь к американцам, толпами устремляющимся в Россию, и захотите сами проверить, так ли все это обстоит на деле. Если вы квалифицированный рабочий, особенно ма-

шиностроительной промышленности, и если у вас хороший характер (они, в России, очень разборчивы насчет характера), то у вас не будет особенных затруднений. Они будут лишь рады принять вас. Пролетарии всех стран там желанные гости, если они действительно могут помочь русскому строительству. Но даже если вы не умеете работать и представляете собой только бесполезную леди или джентльмена с большим количеством денег, то они благосклонно позволяют вам истратить, сколько вы захотите, денег и окружают вас комфортом.

Они не будут относиться к вам с уважением, ибо эти русские не проявляют благоговения даже к богатой американской леди. Я должен сознаться вам, что их чувства в отношении вас будут смесью жалости к вам, что вы не создали коммунизма в вашей собственной несчастной стране.

Но они будут вполне дружелюбны и окажут вам помощь совершенно так же, как заблудившейся голодной обезьяне, и если вы будете любезны с ними, то они заключат вас в свои объятия и по малейшему поводу будут рассказывать вам историю своей жизни. Они настолько свободны от всех ваших забот и беспокойств по поводу всяких дел, ренты и налогов, что могут себе позволить быть ласковыми с вами, и они настолько горды своими коммунистическими учреждениями, что чрезвычайно охотно будут их вам показывать.

Подобно замазке

Но вы должны быть осторожны. Вы не должны полагать, что человеческая природа в России такова же, как в Америке. Мой друг генерал Дауэс, ваш посланник в Англии, недавно говорил со мной относительно человеческой природы — о том, что ее нельзя изменять так, как изменяют учреждения. И вот перед тем как вам отправиться в Россию, неплохо было бы вам изучить человеческую природу.

Самое простое средство для этого — послать к ближайшему стекольщику за куском замазки. Замазка совершенно подобна человеческой природе. Вы не можете ее изменить, кем бы вы ни были. Вы не можете ее есть, вы не можете в ней взращивать яблоки, вы не можете ею штопать одежду; но вы можете ее тискать, и мять, и придавать ей любую форму, и когда форма придана, то она так крепко затвердеет, что вам будет казаться,

что ей никогда нельзя будет придать никакой другой формы.

Ну так вот, русская замазка подобна американской. Пожалуй, только американская крепче держит и затвердевает труднее. Советское правительство сделало чрезвычайно тщательно русскую замазку, придав ей форму, совершенно отличную от американской, и она крепко затвердела, и получилось нечто совершенно другое. У этого создания рот почти такой же, подбородок, уши и глаза мало чем отличаются, но внутренности работают не по-американски. В особенности поразительно отличается сознание, так что достижения, которые являются гордостью Америки, русскому кажутся гнусным хвостовством.

Так, например, первая вещь, которая в России бросится в глаза стопроцентному американцу,— это то, что с ее громадными природными богатствами она должна быть прекрасной страной для наживы. Даже если бы этих естественных богатств не было, можно было бы много заработать, спекулируя на разнице между стоимостью полудолларового рубля в Москве и шестидесятицентового рубля в Берлине. Зарплата низка, а прибыли высоки, для чего же отдавать зря всю прибыль правительству, когда способный человек может организовать дело для самого себя и класть прибыль в собственный карман? Какой смысл тратить зря деньги на благо общества? Как сказал однажды один покойный американский финансист при допросе: «К черту общество!»

Люди делают деньги, думая о самих себе, а не об обществе.

Россия не рай

Вы, однако, не должны ожидать там рая. Россия — слишком большое пространство для любого правительства, чтобы можно было за четырнадцать лет освободиться от всей нищеты, невежества и грязи, оставленных царизмом. Россия занимает восемь миллионов квадратных миль, вдвое больше, чем Соединенные Штаты. Боюсь, что там еще много нищеты, невежества и грязи, которые нам так хорошо известны дома. Но там повсюду царит надежда, потому что все бедствия отступают перед ростом коммунизма, в то время как у нас эти бедствия увеличиваются последними отчаянными усилиями нашего обанкротившегося капитализма.

Капитализм пытается отвести свою неизбежную судьбу путем снижения зарплаты, повышения тарифов и обращением ко всем скрытым элементам одичания и жадности, которые его должны поддержать в хищнической войне, маскирующейся патриотизмом.

Но вы поедете в Россию не для того, чтобы высматривать там бедствия, которые вы можете увидеть у себя. Некоторые из вас поедут потому, что в той великой буре, которая разразилась над нами, тонет ваш собственный корабль. Из больших кораблей остался только русский, который не тонет и который не посылает сигналов бедствия.

Но большинство из вас, надеюсь, поедет туда с твердой уверенностью в том, что беда наша заключается не в нищете, объясняющейся естественными причинами, а в простом тупоумии, скверном управлении и ленивом пренебрежении общественными интересами в пользу эгоизма частных интересов и вульгарного честолюбия. Вы, наверно, слышали, что русские положили этому конец, и вам захочется узнать, как они это сделали, ибо, по-вашему, то, что могут сделать русские, можете сделать и вы.

Вы можете думать, что вы можете это сделать, но это не так. В настоящий момент вы похожи на старого узника Бастилии, который пилит решетку своего окошка часовой пружиной с таким напряжением, что не замечает, что дверь уже давно широко открыта. Ну-с, вы, пожалуй, все будете продолжать пилить в Америке, пока не помрете; но я надеюсь, что ваши сыновья будут умнее вас и не позволят ни одному русскому обогнать их в великом состязании цивилизаций.

На этом прощайте до следующего раза, и желаю вам всяческого счастья.



Джеймс ОЛДРИДЖ

Олдридж, Джеймс (р. в 1918 г.) — писатель и публицист. Родился в Австралии в семье журналиста. В годы второй мировой войны, будучи военным корреспондентом, посетил ряд стран, в том числе Советский Союз. Верный друг Страны Советов, он неоднократно бывал в СССР, активно выступает в советской печати. В 1973 году ему была присуждена Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами».

Антифашистское Сопротивление греческого народа — тема ранних романов Олдриджа «Дело чести» (1942) и «Морской орел» (1944). В романах «Дипломат» (1949; Золотая медаль Всемирного Совета Мира в 1953 г.) и его продолжении «Люди и оружие» (1974) вскрыты корни антисоветизма, показано лицемерие империалистической внешней политики. «Герои пустынных горизонтов» (1954), «Не хочу, чтобы он умирал» (1957) и «Последний изгнанник» (1961) образуют трилогию о национально-освободительной борьбе арабских народов. Идеи мирного сосуществования утверждаются в романах «Пленник чужой страны» (1962) и «Опасная игра» (1966). Рассказы Олдриджа, все его романы и большинство репортажей переведены на русский и на языки народов СССР.

Подборка из корреспонденций военных лет «Шла великая война» была составлена автором для журнала «Иностранная литература» и опубликована на его страницах (1967, № 5) в переводе М. Лорие. Перевод перепечатан в издании: Я видел будущее. Кн. 2. — М.: Прогресс, 1977. Текст дается по журнальной публикации.

Статья «Родина нашего будущего» опубликована на русском языке в журнале «Новое время» (1966, № 18), куда была передана автором в рукописи. Текст воспроизводит журнальную публикацию.

В настоящем сборнике публикуется в третьем разделе (см. с. 323).

ШЛА ВЕЛИКАЯ ВОЙНА...

Эти несколько корреспонденций я выбрал наугад среди многих посланных мною из Советского Союза во время войны. Смысл нового их опубликования я вижу в том, чтобы они, в своей первоначальной непосредственности, помогли понять, чем была эта война для иностранца, англичанина, очень молодого человека, который, увидев кое-что вблизи, стал другом и союзником советского народа.

Никогда за все пятьдесят лет своего существования Советский Союз не занимал такого места в умах и сердцах всех честных людей мира, как во время войны. С Октябрьской революцией начались великие преобразования в жизни человечества, но большинство людей осознали это именно в связи с войной, так что по своему зна-

чению участие Советского Союза в войне далеко не исчерпывается победой над фашизмом. Советский Союз, как никакая другая страна, способствовал изменению послевоенного мира.

Все эти корреспонденции были написаны телеграфным языком, и сейчас я их переписал в том виде, в каком их пропустила военная цензура. Фразы в них короткие, рубленые, потому что наши газеты выходили в сокращенном объеме и редакторы требовали материала не на долгом дыхании, а, скорее, порядка восклицаний. Но важнее, пожалуй, то, что сама ситуация требовала лаконизма. Чувства во время войны были слишком огромны, чтобы верить их словам, поэтому о героическом и поразительном говорили деловито, стараясь лучше недоговорить, чем сказать слишком много, стараясь не расписывать войну, а показывать ее через отдельные события, отдельные подвиги, отдельных людей.

Даже толстая желтая русская бумага, на которой я тогда писал, будит множество воспоминаний, а вместе с тем сейчас, когда я это читаю, мне кажется, что то была другая жизнь, и другой человек, и другой мир, навеки исчезнувший.

Москва, воскресенье, 26 марта. Очень трудно понять, как выглядит здесь война. Единственный способ — долго собирать все доступные сведения, а потом пробовать в них разобраться. За ходом войны легко следить по карте.

Осознать его невозможно. Все распадается на куски. Например, рассказ о том, как русские взяли такой-то плацдарм, живет сам по себе. Общее представление об этой войне нужно составлять из самых простых вещей.

Вот, скажем, грязь. Я знаю, что такое грязь на Украине, и, когда солдаты Красной Армии рассказывают, как они в ней увязали или как в ней застревали и тонули немцы, это мне понятно. Но таких простых вещей никогда не набирается достаточно для того, чтобы стало понятно сражение в целом.

Вот, скажем, взятие Проскурова. Мы уже несколько дней тому назад рассчитали, что Проскуров будет взят сегодня или завтра. Мы рассчитали это, прикинув расстояние и те препятствия, которые предстояло преодолеть Красной Армии. И Проскуров пал. Он пал вчера. Сегодня мы знаем, что он был зажат в кольцо. Но во-

енная терминология лишает любую победу или бой всякой жизненности.

Понятными и живыми остаются менее значительные вещи. Когда первые части Красной Армии проходили через Проскуров, шел дождь. Первыми прошли через город саперы. Они искали мины. Вот это — понятные вещи.

История о том, как Красная Армия подошла к Проскурову, проста, но живая она только местами. Как они туда попали? Пришли пешком. И всю дорогу шли с боями? Да, всю дорогу с боями. И дальше просто. Неделю они держали город в полукольце. Немцы закрепились на шоссе в десяти милях к северу. Русская пехота их оттеснила.

Немцы стали поспешно отступать. В линии обороны образовалась брешь, и красная пехота быстро погнала их по дороге к Проскурову.

А как выглядела эта дорога? Она была плоская и темная. Она была одна. Телефонные столбы были расщеплены и сломаны. Грязь стояла по колено. Как слепые, бродили брошенные лошади. Немцы бросали на произвол судьбы и танки, и лошадей. На этой дороге они бросили не то восемьдесят, не то сто танков и взорвали все мосты. Это куда было проще, чем пытаться увезти танки с собой. Русская пехота гнала немцев по этой дороге до самого Проскурова, где немцы подготовили оборонительную позицию.

Какова была эта позиция? Она была хороша для обороны. Между Проскуровом и Красной Армией проходила река Буг. Долина Буга вокруг города была залита водой. Река разлилась поверх льда, затопила окрестности города. Пройти по льду солдаты не могли, он был слишком тонок. Оборонявшая город бригада СС «Лангемарк» зарыла оставшиеся танки в грязь, направив их орудия на реку и залитые луга. Немцы построили оборонительные сооружения, укрепили свои позиции и стали ждать атаки Красной Армии.

Красная Армия атаковала со всех направлений. Эту фразу, вероятно, повторяли десять тысяч раз, но это правда. Какая была атака? Трудная. Красные саперы навели трудные мосты через разлившуюся реку. Это было трудно в инженерном смысле. Это было трудно физически, потому что вода была ледяная. Немцы не престанно обстреливали из орудий все пункты, где красные саперы пытались навести переправы.

Удалось им форсировать реку? Да. Красные танки переправились через реку. Они перешли ее у Черного острова. Черный остров — населенное место, но тогда там никого не было. Танки русских, переправившиеся у Черного острова, обошли с фланга немецкие танки. Они подходили один за другим и взрывали их. Потом переправилось еще множество танков, и было захвачено место под названием Западinцы. Это был укрепленный пункт на шоссе, и это было начало конца.

Немцы предприняли контратаку и ввели в бой около сотни танков. Кроме того, они сбросили парашютистов. Парашютисты либо завязали по шею в грязи Черного острова, либо замерзали в талой воде, либо сражались и были убиты.

Казалось бы, на этом битва должна была кончиться, но исход ее решался не в самом Проскурове. Решался он на линии железной дороги, вне города. Красные танки атаковали железнодорожную линию, и немцам пришлось вывести крупные бронечасты из Проскурова, чтобы прикрыть свои коммуникации. Это ослабило их оборону, и красные танки ворвались в немецкое расположение, а пехота стала с боями занимать улицу за улицей. Тогда немцы взорвали электростанцию, водопровод, заводы и оставили город.

Вот тут-то красные саперы прошли через Проскуров.

В городе оказались люди. Сначала он был пуст. Потом люди вдруг появились — неизвестно откуда.

Рассказ о Проскурове снова становится понятным. Люди, вылезшие из своих убежищ, хотели прочесть газеты, узнать, что творится на свете.

По всем улицам Проскурова лежали в грязи немецкие трупы. Мертвец, лежавший в грязи, обычно смешивался с нею. Немцы, безусловно, стали частью проскуровской грязи. Но город был разрушен, его узкие переулки, ведущие к бесчисленным садам, были завалены мусором, центр города уничтожен. На одном из немногих уцелевших зданий висела вывеска «Биржа труда». Красные саперы первым делом сорвали ее, и это — один из простых, понятных факторов, связанных с Проскуровом.

А еще есть такие факты. В Проскурове сходятся десять шоссе и четыре железные дороги. Там был водопровод, элеватор, заводы — все взорвано. Такие факты объясняют, *почему* идут бои за города, но подробности ускользают.

У одесских партизан. Эти люди выходили из подzemелий и сражались с немцами по ночам. Днем они жили в черном лабиринте сырых катакомб. Под Одессой сто семьдесят пять километров катакомб, и в них скрывались от шести до десяти тысяч партизан. Они совершили свыше пятидесяти налетов на немецкие объекты в городе и уничтожили свыше пятисот немцев в рукопашных боях и уличных перестрелках.

Я нахожусь в одесском пригороде Молдаванке, где есть два входа в катакомбы. Это ямы в земле, под разрушенными домами. В этом районе находился штаб всех партизанских сил. Один из командиров стоит рядом со мной — майор Анатолий Лощенко, инженер-химик, скорока семи лет от роду. Партизанская его кличка — Волга. Вместе с ним — помощник начальника штаба Гавшин. Сидя в чистой комнате над одной из катакомб, я веду запись с их слов.

Майор — улыбающийся, круглоглазый. Дмитрий Гавшин — серьезный, с тонкими губами. Майор говорит:

— В январе этого года, когда фронт приблизился к Одессе, мы получили сведения, что немцы собираются уничтожить все население Одессы, в первую очередь мужчин. Мы решили организовать партизанские отряды, готовые к взаимодействию с Красной Армией. Первые связи завязывали через родственников. Потом стали организовывать людей там, где работали. Мы копили деньги, покупали запасы и складывали их в катакомбах. Добыли фрезерный станок и небольшую машину для изготовления колбасы. Копали артезианские колодцы и, где только можно, доставали оружие. Был даже печатный станок. Большую часть всего этого добра пришлось собирать женщинам — мы ведь не могли появляться на улицах.

В этом районе нас было около двух тысяч. А всего в катакомбах — тысяч десять. Под землей проводили военные учения. Мы собирались выступить, когда Красная Армия подойдет к Одессе. Начали с того, что уничтожали немцев, которые поджигали дома. Еще мы выпускали листовки на румынском языке, предупреждали румынских фашистов, что, если они будут убивать рабочих, мы их живыми не оставим.

На одном участке за нами охотились шестьдесят семь полицейских, вызванных из Никополя. Мы их захватили, двух оставили в казармах. Прибыл новый патруль и решил, что эти два немца — партизаны. А те

двое, что оставались в казармах, решили, что патруль партизанский, и они стали стрелять друг в друга, а мы со своими шестьюдесятью пятью пленными ушли в катакомбы.

Тут майора перебил Дмитрий Гавшин.

— Поймите,— сказал он,— нами руководила любовь к Родине, патриотизм. Мы все ненавидели немцев — мужчины, женщины, дети.

Майор продолжал:

— Сначала мы ставили перед собой простые цели. Старались помешать немцам взрывать здания. В последние две недели, когда они уже знали, что уйдут, они минировали все подряд. Нам удалось спасти Одесский театр — мы перерезали провода от мин, а водопровод и канализацию мы разминировали по мере того, как немцы их минировали. Половину здания телефонной станции мы спасли тем, что устроили там дымовую завесу. Когда немцы пришли его поджигать, они подумали, что оно уже горит, и ушли.

Восьмого апреля немцы отдали приказ, чтобы после трех часов дня никто не выходил из дому. Красная Армия была совсем близко.

Чем ближе подходила Красная Армия, тем активнее мы становились. По ночам мы передвигались по всему городу. Почти в любой его точке мы могли выйти на поверхность. В боях с румынами и немцами мы убили свыше пятисот человек. Сами мы потеряли человек тридцать, раненых выхаживали в катакомбах. У нас был свой госпиталь, много хороших одесских врачей, в том числе профессор Польш. Мы даже мертвых хоронили в катакомбах.

Девятого апреля, накануне вступления в город Красной Армии, один из наших партизан, Михаил Кулиев, убил тринадцать немцев, а двадцать четыре забрал в плен. Я этому не поверил, пока он их не привел. В тот же день наши разведчики связались с частями Красной Армии в пригородах, а на рассвете десятого Красная Армия вошла в Одессу, мы вышли из катакомб и передали ей пленных.

Прослушав рассказ этих подземных партизан, я вышел на улицу, и меня подвели к большой яме посреди не разрушенного здания.

— Они присылали солдат завалить этот вход,— сказал майор,— но мы всякий раз их захватывали, и тогда они подожгли дом.

Дописывал я этот рассказ в одесской гостинице «Бристоль». Сейчас ее большие с выбитыми стеклами номера, по которым гуляет сквозняк, показались мне необычайно милыми. Когда я уезжал с Молдаванки, майор Лощенко стоял у широкого входа в другое подземелье, щурясь от яркого света. Не думаю, чтобы ему хотелось снова спуститься в катакомбы. Но и уходить из этих мест он, казалось, не спешил. Он все еще стоял там, когда машина, подскочив на рытвине, повернула за угол, и он скрылся из глаз.

Москва, суббота. Сегодня я был в госпитале и видел длинного лысого человека, неподвижно лежавшего на спине.

Это полковник Красной Армии Грыленко. Его только что привезли сюда после боев, в которых было окружено десять немецких дивизий.

Он рассказывал мне о боях.

— Куда вас ранило?— спросил я.

— Осколком, в спину,— ответил он.

— Где вы находились во время боя?

— Я был на передовой, где немцы пробовали про-
рваться на выручку окруженным дивизиям.

А дальше разговор шел так:

— Вы их задержали?

— Да, задержали.

— Как?

— Да просто отбросили.

— Так-таки все было просто?

— А в бою всегда просто. Либо победишь, либо нет.

— Крупное это было сражение?

— Да, не маленькое.

— Как оно выглядело?

— Было много артиллерии.

— Ближнего боя?

— Да, ближнего боя.

Он говорил сверхпростыми словами, к которым свелась война,—сверхпростыми, даже если подбавить к ним краски.

То была не скромность. На войне не скромничают. Не было это и умышленным замалчиванием чего-то. Нет, это было всего-навсего упрощение. Я не сдавался.

— Какие части сражались против вас?

— Штрафные.

— В первый раз слышу о таких.

— Они состоят из провинившихся и пониженных в звании офицеров. Их посылают на фронт солдатами, чтобы они искупили свои провинности.

— И хорошо они сражаются?

— Ничего. Это сплошные самоубийцы. Они шли вперед, пока все не были убиты.

Я спросил его про осколок, которым его ранило.

Он сказал, что просто стоял там, а осколок в него попал.

Полковник Грыленко видел то, что было перед его глазами. А перед глазами у него были штрафные части, которые все перебиты.

Это да еще то, что он там стоял и в спину ему попал осколок, и составляло для него подробности боя.

Только такие вещи мы и можем сейчас узнавать о войне — особенно о войне в России. В целом картина слишком велика.

Даже последний штрих в разговоре с Грыленко был потрясающ по своей простоте. Касался он застрявшего у него в спине осколка.

— Завтра будут его вынимать, — сказал он. — Очень сложная операция.

Я спросил, кто его будет оперировать.

Он с улыбкой глянул в склонившееся над ним лицо.

Хирургом, которому предстояло сделать полковнику Грыленко сложную операцию, оказалась миловидная двадцативосьмилетняя женщина.

Севастополь. 20 мая 1944. Это целый город, в котором никого нет. Я объездил его в джипе, тщетно высматривая людей. На разоренных улицах, в гулких пустых зданиях — ни признака жизни. Никогда я не видел города до такой степени мертвого.

Его белые здания пожелтели, а набережная черна. Его трамвайные рельсы скрыты под слоем грязи. Все его дома повреждены. Его деревья искалечены, цветы на поникших ветках еле видны. Ничего не осталось.

Только на окраинах попадаются люди. С порога редких залатанных домиков старухи и подростки вяло провожали глазами нашу машину. Из ста двенадцатитысячного населения Севастополя осталось пять тысяч, которые и ютятся на этих полуразрушенных окраинах. Но и там людей мало. Я не могу себе представить этот го-

род живым в прошлом, и трудно себе представить его живым в будущем. Эти развалины кажутся древними, никак не связанными с нашим временем, а между тем мэр (председатель горсовета) Севастополя, стоя в самом центре города, сказал мне: «За три-четыре года отстроим».

Бои за Севастополь велись не столько в самом городе, сколько на окружающих его высотах. Сегодня я там побывал с генерал-майором Александром Сергеевым, начальником политотдела Второй гвардейской армии. Мы поехали на первую высоту, которую захватили русские... Этот крутой склон русские взяли штурмом, и я бродил по нему следом за генералом Сергеевым. Он показывал мне линии окопов, в которых шли рукопашные бои, и обратил мое внимание на небывалое сосредоточение артиллерийского огня, о котором свидетельствовало количество воронок.

С захватом этой высоты и начались бои за Севастополь.

Над городом господствуют еще две высоты — Сапун-гора и Мекензиевы холмы. Они были взяты русскими во вторую очередь.

Я смотрел на них снизу, из разделяющей их долины Бельбека, и видел растянувшийся на четыре-пять миль по Сапун-горе бесконечный узор блиндажей и ходов сообщения. Думая о том, как нелегко, наверно, было ее взять, я разглядывал то, что принял сначала за коричневые заросли кустарника по ее склонам, но, поглядев в бинокль, убедился, что это совсем не кустарник, а воронки.

В «джипе» я проделал путь наступления Красной Армии. Мы поднимались круто вверх, по белой земле, и я все ждал, когда откроется широкое поле сражения. Но миля за милей тянулся склон, сверху донизу изрытый воронками. И больше ничего.

Я ехал вдоль высот Мекензи по разминированной дороге, а вдоль нее еще бродили по полям и взрывались на минах немецкие лошади. Дорога эта, соединяясь с другими, вела в Севастополь.

Казалось бы, самый город представлял хорошую позицию для обороны.

Мне думалось, что немцы сражались неважно, раз не могли удержать эти высоты. И еще думалось, что русские сражались замечательно. К тому же они превзошли немцев и маневренностью, и численностью, и бое-

способностью. Видимо, для победы над немцами нужно именно то, что сделали русские здесь, в Севастополе.

Херсонесский полуостров. 19 мая 1944. За холмом медленно движется по полю боя цепочка немцев. Они хоронят своих мертвых. Оставляя Севастополь, немцы отходили пять миль по этому полуострову в надежде эвакуироваться. Судя по тому, как выглядит поле, не многим это удалось. На пять миль — ничего, кроме разбитого снаряжения: орудия, машины, боеприпасы, танки, грузовики — все атрибуты войны. А внизу, на пляжах, ничего, кроме мертвых немцев под дождем, которым удары волн придают причудливые позы.

Это настоящее поле боя — большое, легко обозримое. Оно поглотило аэродром, усеянный сотнями разбитых германских самолетов. Оно раскинулось по низким холмам и с обеих сторон ограничено морем. Каждый метр его изрыт воронками. Особенно приятно на него смотреть, потому что усеяно оно немецким военным оборудованием и лежат на нем трупы фашистов.

Эта взрыхленная земля лучше слов объясняет причину русской победы. И огромные воронки от снарядов крупного калибра, и небольшие опалины, оставленные немецкими минами, говорят о невероятном сосредоточении артиллерийского огня, которым Красная Армия поливала это поле. Красная артиллерия двое суток без перерыва обстреливала узкий полуостров, на который втянулись немцы и где они пытались закрепиться за двойной линией обороны. Но завершила дело красная пехота. Об этом говорят следы малой окопной войны: брошенное добро прошито пулеметными пулями и мертвые не разорваны снарядами.

Годное оборудование почти все вывезено, ведь уже несколько дней как бой кончился. Но по полю ходят толпы красноармейцев. В их передвижениях трудно уловить какой-нибудь порядок, но, очевидно, он есть.

Как всегда, на поле боя особенно бросается в глаза всякий хлам. Документы, проволока, продукты, вещевые мешки, скатки, одежда, бинты, вата, расчетные книжки — все, что связано с отдельными людьми. Я подбирал по дороге медали, Железные кресты, немецкие резиновые штампы (в огромном количестве), значки, пояса. Я видел письма — одно от жены солдата, писавшей, что она обязуется не требовать от своего мужа никаких

денег, потому что у нее обнаружили примесь еврейской крови. Письмо было засвидетельствовано у нотариуса. В других письмах говорилось, что начались бомбежки и теперь они понимают, что приходится переживать их мужьям. Это должно было бы звучать трагично, но вызывало лишь горькую иронию, даже смех.

Я видел, как на этом поле трудились два немца. Это были пленные, вызвавшие отремонтировать свое зенитное орудие, чтобы русские могли пустить его в дело. Они расхаживали без охраны, подыскивая недостающие части для своей подбитой зенитки. Они сказали, что под артиллерийским огнем им пришлось туго. Сказали, что стреляли, пока могли, а потом побежали в укрытие — в подвал под маяком. Офицеры погнали их обратно к орудиям, они не пошли. Генерал Боме, впоследствии взятый в плен, тоже находился в этом подвале, и он им разрешил остаться, сказал, что сражение все равно проиграно.

На аэродроме — последнем, который немцы удерживали на этой земле, — все еще стояли в своих укрытиях бомбардировщики и истребители, правда изрешеченные снарядами и пулями. Немцы держали здесь две перво-классные эскадрильи бомбардировщиков и истребителей — «Удет» и 52-ю. У них были истребители «фокке-вульф-190» последнего образца и «мессершмитты-109». Из этих двух эскадрилий ни одной машине не удалось уйти. Я насчитал 50 разбитых истребителей, потом сбился со счета. Насчитал 58 бомбардировщиков и истребителей-бомбардировщиков и тоже сбился со счета. Все они были выведены из строя.

Казалось бы, у немцев здесь было немало шансов продержаться до момента, когда можно будет уйти. У них было вдоволь снаряжения, вдоволь боеприпасов, естественная позиция для обороны, им не грозил обход с флангов.

Подвело их море. Почти каждое судно, которое сюда посылали, перехватывалось. Но даже если бы до него добралось больше судов, не многие немцы могли бы спастись. Их все время прижимала к земле русская артиллерия, за которой вплотную наступала пехота. Русские проделали здесь то, что мы пытались сделать у Кассино несколько месяцев тому назад, но им это удалось, потому что их пехота была так близко, что не давала немцам опомниться после артобстрела.

Едва ли это поле можно убрать как следует. Думаю,

что, когда пленные немцы похоронят всех мертвых, а красноармейцы выберут из обломков все годное, остальное так и бросят здесь — пусть смешивается с землей. Картина неприглядная, но смотреть на нее приятно.

Сейчас уже почти невозможно вообразить, сколько боли, тревог, радости, оптимизма воплощалось в отрывочных словах этих корреспонденций для меня, а возможно, и для тех, кто их читал. Иногда я сам удивляюсь, почему — помимо самоочевидных политических причин — я так привязан к Советскому Союзу. А вот сейчас перечитал эти корреспонденции — впервые с тех пор, как писал их, — и понимаю, что я жил вашей жизнью, умирал вашей смертью и отчасти сам испытал душевное напряжение и муку, бывшие вашим уделом в те трудные годы. Но испытал я и нарастающую радость, и непреклонную решимость, и бескрайние надежды, которыми жил каждый советский человек, когда до конца войны оставались считанные месяцы, недели, дни, часы.

Оглядываясь на путь, пройденный Советским Союзом, почти каждый советский гражданин вспомнит какой-нибудь один период, по той или иной причине особенно для него значительный. Я — не советский гражданин, но и мне знакомо это чувство, и вполне, по-моему, логично, что именно война сделала меня тоже «советским» и раскрыла мне все значение революции. Всякий раз, как я приезжаю в Советский Союз, меня встречают отзвуки этих давних воспоминаний. Несколько лет назад я снова побывал в Севастополе и, глядя на памятник, воздвигнутый на холме в преддверии города, вспомнил, как стоял почти на этом самом месте и смотрел вниз, в долину, где еще лежали мертвые, на проволочные заграждения, еще цепляющиеся за склоны. Но, увидев сам Севастополь, такой живой, такой новый и бодрый, я забыл пустой город, который видел так давно.

Вероятно, в этом все и дело: города отстроены заново, мертвые похоронены, молодые живы, и рождаются дети, и Советский Союз выжил и будет жить, и в этом для меня главный смысл минувших десятилетий.

Александр ВЕРТ

Верт, Александр (1901—1969) — публицист, журналист, историк. Родился в Санкт-Петербурге, с детства говорил по-русски. Литературную деятельность начал в 1923 году в газете «Глазго геральд». С июля 1941-го по 1946 год был московским корреспондентом газеты «Санди таймс» и Би-би-си; в 1946—1948 годах работал корреспондентом газеты «Манчестер гардиан». В годы войны корреспондент Верта передавались Би-би-си по радио каждое воскресенье, образуя цикл «Русские комментарии». За вклад в развитие англо-советского военного сотрудничества Верт был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Впечатления Верта о Советском Союзе составили основу книг документальной прозы «Москва, 1941» (1942), «Ленинград» (1944), «Год Сталинграда» (1946). Среди других сочинений Верта следует назвать книги «Судьба Франции» (1937), «Последние дни Парижа» (1940), «Франция, 1940—1955» (1956), «Голлистская революция» (1960), политическую биографию «Шарль де Голль» (1965).

«Россия в войне 1941—1945» — крупнейшая работа Верта. Она вышла в 1964 году в США, затем в Англии и сразу же была переведена на другие языки, включая русский. Как писал Е. А. Болтин в предисловии к советскому изданию книги Верта, она «целиком посвящена войне Советского Союза и рассказывает о ней словами вдумчивого иностранного наблюдателя, дружественно расположенного к нашей стране, к ее народу».

Главы и фрагменты из книги приводятся по изданию: *Верт, Александр. Россия в войне 1941—1945/Авторизованный перевод с английского под ред. доктора исторических наук Е. А. Болтина.* — М.: Прогресс, 1967.

РОССИЯ В ВОЙНЕ 1941—1945

(Главы и фрагменты из книги)

Из предисловия к русскому изданию

Всю Великую Отечественную войну советского народа я провел в Советской стране, поэтому, когда мне исполнилось шестьдесят лет, я острее, чем когда-либо, почувствовал, что должен написать эту книгу — прежде всего как долг и выражение признательности советскому народу. Именно советский народ вынес на себе основную тяжесть второй мировой войны; именно он потерял в ней 20 миллионов людей. Надо напомнить об этом Западу — ведь у многих там память коротка. К их числу относится, например, президент США Джонсон: в своей речи по случаю 20-й годовщины победы союзников над

Германией он даже не упомянул о жертвах, которые принес для общей победы Советский Союз. А если говорить только о человеческих жертвах, то Америка потеряла во второй мировой войне в сорок раз меньше людей, чем Советский Союз.

У его предшественника, Кеннеди, память была лучше. 10 июня 1963 года он сказал:

«Во всей истории войн еще не было страны, которая выстрадала бы больше, чем Россия во время второй мировой войны.

Не меньше двадцати миллионов людей было убито. Многие миллионы домов и крестьянских дворов были сожжены или разграблены. Третья часть (европейской) территории страны, включая почти две трети ее основных промышленных районов, была превращена в пустыню».

Нечего и говорить, что столь тяжкие потери оставили глубокий след в жизни Советского Союза, и именно они, нравится это западным политикам или нет, определяли курс внешней политики Советского правительства после войны. Ведь в СССР нет, пожалуй, ни одной семьи, которой фашистское нашествие не коснулось бы самым непосредственным и чаще всего самым трагическим образом. Память о 1941—1945 годах и теперь свежа в каждом советском человеке старшего возраста, а молодому поколению постоянно рассказывают и напоминают в книгах, кинофильмах, радио- и телевизионных передачах о том, что выстрадала страна и какую борьбу пришлось ей вынести для того, чтобы сначала выстоять, а потом завоевать победу...

Больше двадцати лет прошло со дня окончания войны, и я теперь, пожалуй, единственный здравствующий поныне представитель Запада, который пробыл в СССР все военные годы и который почти каждый день записывал в свой дневник обо всем, что видел и слышал. Среди иностранных корреспондентов я, можно сказать, находился в привилегированном положении: я родился в Петербурге и говорю по-русски, как на родном языке. Поэтому я мог свободно и неофициально беседовать с тысячами людей, военных и гражданских. Я находился в особом положении еще и потому, что был не только корреспондентом крупной английской газеты «Санди таймс», но, что самое главное, корреспондентом Би-би-

си, которая каждое воскресенье передавала мои «Русские комментарии», собиравшие у приемников рекордное число — 12 или 13 миллионов слушателей в Англии, не считая еще многих миллионов в оккупированной Европе и в других странах; я делал все, что было в моих силах, чтобы рассказывать Западу правду о военных усилиях советского народа¹. Я был рад оказывать эту услугу советскому народу, и советские власти ценили мою работу, а потому создавали исключительно хорошие условия, чтобы я мог посещать фронтовые районы, освобожденные территории и встречаться как можно с большим числом людей. Бывало, что организовывались поездки небольшими группами, по пять-шесть корреспондентов, в которых, естественно, принимал участие и я, но я часто ездил и один. К числу таких поездок, самых достопамятных для меня, было мое пребывание в Ленинграде во время блокады, поездка в Воронеж сразу после его освобождения, неделя, которую я провел на Украине в марте 1944 года с войсками 2-го Украинского фронта, которыми командовал Маршал Советского Союза И. С. Конев. Я был на Смоленском фронте в сентябре 1941 года, в районе Сталинграда в январе и в самом Сталинграде в феврале 1943 года, потом в Харькове (дважды в 1943 году), Орле (в августе 1943 года), в Киеве, Одессе и Севастополе после их освобождения в 1944 году, в Румынии и Польше тоже в 1944 году и, наконец, снова в Польше и в Германии в 1945 году. Я не говорю уже о поездках в тыловые районы — в Тулу, Горький и другие города.

Во время этих поездок я имел возможность встречаться со многими знаменитыми генералами, в том числе с генералом В. Д. Соколовским в Вязьме трагической осенью 1941 года, с генералами В. И. Чуйковым и Р. Я. Малиновским в районе Сталинграда; с К. К. Рокоссовским в Польше и, наконец, с маршалом Г. К. Жуковым в Берлине.

И потом — жить в Москве все эти военные годы было тоже исключительно интересно. Как на фронте, так и в Москве я пользовался каждой возможностью, чтобы поговорить с людьми. Так, разговаривая с солдатами, рабочими, интеллигентами и другими, я мог видеть,

¹ Характерно, что Би-би-си прекратила мои комментарии из Москвы немедленно после капитуляции Германии в мае 1945 года. (Здесь и далее кроме специально оговоренных случаев в тексте А. Верта примечания автора.)

как менялись настроения в народе — от некоторой растерянности 1941—1942 годов к оптимизму и ликованием 1943 года и дальше, несмотря на многочисленные личные потери, лишения и огромные трудности, которые испытывало большинство населения. В Москве я познакомился со многими представителями советской интеллигенции — с писателями К. М. Симоновым, А. А. Сурковым, И. Г. Эренбургом, М. А. Шолоховым, А. А. Фадеевым, Б. Л. Пастернаком; композиторами С. С. Прокофьевым и Д. Д. Шостаковичем; знаменитыми кинорежиссерами В. И. Пудовкиным, С. М. Эйзенштейном и А. П. Довженко и многими другими. Некоторые из них уже умерли, но с иными я продолжаю поддерживать теплые дружеские отношения, в частности с К. М. Симоновым, А. А. Сурковым и Б. Н. Полевым.

Все эти контакты позволили мне составлять широкую картину советского общественного мнения — в Москве, на фронте, в только что освобожденных районах, — и я думаю, мне не нужно извиняться за то, что я уделил такую большую часть этой книги моим личным наблюдениям за жизнью и настроениями в Советском Союзе в годы войны.

Париж, июль 1966 год

Александр Верт

Москва в начале войны

Я приехал в Советский Союз 3 июля 1941 года, через двенадцать дней после начала германского вторжения. Маршрут моей поездки из Лондона в Москву был таков, какой возможен только в военное время: вместе со второй партией сотрудников английской военной миссии я вылетел в Инвернесс, затем на Шотландские острова и оттуда на летающей лодке «Каталина» — в Архангельск, преодолев все расстояние за один 16-часовой скачок. Последние несколько часов мы летели над обширной необитаемой тундрой Кольского полуострова. Потом, пролетев над Белым морем и портом Архангельск, мы сели на реке Двине, в нескольких километрах южнее Архангельска. В составе этой второй партии военной миссии (первая, во главе с генералом Мейсоном Макферланом, вылетела в Москву несколькими днями ранее) были два сотрудника министерства внутренних дел в мундирах полковников, специалист по

борьбе с пожарами, который вез в Москву переносный насос-распылитель для тушения зажигательных бомб, и специалист по бомбоубежищам.

Нас принимали на борту парохода полковник и два очень любезных майора, а потом в течение вечера к нам присоединились и другие офицеры. Некоторые упоминали о выступлении Сталина по радио в тот самый день и выражали мнение, что война будет очень долгой и трудной, но что СССР в конце концов победит. Один из майоров заверял меня, что противовоздушная оборона Москвы настолько хороша, что город, вероятно, никогда не подвергнется бомбардировкам, и что то же самое можно сказать о Ленинграде.

Все они живо интересовались Англией. Любопытно, что и полковник и оба майора проявляли особый интерес к Рудольфу Гессу¹, который, как видно, их несколько беспокоил. Они читали речь Черчилля и говорили, что она очень обрадовала русских, хотя им известно, что Черчилль был одним из главных «вдохновителей интервенции» во время гражданской войны. Но при всем том, спросил один из майоров, вполне ли я уверен, что предложения Гесса отклонены? Очевидно, сами они еще сомневались в намерениях Англии и Америки.

За окном по-прежнему стояла белая ночь. В сумерках рисовались силуэты елей на крутых песчаных берегах реки. Комаров было видимо-невидимо. Мы поспали часа два, после чего нас доставили на моторных лодках на некоторое расстояние вверх по реке и затем машиной до аэродрома. В 6 часов утра солнце стояло уже высоко в небе. Мы шли к самолету по колышимой ветром траве и полевым цветам. Это был большой «дуглас», и в течение трех-четырех часов мы летели, казалось, над сплошным, нескончаемым лесом. Затем в Рыбинске мы пересекли Волгу и, пролетев еще некоторое время над более густонаселенной местностью, достигли пригородов Москвы.

Москва выглядела, как обычно. На улицах толпился народ, в магазинах все еще было полно товаров. По всей видимости, недостатка в продуктах питания не

¹ Гесс, Рудольф — один из главных военных преступников фашистской Германии. В мае 1941 года прибыл на самолете в Великобританию. От имени Гитлера предлагал Великобритании заключить мир и принять участие в походе против СССР. На Нюрнбергском процессе 1945—1946 годов приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. (Прим. составителя)

ощущалось: в первый же день я зашел в большой продовольственный магазин на Маросейке и был удивлен широким выбором конфет, пастилы и мармелада. Люди все еще покупали продукты свободно, без карточек. Молодые москвичи в летних костюмах отнюдь не выглядели бедно одетыми. На большинстве девушек были белые блузки, на юношах — белые, желтые или голубые спортивные майки или рубашки на пуговицах и с вышитыми воротниками. Люди жадно читали наклеенные на стенах плакаты, которых, надо сказать, было множество: советский танк, давящий гигантского краба с усами Гитлера; красноармеец, загоняющий штык в горло огромной крысы с лицом Гитлера. «Раздавить фашистскую гадину!» — гласила подпись под этим плакатом. Потом — обращение к женщинам: «Женщины, идите в колхозы, замените ушедших на фронт мужчин!» На многих домах были вывешены полосы «Правды» и «Известий» с полным текстом речи Сталина, и повсюду толпы людей перечитывали ее.

Москва была охвачена настоящей шпиономанией, возможно, это отчасти объяснялось содержавшимся в речи Сталина предостережением против шпионов и диверсантов. Казалось, что люди всюду видели шпионов и парашютистов. Ехавшие со мной из Архангельска сержанты английской армии в первый же день пережили очень неприятное приключение. С аэродрома они отправились в Москву на грузовике с багажом миссии. На углу одной из улиц их остановила милиция. Вокруг собралась толпа, удивленная незнакомой английской формой, и кто-то воскликнул: «Парашютисты!», после чего толпа стала волноваться и кричать. В результате сержантов отправили в отделение милиции, откуда их в конце концов вызволил один из сотрудников посольства.

По разным поводам производилась проверка документов, и было совершенно необходимо иметь их в порядке, особенно после полуночи, когда для хождения по городу требовался специальный пропуск. Нерусская речь немедленно вызывала подозрение.

Особую бдительность проявляли женщины из вспомогательной милиции. Как-то вечером я шел по улице Горького вместе с Жаном Шампенуа¹, как вдруг женщина-милиционер закричала на него: «Вы почему курите?!» — и приказала немедленно потушить сигарету:

¹ Корреспондент агентства Гавас в Москве.

она вообразила, что он, может быть, подает сигнал немецкому самолету!

Весь день по улицам проходили, обычно с песнями, солдаты. Формирование ополчения было в полном разгаре. В эти первые дни июля десятки тысяч людей, в том числе много пожилых, являлись добровольно на сборные пункты (один такой пункт помещался в Хохловском переулке, напротив дома, где я жил) с узелками или чемоданами. Там добровольцев сортировали — причем некоторых отвергали — и направляли в учебные лагеря.

В остальном в Москве было довольно спокойно. Люди на улицах иной раз шутили и смеялись, хотя, что весьма показательно, лишь очень немногие открыто говорили о войне.

Мавзолей Ленина я нашел закрытым, и двое часовых с винтовками без лишних слов велели мне проходить мимо. Внешне жизнь, казалось, шла обычным порядком. Четырнадцать действовавших театров были, как всегда, переполнены; в ресторанах и гостиницах людей было по-прежнему набито битком.

При всем том Москва готовилась к воздушным налетам. Уже 9 июля вдоль трамвайных путей начали разъезжать грузовики, с которых производилась раздача мешков с песком. На этой неделе я написал статью о налетах на Лондон и о принятых англичанами мерах предосторожности. Она была сразу же напечатана в «Известиях», вызвала большие толки и даже некоторую полемику о том, следует ли тушить зажигательные бомбы водой, что я считал неправильным. Мой рассказ о воздушных налетах на Лондон обсуждался тем более широко, что в период действия советско-германского договора советская печать мало писала о бомбардировках, которым подвергалась Англия.

Со второй недели июля в связи с ожидавшимися налетами германской авиации началась массовая эвакуация детей из Москвы. Многим женщинам было предложено поехать на работу в колхозы. Вокзалы были переполнены людьми, получившими разрешение уехать из Москвы. Многие женщины, которых я видел вечером 11 июля на Курском вокзале — откуда они отправлялись в Горький, — плакали, боясь, что им еще не скоро удастся вернуться в Москву.

Англо-русские отношения быстро улучшались. В течение второй недели июля Стаффорд Криппс¹, к которому русские относились очень холодно до самого начала нацистского вторжения, имел две встречи со Сталиным, а 12 июля в Кремле состоялось торжественное подписание Молотовым и Криппсом англо-советского соглашения в присутствии И. В. Сталина, адмирала Н. Г. Кузнецова, маршала Б. М. Шапошникова, генерала Мейсона Макферлана и главы английской торговой миссии Лоренса Кэдбери. Сталин через переводчика довольно долго беседовал с Мейсоном Макферланом.

На другой день на пресс-конференции С. А. Лозовского² русские все еще удивлялись подписанию соглашения, которое предусматривало взаимную помощь и содержало обещание не заключать сепаратного мира с Германией. Сам Лозовский был, видимо, приятно удивлен и сказал, что это наносит сильнейший удар по Гитлеру, так как опрокидывает его план воевать с Востоком и Западом поочередно. На вопрос, можно ли считать США молчаливым партнером этого соглашения, Лозовский смело сказал: «США слишком великая страна, чтобы молчать».

В первые недели войны положение представителей иностранной печати в Москве было очень странным. Единственными официальными источниками информации были советская печать с ее сводками военных действий и военными очерками и упомянутые пресс-конференции Лозовского, проводившиеся три раза в неделю.

Газетные очерки были посвящены главным образом отдельным героическим подвигам русских, хотя время от времени, особенно в газете «Красная звезда», появлялись полезные обзоры. Сводки носили обычно осторожный характер и зачастую давали только смутное представление, где в тот момент шли бои, но люди скоро научились читать между строк. Сообщение о боях

¹ Криппс, Ричард Стаффорд (1889—1952) — английский государственный деятель, лейборист. В предвоенные годы он был сторонником отпора фашистской агрессии и укрепления безопасности с участием СССР. С 1940 по 1942 год — посол Великобритании в СССР. От имени Великобритании в июле 1941 года подписал соглашение с СССР о совместных действиях в войне против фашистской Германии. (*Прим. составителя*)

² Лозовский С. А. (1878—1952) — советский дипломат. Член КПСС с 1901 года. С 1939 по 1946 год — заместитель наркома, а затем заместитель министра иностранных дел СССР. (*Прим. составителя*)

на «Минском направлении» или на «Смоленском направлении» обычно означало, что эти города уже сданы, а изучение лексикона сводок позволяло представлять себе масштабы неудач советских войск. Так, выражение «тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника» означало, что части Красной Армии терпели поражение на данном участке. Это было худшее из всех выражений, встречавшихся в сводках.

Общей тенденцией пресс-конференций Лозовского было внушить мысль, что все неудачи СССР являются временными; что, несмотря ни на какие территориальные потери, немцы не победят; что Москва и Ленинград, во всяком случае, не будут сданы; что советские потери, бесспорно, велики, но немцы потеряли еще больше (это был самый сомнительный из доводов Лозовского); что отношения между Германией и ее сателлитами крайне натянутые (это также представлялось весьма сомнительным летом и осенью 1941 года). Иногда он сообщал важные факты, например о разрушении Днепрогэса или о высылке на восток всего населения автономной республики немцев Поволжья — что-то около полумиллиона человек. О таких крупных катастрофах, как захват немцами многих сотен тысяч пленных и колоссальные потери советской авиации, вообще не упоминалось. В то же время Лозовский был склонен преувеличивать количество действовавших на фронте немецких танков и самолетов: так, он говорил, что в боях принимало участие 10 тысяч немецких танков...

К 11 июля уже стало известно, что немцы подходят к Смоленску и что захвачена большая часть территории Прибалтийских республик. К 14 июля было объявлено о боях на «Островском направлении», что говорило о быстром продвижении немцев к Ленинграду с юга. К 22 июля поступили известия, что финны ведут бои на «Петрозаводском направлении», а к 28 июля — что немцы продвигаются к Киеву. Но когда к середине июля немцы, по всей видимости, застряли под Смоленском, в Москве это вызвало бурную радость, чувство, что худшее, пожалуй, позади, хотя как с Ленинградского фронта, так и с Украины продолжали поступать удручающе плохие известия.

Первый воздушный налет на Москву был совершен в ночь на 22 июля. Особенно внушительное впечатление

произвел мощный заградительный огонь: шрапнель зенитных снарядов барабанила по улицам, точно град. Десятки прожекторов освещали небо. В Лондоне мне не приходилось ни видеть, ни слышать ничего подобного. В широких масштабах была организована борьба с пожарами. Позже я узнал, что многие из тех, кто тушил пожары, получили тяжелые ожоги от зажигательных бомб, иногда по неопытности. Мальчишки первое время хватали бомбы голыми руками!

Вскоре стало известно, что вокруг Москвы было три полосы противовоздушной обороны и что во время первого налета прорвалось едва 10—15 самолетов из 200. Иногда можно было услышать взрывы тяжелых фугасных бомб, но их было очень немного. На следующее утро многие стекла оказались разбитыми, кое-где виднелись воронки от бомб, в том числе одна на Красной площади; возникло несколько пожаров, быстро потушенных, но в общем ничего особенно серьезного не произошло. В ночь на 23 июля состоялся второй налет, также причинивший небольшой ущерб. Единственным серьезным случаем была гибель ста с лишним человек в результате прямого попадания в большое бомбоубежище на Арбатской площади. Но, как и в первую ночь, прорвалось только небольшое количество самолетов.

Воздушные налеты продолжались все последние дни июля и большую часть августа. В выпущенных в конце июля инструкциях уже говорилось, что зажигательные бомбы нужно тушить песком, но тем не менее продолжали применять и воду.

В целом Москва в эти первые два месяца войны являла зрелище спокойствия. Официальный оптимизм более или менее подогревался печатью. Исключительно большое значение придавалось остановке немцев под Смоленском, хотя с других участков фронта продолжали поступать в высшей степени зловещие известия. Но по крайней мере продвижение немцев уже было не таким быстрым, как в две первые страшные недели.

Условия в Москве становились более трудными. Если в начале июля еще ни в чем не ощущалось сколько-нибудь значительного недостатка и особенно много было продуктов питания и папирос (продавались даже красивые коробки шоколадных конфет с надписью «Изготовлено в Риге, Латвийская ССР», теперь уже находившейся в руках у немцев), то все же люди все время понемногу запасались товарами, и к 15 июля нехватка

продовольствия стала очень заметной. Горы папирос, продававшиеся почти на каждом углу, быстро исчезли. 18 июля было введено строгое нормирование продуктов; население разделили на три категории. Правда, продолжали торговать колхозные рынки, но цены быстро росли. В магазинах еще продавались кое-какие потребительские товары; в конце августа я даже умудрился купить себе пальто из меха белой сибирской лайки в магазине в Столешниковом переулке, где по-прежнему был довольно широкий выбор оленьих полушубков и т. п. Я заплатил за свою «собачью доху» 335 рублей, что было дешево. Но другие магазины, как я обнаружил, быстро распродали свои запасы обуви, галош и валенок.

Однако рестораны работали, как и прежде, и в таких больших гостиницах, как «Метрополь», и «Москва», а также в ресторанах вроде знаменитого «Арагви» на улице Горького еще подавали хорошие блюда. Переполнен был и коктейль-холл на улице Горького. Работали кинотеатры и 14 театров. Многие из них ставили патристические пьесы и спектакли на злободневные темы. Большой театр был закрыт, но его филиал на Пушкинской улице действовал, и молодежь, как обычно, толпилась у входа, спрашивая лишние билеты, а в зрительном зале устраивала бурные овации при каждом выступлении Лемешева и Козловского. В Малом театре шла пьеса Корнейчука «В степях Украины», и зрители встречали громом аплодисментов слова одного из действующих лиц:

«Возмутительнее всего — это когда вам не дают достроить крышу вашего дома. Нам бы еще лет пять! Но если начнется война, мы будем драться с такой яростью и ожесточением, каких еще свет не видывал!»

В кино всякий раз, когда в журналах появлялся Сталин, люди начинали громко аплодировать, что они вряд ли стали бы делать в темноте, если бы действительно не испытывали таких чувств. Авторитет Сталина не вызывал никаких сомнений, особенно после его речи по радио 3 июля. Все верили, что он знает, что делает. Но при всем том люди чувствовали, что дела идут очень скверно, а многих чрезвычайно удивляло, что СССР вообще подвергся вторжению.

В театрах ставились патристические пьесы, вроде шедшей в Камерном театре «Очной ставки» (где немецкий агент в конце концов в отчаянии сдавался, убедившись в полном единстве русского народа), пьесы о победоносных русских полководцах Суворове и Кутузове.

По воскресеньям в саду «Эрмитаж» по-прежнему толпилась штатская и военная публика. Здесь в переполненном зале Буся Гольдштейн исполнял скрипичный концерт Чайковского, а в одном из театров шли сатирические скетчи, высмеивавшие Гитлера, Геббельса, немецких солдат, немецких генералов, немецких парашютистов, которых неизменно удавалось перехитрить патристически настроенным колхозникам. Зрителям это нравилось, и они смеялись.

Поэты сочиняли патристические стихи, а композиторы слагали военные песни; по улицам проходили солдаты, распевавшие довоенный «Синий платочек», «Катюшу», «В бой за Родину» или же новую, торжественную «Священную войну» Александрова, остававшуюся своего рода полуофициальным гимном на протяжении всей войны.

Однако наряду с этим многие театры сохранили старый репертуар. В Московском Художественном театре шли «Три сестры», «Анна Каренина» и «Школа зловещия»; сезон Большого театра открылся в конце сентября балетом «Лебединое озеро» с участием Лепешинской. Это было всего за несколько дней до начала генерального наступления немцев на Москву.

Английское и американское посольства проявляли в эти дни большую активность. Криппс и Штейнгардт¹ стали привычными фигурами в Москве, их часто показывали в кинохронике. В конце июля были восстановлены дипломатические отношения с польским эмигрантским правительством в Лондоне, хотя вскоре это привело к первым осложнениям. Через один-два дня после подписания И. М. Майским² и Сикорским³ соглашения от 30 июля я спросил у Лозовского, началось ли освобождение польских военнопленных и принимаются ли меры

¹ Штейнгардт, Лоуренс (р. 1892) — посол США в СССР с 1939 по 1941 год. (Прим. составителя)

² Майский И. М. (1884—1975) — советский дипломат, историк, действительный член АН СССР. С 1932 по 1943 год — посол СССР в Великобритании, с 1943 по 1946 год — заместитель наркома иностранных дел. (Прим. составителя)

³ Сикорский, Владислав (1881—1943) — премьер-министр и военный министр Польши в 1922—1923 годах, премьер-министр польского эмигрантского правительства в 1939—1943 годах. Подписал 30 июля 1941 года договор с СССР о возобновлении дипломатических отношений. (Прим. составителя)

к формированию польской армии в СССР. Он дал уклончивый ответ, что такие меры принимаются, но в связи с тем, что поляки «разбросаны по всему Советскому Союзу», предстоит еще решить много практических вопросов.

Были восстановлены также дипломатические отношения с эмигрантскими правительствами Югославии, Бельгии и Норвегии. Важное значение имело англо-советское решение оккупировать Иран.

Вершиной дипломатической активности в то мрачное лето был визит Гарри Гопкинса¹, за которым последовал визит Бивербрука². Все это, и особенно приезд Гопкинса, ободряло русских. Конечно, в то время не сообщалось о точной цели визита Гопкинса и строились только предположения, что американцы намерены «помогать». Нечего и говорить, что в народе уже ходило много разговоров о необходимости второго фронта: почему бы англичанам не высадиться во Франции? Официально пока что об этом говорилось очень мало, но печать явно распространяла мысль, что это имело бы очень важное, если не решающее, значение. Для поднятия духа усиленно подчеркивалось значение налетов английской авиации на Германию, хотя все, по-видимому, чувствовали, что этого недостаточно... Но советской публике еще ничего не было известно об уже начавшейся оживленной переписке между Черчиллем и Сталиным, принимавшей подчас характер пререканий.

Как Стаффорд Криппс, так и глава английской военной миссии генерал Мейсон Макферлан доброжелательно относились к русским, хотя Криппсу пришлось вытерпеть немало унижений во времена советско-германского пакта. Летом и в начале осени я часто виделся с ними обоими. Оба считали положение на Восточном фронте серьезным, но вовсе не безнадежным и были твердо убеждены, что Красную Армию не удастся сломить, какой бы отчаянный оборот ни принимали события иной раз: в самом начале, потом, после захвата нем-

¹ Гопкинс, Гарри (1890—1946) — американский государственный деятель и дипломат. После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз 31 июля 1941 года прибыл в Москву, где вел переговоры с Советским правительством. (*Прим. составителя*)

² Бивербрук У. М. (1879—1964) — барон, английский газетный магнат. В 1918 и 1940—1945 годах в правительстве. (*Прим. составителя*)

цами Киева и форсирования Днепра, и, наконец, когда они подошли к Ленинграду и начали свое «последнее» наступление на Москву. Однако Криппс и Макферлан неизменно считали СССР постоянным и решающим фактором в борьбе против нацистской Германии. На обоих большое впечатление произвел Сталин с его знанием деталей. Особенное впечатление произвел на Криппса тот факт, что в своих переговорах с англичанами и американцами Сталин всегда, за исключением, возможно, одного случая, исходил из перспективы длительной войны. В частности, просьба о поставках алюминия была воспринята Криппсом как свидетельство того, что Сталин заглядывал далеко вперед.

Некоторые из молодых английских и американских дипломатов и журналистов были, однако, склонны думать, что Советский Союз потерпит катастрофу. Одна американская журналистка рассчитывала остаться в Москве в качестве «нейтральной», чтобы посмотреть из окон своего номера в гостинице «Националь», как немцы пройдут по Красной площади. Но в основном журналисты испытывали по отношению к русским чувства доброжелательности и восхищения.

Осенняя поездка на Смоленский фронт

В конце августа — начале сентября советские войска успешно провели ряд наступательных операций в районе севернее и юго-восточнее Смоленска и освободили от немецких захватчиков город Ельню. Августовские бои не были крупным сражением советско-германской войны, и, однако, нужно было пережить страшное лето 1941 года, чтобы понять, какое огромное значение имел этот небольшой успех для поднятия морального духа советских войск. Весь август и часть сентября советская печать уделяла большое внимание наступательным действиям в районе Смоленска, хотя это не соответствовало ни их тогдашнему, ни конечному значению. И все же это была не просто первая победа Красной Армии над немцами, но и первый кусок земли во всей Европе — каких-нибудь 150—200 квадратных километров, быть может, — отвоеванный у гитлеровского вермахта. Странно думать, что в 1941 году даже это считалось огромным достижением.

Хотя до тех пор иностранных корреспондентов не пускали на фронт, победа под Ельней была таким событием, которое надо было предать международной огласке, и поэтому двенадцать или тринадцать журналистов были отправлены на машинах в недельную поездку по фронту, начавшуюся 15 сентября¹.

Оглядываясь назад, поражаешься прежде всего трагизму всей обстановки. Трагичен был город Вязьма, подвергавшийся непрерывным воздушным налетам с близлежащих германских аэродромов. Еще трагичнее были молодые летчики на небольшом аэродроме для истребителей под Вязьмой, совершавшие по семь-восемь вылетов в день и постоянно выполнявшие почти самоубийственные задания. Трагичной была вся полностью разрушенная территория Ельнинского выступа, где все города и деревни были уничтожены, а немногие уцелевшие жители ютились в погребах и землянках.

Вязьма, куда мы прибыли к вечеру, выглядела почти обыкновенно, несмотря на большое число солдат и разбомбленные дома. Это был тихий маленький городок с учрежденческими зданиями на центральной площади, ветхими церквями и памятником Ленину. В остальном же он состоял из тихих провинциальных улиц с деревянными домами, с палисадниками и рядами грубо сколоченных деревянных заборов. В палисадниках росли высокие подсолнухи и георгины, у ворот судачили старухи в платках. Вряд ли город особенно изменился со времен Гоголя.

Наша беседа в ту первую ночь в Вязьме с генералом В. Д. Соколовским, тогда начальником штаба Западного фронта, была в тех условиях успокаивающей. Тихим, ровным голосом он рассказывал, чего русские добились на этом центральном участке в течение недель. Он придавал величайшее значение тому факту, что продвижение немцев остановлено за Смоленском, утверждал, что за минувший месяц было разгромлено «несколько германских армий» и что только в первые

¹ В составе группы иностранных журналистов, кроме А. Верта, были также пресс-атташе английского посольства в Москве член палаты общин В. Бартлет, известный американский писатель Э. Колдуэлл, корреспондент «Нью-Йорк таймс» Сульцбергер, корреспондент Ассошиэтед Пресс Г. Кэссиди и др. (Прим. редактора издания: Верт, Александр. *Россия в войне 1941—1945*. М.: Прогресс, 1967.)

дни сентября немцы потеряли 20 тысяч человек. На этом же участке за последние недели было сбито несколько сот самолетов. Блицкриг как таковой, сказал Соколовский, кончился, а теперь по-настоящему начался процесс «перемалывания» германской военной машины, и Красной Армии даже удалось отвоевать на этом участке порядочный кусок территории. Чтобы остановить советское контрнаступление, немцам пришлось в последние дни подтянуть подкрепления.

Соколовский считал, что действовавшие в тылу противника партизаны причиняли серьезный ущерб германским коммуникациям. Советская артиллерия, по его мнению, значительно превосходила немецкую, хотя он признавал, что немцы все еще обладали значительным превосходством в авиации и танках. Он также отметил то важное обстоятельство, что Красная Армия обеспечена полушубками и другим зимним обмундированием и что советские войска могут выдерживать сильные морозы, которые не в силах выдержать немцы. Показательно, что генерал В. Д. Соколовский уже тогда придавал величайшее значение той роли, которую вскоре предстояло сыграть зиме. Потом, подумав, он добавил, что может говорить только о Центральном фронте и не компетентен судить о делах на севере и юге, где в то время положение было крайне серьезным.

На вопрос, считает ли он, в связи с тем, что он сказал, новое германское наступление на Москву невозможным, Соколовский ответил: «Конечно, не считаю. Они всегда могут сделать последнюю отчаянную попытку или даже несколько «последних отчаянных» попыток. Но я не думаю,— добавил он твердо,— что они дойдут до Москвы».

На закате мы подъехали к небольшой базе истребителей под Вязьмой. Подъезжая, мы услышали гул моторов, и, несмотря на сгушавшуюся тьму, советский истребитель спикировал и мягко сел на аэродром.

К нему бросилась толпа летчиков. Приземлившийся самолет был истребитель, но с отсеком для бомб... Молодой пилот, выбравшись из кабины, внимательно осматривал одно из крыльев, пробитое зенитным снарядом. Летчик сбросил бомбы на германский аэродром под Смоленском, где его встретил довольно сильный огонь зенитной артиллерии. Он поджег ангар и был, видимо,

очень доволен результатом. Летчику не было еще и двадцати, но он уже немало летал. На вопрос, сколько вылетов в день он делает, летчик ответил: «Отсюда до германских линий — пять, шесть, семь вылетов в день. На это уходит всего час в оба конца». Там же я увидел другого, белокурого молодого летчика, и я спросил у него, как ему нравится эта опасная жизнь. «Я ее люблю,— ответил он.— Возможно, она и опасная, но зато каждая минута волнует. Это самая лучшая жизнь. Только так и стоит жить». («Неужели он действительно так думает?» — спрашивал я себя.)

Позже нам показали в действии реактивную мину, которую эти самолеты применяли против танков. И все же что-то трогательно-жалкое было в этих тихоходных старых самолетах, которые использовались как истребители-бомбардировщики, и, вероятно, с небольшим эффектом, но ценой тяжелых потерь летного состава.

Эта неделя, проведенная на Смоленщине, действовала на меня в известной мере ободряюще, но в то же время оставила впечатление трагедии. Исторически то была одна из стариннейших русских земель, чуть не самое сердце Древней Руси. Старинный город Смоленск уже был у немцев, а фронт проходил в 30—40 км восточнее него. Мы проезжали через деревни, где немцев еще не было. В этих деревнях почти не осталось мужчин — только женщины, дети да несколько стариков. Многие женщины волновались, предчувствуя плохое. Многие из деревень прифронтовой полосы подвергались бомбежке и пулеметному обстрелу. Некоторые деревни и небольшие города были полностью уничтожены германскими бомбардировщиками, и поля ржи и льна вокруг них стояли необработанные.

Затем были встречи с солдатами. Мы посетили много полковых штабов, иногда расположенных всего в 1,5—2 км от линии фронта, и вокруг часто падали снаряды. В течение последнего месяца эти люди наступали, хотя и дорогой ценой. Многие из офицеров — как, например, полковник Кириллов, встретивший нас на лесистой возвышенности, с которой просматривались германские линии по другую сторону узкой долины, — казались толстовскими персонажами: храбрые, грубоватые, принимавшие войну как нечто обычное. Некоторые из этих людей отступали сотни километров, но теперь были счастливы, что остановились и даже потеснили нем-

цев. Кириллов усыновил и сделал «сыном полка» маленького, 14-летнего мальчика, чьи отец и мать погибли во время бомбардировки одной из ближних деревень.

Один раз мы ночевали в полевом госпитале, состоявшем из нескольких больших палаток; в двух из них еще лежали тяжелораненные, которых нельзя было перевозить,— потерявшие оба глаза или обе ноги. Всего недель раньше в этих палатках лежали сотни раненых. Все медсестры были студентки Томского медицинского института, все до одной молодые и на редкость хорошенькие, какими обычно бывают сибирячки. Медицинский персонал состоял из семи хирургов, шести терапевтов и этих 48 сестер, и всего неделю назад им приходилось обрабатывать по 300 раненых в день. Палатка, в которой разместились операционная, была хорошо оборудована, снабжена рентгеновским аппаратом и аппаратурой для переливания крови. До сих пор, сказал нам главный хирург, москвич, они не испытывали недостатка в медикаментах.

Но, пожалуй, оптимизм военных был больше показной. Однажды я беседовал с капитаном из Харькова, изучавшим историю и экономику в Харьковском университете. В минувшем месяце капитан участвовал в тяжелых боях под Киевом, откуда его полк был переброшен под Смоленск. Он был настроен мрачно. «Незачем делать вид, что все хорошо,— сказал он.— Размахивание флагами и ура-патриотизм хороши в пропагандистских целях, для поддержания духа. Но здесь можно перегнуть палку, как это иногда и бывает. Нам понадобится большая помощь из-за границы.

Я знаю Украину, знаю, какое огромное значение она имеет для всего нашего народного хозяйства. Сейчас мы потеряли Кривой Рог и Днепропетровск, а без криворожской руды промышленности Харькова и Сталино, если мы не потеряем и их, будет трудно работать на полную мощность. Ленинград с его квалифицированным рабочим классом также почти изолирован. К тому же мы просто не знаем, как далеко еще продвинутся немцы; теперь, когда их войска заняли Полтаву, мы вполне можем потерять и Харьков. Мы уже несколько недель слышим об экономической конференции, которая должна собраться в Москве; говорят, что лорд Бивербрук находится в пути,— не знаю, что это даст...»

Он продолжал: «Это очень тяжелая война. И вы не представляете, какую ненависть немецкие фашисты пробудили в нашем народе. Вы знаете, мы беспечны и добродушны, но, заверяю вас, они превратили наш народ в злых мужиков. Злые мужики — вот кто мы сейчас в Красной Армии; мы — люди, жаждущие отомстить. Никогда раньше я не испытывал такой ненависти. И для этого есть все основания. Подумайте обо всех этих городах и деревнях, — продолжал он, указывая на красное зарево над Смоленском. — Подумайте о муках и унижении, которые терпит наш народ. — В глазах его сверкнул огонек лютой злобы. — А я не могу не думать о своей жене и десятилетней дочери в Харькове. — Он помолчал, овладевая собой и барабанив пальцами по колену. — Конечно, — сказал он наконец, — существуют партизаны. Это по меньшей мере личный выход для тысяч оставшихся там людей. Терпению людей бывает конец. Они уходят в лес, надеясь, что когда-нибудь смогут убить немца. Зачастую это равносильно самоубийству; часто они знают, что рано или поздно их наверняка схватят и подвергнут всем истязаниям, на какие способны фашисты».

Остановившись затем на вопросе о партизанах вообще, он высказал мнение, что они играют важную роль, хотя и не такую важную, какую могли бы играть. Но если Красная Армия будет по-прежнему отступать, партизаны потеряют связь со своими источниками снабжения и начнут испытывать недостаток в вооружении. «Если бы мы только как следует подготовили партизанское движение, если бы создали тысячи складов с оружием в Западной России! Кое-что было сделано, но далеко не достаточно. На юге же, к несчастью, нет лесов...»

Во время этой поездки на фронт я впервые встретился с поэтом Алексеем Сурковым, который находился там в качестве военного корреспондента. Потом, на более поздней стадии войны, мы вспоминали с ним те дни. «Это было ужасное время, — говорил он. — Помните, мы хотели показать вам наши танки, — так вот, теперь я могу вам сказать, что ни черта их тогда у нас не было!»

Город Дорогобуж в верховьях Днепра, славившийся до войны своими сырами, куда мы прибыли как-то ночью после многочасовой поездки по невероятно грязным и ухабистым дорогам, подвергся германской бомбарди-

ровке, и теперь от него оставались только коробки каменных и кирпичных зданий да печные трубы деревянных домов. Из 10 тысяч жителей в городе оставалось не более сотни. В июле средь бела дня волны германских самолетов в течение целого часа сбрасывали на город фугасные и зажигательные бомбы. В то время там не было войск; погибли мужчины, женщины, дети— сколько именно, никто не знал.

Переночевав в армейской палатке за городом, мы на другое утро увидели человек пятьдесят — больше всего женщин, а также несколько бледных детей,— выстроившихся в очередь за продуктами у ларька военторга, разместившегося в одном из немногих не полностью разрушенных зданий. По уже «отвоеванной территории» мы поехали в Ельню. Там прошли тяжелые бои. Лес был разбит снарядами; там и сям попадались братские могилы с грубо раскрашенными деревянными обелисками; в могилах были похоронены сотни советских солдат. Деревня Ушаково, более месяца являвшаяся ареной особенно ожесточенных боев, была сровнена с землей, и только по голым участкам вдоль дороги можно было догадаться, где стояли дома. В другой деревне, Устиновке, неподалеку от Ушакова, соломенные крыши у большинства домов были сорваны взрывной волной. Жители бежали еще до прихода немцев, но сейчас здесь снова появились слабые признаки жизни. После занятия деревни советскими войсками туда вернулись старик крестьянин и два маленьких мальчика; они работали в пустом поле, выкапывая картофель, посаженный задолго до прихода немцев. Больше в деревне не было никого, кроме сумасшедшей слепой старухи. Она осталась в деревне и во время обстрела сошла с ума. Я видел, как она бродила по деревне босая, в грязных лохмотьях, таская с собой ржавое ведро и рваную овчину. Один из мальчиков сказал, что спит она в своей разбитой избе и что они приносят ей картошку, а иногда ей что-нибудь перепадает от проходящих солдат, хоть сама она никогда ничего не просит. Она лишь глядела на всех своими незрячими бельмами и ни разу не произнесла ни одного членораздельного слова, кроме «черти».

Мы ехали в Ельню через нескончаемые неубранные поля. Один раз мы свернули с дороги в лес, так как в небе показались три или четыре немецких самолета. В лесу мы заметили артиллерийские батареи и другие признаки деятельности военных. Ельня была полностью

разрушена. Все дома, в большинстве деревянные, по обе стороны дороги, которая вела к центру города, были сожжены; от них остались лишь груды золы да остовы печей. Раньше это был город с населением 15 тыс. человек. Из всех зданий уцелела только каменная церковь. Большинство жителей, оставшихся здесь во время германской оккупации, теперь исчезли. Город был занят немцами почти неожиданно, и мало кто из населения успел уехать. Почти всех трудоспособных мужчин и женщин силой зачислили в рабочие батальоны и угнали в немецкий тыл. В городе было разрешено остаться только нескольким сотням стариков, старух и детей. В ночь, когда немцы решили уйти из Ельни — так как части Красной Армии приближались, угрожая окружением города, — жителям было приказано собраться в церкви. Они пережили ужасную ночь. Сквозь высокие церковные окна пробивался черный дым и виднелось пламя. Немцы обходили дома, забирали все, что можно было найти в них ценного, а потом поджигали дом за домом. Советские солдаты ворвались в город по горящим развалинам и успели освободить оставшихся без крова пленников.

Во время этой поездки на фронт мы беседовали с тремя немецкими летчиками — экипажем германского бомбардировщика, сбитого почти сразу после налета на Вязьму. Все трое держались нагло, хвастаясь тем, что бомбили Лондон, и были совершенно уверены, что Москва падет до наступления зимы. Они доказывали, что войну с Россией сделала неизбежной война с Англией: это была часть той же самой войны. Как только Россия будет разбита, Англию поставят на колени. «А как насчет Америки?» — спросил кто-то. «До Америки далеко». Они заявили также, что, для того чтобы сбить их «хейнкель», якобы понадобилось пять советских истребителей...

Контрнаступление советских войск под Москвой

Разрабатывая свои планы зимнего контрнаступления, Советское Верховное Главнокомандование имело программу-минимум и программу-максимум. Программа-минимум предусматривала восстановление коммуникаций с осажденным Ленинградом, ликвидацию угрозы, нависшей над Москвой, и преграждение немцам доступа

к Кавказу. Программа-максимум намечала прорыв блокады Ленинграда, окружение немцев между Москвой и Смоленском и освобождение Донбасса и Крыма. Но события сложились так, что даже программа-минимум была выполнена лишь отчасти: в конце ноября советские войска освободили Ростов — эти «ворота на Кавказ» — и оттеснили немцев до реки Миус, но дальше не продвинулись, если не считать местного наступления в Донбассе в конце зимы, в результате которого был занят небольшой выступ, включая Барвенково и Лозовую. В Крыму продолжал держаться Севастополь, но высадка Черноморским флотом 26 декабря десанта на Керченском полуострове в восточном Крыму кончилась весной следующего года катастрофой. На Ленинградском фронте освобождение 9 декабря Тихвина намного облегчило снабжение Ленинграда. Однако блокада с суши продолжалась. Продвижение Красной Армии в районе Москвы было более значительным, и все же, несмотря на освобождение большой территории (одна группа войск дошла, например, до Великих Лук, то есть продвинулась на 300 с лишним км), немцам удалось удержать укрепленный район в треугольнике Ржев — Гжатск — Вязьма, всего в каких-нибудь 150 км к западу от Москвы.

Именно Гитлер вопреки советам многих своих генералов, предлагавших отойти на большое расстояние, настаивал на том, чтобы не отдавать Ржев, Вязьму, Юхнов, Калугу, Орел и Брянск, и все эти города, за исключением Калуги, были удержаны. Многие обескураженные генералы, в том числе Браухич, Геппнер и Гудериан, были смещены, а фон Бок «заболел». На севере фон Лееб также был снят со своего поста «по состоянию здоровья» и заменен более убежденным нацистом, генералом Кюхлером. Гитлер был крайне разочарован тем, что фон Лееб не сумел захватить Ленинград в августе или сентябре, и разъярен тем, что фон Бок не смог взять Москву. После освобождения русскими Ростова Рундштедт в свою очередь временно попал в немилость.

Советское контрнаступление началось 5—6 декабря почти на всем протяжении 900-километрового фронта от Калинина на севере до Ельца на юге, и в первые дни советские войска почти всюду достигли заметных успехов. Особенность боев в зимних условиях заключалась в том, что советское командование, насколько было

возможно, избегало фронтальных атак на вражеские арьергарды и формировало мобильные отряды преследования, задачей которых было отрезать пути отхода вражеских войск и сеять среди них панику. В состав таких отрядов преследования, которые можно сравнить с казаками 1812 года, наносившими беспощадные удары по «великой армии» Наполеона, входили автоматчики, лыжники, танки и кавалерия, в частности кавалерийские части генералов Белова и Доватора. Но результаты такой тактики часто не оправдывали ожиданий, и кавалерийские части несли особенно тяжелые потери.

Немцы в этой зимней войне вели себя по-разному на разных участках. Обычно они продолжали оказывать упорное сопротивление, но их явно преследовал страх попасть в окружение; так, когда 13 декабря русские подошли к Калинин и Клину и предложили немецким гарнизонам капитулировать, те отклонили ультиматум, но поспешили отойти, пока не поздно, успев тем не менее поджечь как можно больше зданий. Зато в других местах отступление немцев зачастую переходило в паническое бегство. Западнее Москвы и в районе Тулы дороги на протяжении многих километров были усеяны брошенными орудиями, грузовиками и танками, глубоко увязшими в снегу. Именно к этому времени относится появление в советском фольклоре комического образа «зимнего фрица», закутанного в украденные у местных жителей женские платки и меховые горжетки и с сосульками, свисающими с его красного носа.

Тринадцатого декабря Совинформбюро опубликовало свое знаменитое сообщение, в котором объявлялось о провале попыток немцев окружить Москву и рассказывалось о первых результатах советского контрнаступления. Газеты напечатали портреты выдающихся советских генералов, выигравших сражение за Москву: Жукова, Лелюшенко, Кузнецова, Рокоссовского, Говорова, Болдина, Голикова, Белова.

К середине декабря Красная Армия уже продвинулась почти на всех направлениях на 35—55 км, освободив Калинин, Клин, Истру, Елец и полностью ликвидировав угрозу окружения Тулы. Наступление продолжалось и во второй половине декабря: советские войска заняли Калугу и Волоколамск, где на главной площади они увидели виселицу с трупами семи мужчин и одной женщины. Это были партизаны, публично повешенные немцами на страх всему населению.

Но если на некоторых участках фронта немцы самым настоящим образом удирали, то на других они продолжали упорно сопротивляться. Так, из Калуги — одного из городов, которые Гитлер приказал удерживать любой ценой, — немцы были выбиты только после нескольких дней тяжелых уличных боев.

Правда, немцам часто приходилось трудно из-за отсутствия зимнего обмундирования, но сильные морозы и глубокий снег не делали легким и положение русских. Следует также подчеркнуть, что у Красной Армии не было заметного превосходства ни в обученной живой силе, ни в технике. Как указывается в «Истории войны», советскому командованию не удалось обеспечить накануне контрнаступления необходимое превосходство в районе Москвы, где немцы сосредоточили свою самую сильную группу армий, в то время как советские войска и на Калининском и на Московском участках фронта были ослаблены оборонительными боями за столицу. Брошенные в бой наличные стратегические резервы, особенно на направлениях главных ударов, помогли преодолеть превосходство противника в живой силе, но их было недостаточно, чтобы изменить положение решающим образом, тем более что немцы все еще располагали большим количеством танков и орудий¹.

Действия Красной Армии очень сильно стеснял недостаток моторизованного транспорта. На Московском участке фронта имелось всего 8 тысяч грузовиков — количество, явно недостаточное. Автотранспорт не мог обеспечивать доставку даже половины потребного количества боеприпасов, провианта и других грузов, поэтому, чтобы восполнить нехватку грузовиков, приходилось использовать сотни санных обозов. Правда, несмотря на свою небольшую грузоподъемность, такие обозы имели то преимущество, что легче проходили по глубокому снегу, нежели тяжелые грузовые автомобили.

Несмотря на все эти трудности, был принят ряд мер для того, чтобы приблизить к фронту базы снабжения армии. Но если контрнаступление под Москвой и последовавшее за ним общее наступление Красной Армии зимой 1941/42 года увенчались лишь частичным успехом, то это, как мы увидим, объяснялось рядом факторов: нехваткой транспортных средств, особенно по мере

¹ См.: История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 в 6-ти томах, т. 2. М.: Воениздат, 1961, с. 260.

все большего растяжения коммуникаций, растущим недостаткам оружия и боеприпасов и, наконец, изнурительным характером зимней войны. К весне Красная Армия была страшно измотана. К тому же Советское Верховное Главнокомандование совершило ряд ошибок.

В очень тяжелых боях в течение всего декабря и первой половины января Красная Армия отбросила немцев на значительное расстояние от Москвы. Но наступление развивалось весьма неравномерно: дальше всего на запад, на 300 с лишним км, продвинулся северный фланг; почти такое же расстояние прошел южный фланг, но прямо к западу от Москвы немцы продолжали цепляться за свой плацдарм в треугольнике Ржев — Гжатск — Вязьма. Директивы Ставки от 9 декабря показывают, что советское командование планировало широкое окружение немецких войск под Москвой, намереваясь взять их в клещи с севера и с юга. В то же время Гитлер, который после чистки среди своих генералов лично принял командование, приказал группе армий «Центр» фанатически оборонять позиции западнее Москвы, не обращая внимания на прорывы противника на флангах.

В боях под Москвой немцы понесли тяжелые потери; они сражались в непривычных зимних условиях, боевой дух войск был зачастую низким, и все же они по-прежнему представляли грозную силу.

К 1 января русские, подтянув резервы, добились равенства в живой силе, а на некоторых участках даже обеспечили себе известное превосходство в танках и авиации, но у немцев все еще имелось втрое больше противотанкового оружия. Короче говоря, несмотря на значительные успехи, достигнутые Красной Армией в декабре и в первой половине января, ее превосходство, по словам современных советских историков, было совершенно недостаточным для крупного наступления, запланированного Советским Верховным Главнокомандованием.

Январь 1942 года был очень холодный, а сильные снегопады крайне затрудняли наступление. Советские войска, исключая сравнительно немногочисленные лыжные части, могли продвигаться только по дорогам, да и то с большим трудом. По мере продвижения возрастали также трудности для действий авиации, так как

в освобожденных районах не было пригодных для использования аэродромов. Однако новые директивы, данные 7 января 1942 года, подтверждают, что Советское Верховное Главнокомандование еще не оставило намерения разгромить, окружить и уничтожить все немецкие войска между Москвой и Смоленском. Но из-за того, что на севере продвижение шло быстро, а в центре медленно, протяженность линии фронта увеличилась к середине января почти вдвое. 15 января Гитлер, хотя и примирившийся с необходимостью оставить часть территории, снова приказал своим войскам занять прочную оборону восточнее Ржева, Вязьмы, Гжатска и Юхнова. Были введены суровые меры наказания, а начальник штаба Гальдер издал директиву, в которой осуждал панику и растерянность и предсказывал, что наступление русских скоро захлебнется.

Советская «История войны» признает, что Верховное Главнокомандование недооценило усиление сопротивления немцев под воздействием пропаганды, дисциплинарных мер и прибытия подкреплений с Запада. Уже 25 января советские войска потерпели первую серьезную неудачу, не сумев взять штурмом Гжатск. На юге, западнее Тулы, сопротивление немцев также усиливалось, и к концу января наступление Красной Армии на этом участке фронта фактически приостановилось.

Все же Верховное Главнокомандование советских войск по-прежнему не отказывалось от своего замысла осуществить большое окружение и решило выбросить в тылу противника крупный парашютный десант с задачей перерезать вражеские коммуникации и стать связующим звеном между двумя клещами, которые должны были сомкнуться вокруг немцев под Смоленском. Однако сопротивление немцев повсеместно нарастало, и все попытки русских прорваться к узлу германской обороны — Вязьме потерпели провал.

На ряде участков немцы переходили в контратаки. В связи с новыми массированными атаками танков, особенно в районе Вязьмы, советские бойцы вновь совершили немало героических подвигов, подобных подвигам панфиловцев под Волоколамском в декабре 1941 года. После войны в забитом в ствол дерева винтовочном патроне была обнаружена записка, оставленная умирающим солдатом Александром Виноградовым, которого с двенадцатью другими бойцами послали остановить продвижение немецких танков по Минскому шоссе:

«И вот уже нас осталось трое... мы будем стоять, пока хватит духа... И вот я один остался, раненный в голову и руку. И танки прибавили счет. Уже двадцать три машины. Возможно, я умру. Но, может, кто найдет мою когда-нибудь записку и вспомнит. Я из Фрунзе, русский. Родителей нет. До свидания, дорогие друзья. Ваш Александр Виноградов. 22.2. 1942 г.»

Совершенно ясно, что Советское Верховное Главнокомандование переоценило как наступательную силу своих армий, так и упадок боевого духа и дезорганизацию вермахта под воздействием поражений, понесенных им в декабре и в первой половине января.

План окружения и разгрома всех немецких сил между Москвой и Смоленском, а также освобождения Орла и Брянска оказался нереальным. Так как немцы в большинстве случаев зарылись в землю, а советские войска наступали, то в конечном счете от необычайно суровой зимы русские страдали больше, чем немцы. Дело было не только в том, что не хватало людских резервов и вооружения (как указывалось выше, в тот момент военное производство в СССР стояло на самом низком уровне), но и в том, что имевшиеся резервы распылялись. Так, приказ Ставки об освобождении Брянска и об отправке подкреплений в этот район отвлек Красную Армию от выполнения главной задачи: разгрома немцев в районе Вязьмы. Отданные Ставкой — а было уже 20 марта — приказы, согласно которым Красной Армии предлагалось выйти на близкий к Смоленску рубеж (Белый — Дорогобуж — Ельня — Красное), проходивший в 45 км к юго-западу от Смоленска, соединиться с частями, действовавшими в тылу врага, овладеть к 1 апреля Гжатском, примерно к тому же времени — Вязьмой и Брянском и не позднее 5 апреля — Ржевом, оказались невыполненными.

Начавшаяся в конце марта распутица еще больше ограничила подвижность Красной Армии, которая к тому же не имела в этот период достаточной авиационной поддержки. Полностью нарушился и подвоз снабжения. К концу марта советское наступление совсем остановилось. В течение многих месяцев после приостановки наступления действовавшие в тылу противника воздушно-десантные и другие войска под командованием генерала Белова и местные партизаны продолжали наносить удары по немецким коммуникациям, но в целом итоги операций в январе — марте 1942 года принесли некое ра-

зочарование после того подъема, который вызвало само Московское сражение.

Советские войска были измотаны, и к середине февраля начала остро ощущаться нехватка вооружения и боеприпасов. Правда, были освобождены обширные территории: вся Московская область, большая часть Калининской области, вся Тульская область и большая часть Калужской области. Но в руках немцев остался большой плацдарм Ржев — Гжатск — Вязьма, по-прежнему угрожавший Москве. Летом 1942 года за него шли ожесточенные бои, и выбить оттуда немцев удалось только в начале 1943 года. Многие солдаты, воевавшие на разных участках фронта, впоследствии говорили мне, что самыми тяжелыми месяцами в их фронтовой жизни были февраль — март 1942 года. Немцы проиграли битву под Москвой, но ясно, что с ними еще далеко не было покончено.

Тем не менее зимнее наступление не достигло всех желаемых результатов:

«Наступление Красной Армии зимой 1941/42 года проходило в исключительно тяжелых условиях. Армия еще не имела опыта организации и ведения наступательных операций большого размаха. Суровая зима, глубокий снежный покров и ограниченная сеть дорог затрудняли маневр на поле боя. Доставка в войска материальных средств и организация аэродромного обслуживания авиации были сопряжены с огромными трудностями. Страна еще не могла полностью обеспечить армию необходимым количеством боевой техники, вооружения и боеприпасов. Все это отрицательно сказывалось на боевой деятельности войск, на темпах развития наступления и часто не позволяло использовать выгодные условия обстановки для полного разгрома крупных группировок врага. (Курсив мой. — А. В.)

Первый опыт организации и проведения стратегического контрнаступления, а затем и развернутого наступления на всем фронте не обошелся и без серьезных ошибок со стороны Ставки Верховного Главнокомандования, командования фронтов и армий»¹.

¹ История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 в 6-ти томах, т. 2, с. 359.

В чем же заключались эти ошибки и недостатки?

1) Командование фронтов и армии не всегда правильно использовало поступавшие в его распоряжение резервы. Войска нередко бросали в бой без необходимой подготовки.

2) Красная Армия в целом еще не имела крупных механизированных и танковых соединений, что сильно снижало ударную силу войск и темпы их продвижения. Переоценив результаты декабрьско-январского наступления, Ставка Верховного Главнокомандования нерационально использовала свои резервы. В ходе зимней кампании Ставка излишне распылила резервы; в бой были брошены девять новых армий: две направлены на Волховский фронт, одна — на Северо-Западный, одна — на Калининский, три — на Западный фронт и по одной — на Брянский и Юго-Западный фронты. В итоге, «когда на заключительном этапе битвы под Москвой создались благоприятные предпосылки для завершения окружения и разгрома главных сил группы армий «Центр», необходимых резервов в распоряжении Ставки не оказалось и успешно развивавшаяся стратегическая операция осталась незавершенной»¹.

3) По ряду причин не удалось продолжать массированное применение авиации, осуществлявшееся на начальной стадии битвы под Москвой.

4) В организации партизанской войны были допущены ошибки: «В частности, оказалось нецелесообразным создавать крупные партизанские соединения... Это избавляло противника от необходимости вести борьбу с многочисленными и неуловимыми партизанскими отрядами. Гитлеровцы подтягивали к району действий партизанских соединений войска и разворачивали операции крупными силами. Партизанские отряды вынуждены были переходить к оборонительной тактике, что несвойственно природе партизанской борьбы, и поэтому несли тяжелые потери»².

Как это ни парадоксально, но приказы Сталина по случаю Дня Красной Армии 23 февраля 1942 года и праздника 1 Мая 1942 года звучали менее оптимистично, чем два его выступления в ноябре 1941 года, когда немцы стояли под самой Москвой. На этот раз он уже

¹ История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 в 6-ти томах, т. 2, с. 359.

² Там же, с. 361.

не говорил, что, для того чтобы выиграть войну, требуется «еще полгода, может быть, годик».

Но если что и выросло после битвы под Москвой, так это ненависть к немцам. Освобождая многие свои города и сотни деревень, советские солдаты воочию убеждались, что представлял собой «новый порядок». Повсюду немцы разрушали все, что могли. В Истре, например, уцелели только три дома; немцы взорвали старинный Ново-Иерусалимский монастырь. В некоторых городах и деревнях, в которые вступала Красная Армия, стояли виселицы с висевшими на них «партизанами». Позже, в 1942 году, я посетил ряд подвергшихся оккупации и разрушенным немцами городов и деревень, и всюду я видел одну и ту же мрачную картину.

Немцы в городах и селах под Москвой; немцы в таких древних русских городах, как Новгород, Псков и Смоленск; немцы у стен Ленинграда; немцы в Ясной Поляне Толстого; немцы в Орле, Льгове, Щиграх — старинных тургеневских местах, самых русских из всех русских мест. Всюду они грабили, разбойничали, убивали. Отступая, они сжигали каждый дом, и среди зимы население зачастую оказывалось без крова. Ничего подобного Россия не испытывала со времен татарского нашествия. Гнев и ненависть к немецким фашистам, к которым примешивалось чувство бесконечной жалости к своему народу, к опоганенной захватчиком советской земле, пробуждали в качестве эмоциональной реакции национальную гордость и национальную боль, необычайно ярко отразившиеся в литературе и музыке 1941 года и начала 1942 года.

Некоторые лучшие свои поэтические произведения, отражавшие глубокую душевную тревогу советских людей в первые месяцы войны (хотя и неизвестные тогда, так как они были опубликованы только в 1945 году), написал Борис Пастернак:

Вы помните еще ту сухость в горле,
Когда, бряцая голой силой зла,
Навстречу нам горланили и перли
И осень шагом испытаний шла?

«Горланящая и прущая» и «голая сила зла», как выразился Пастернак, — разве не та же мысль о чем-то похожем на «вторжение марсиан» внушала и страшная, нечеловеческая тема «Ленинградской симфонии» Шостаковича? Сейчас она может показаться шумной, мелодраматичной, перегруженной повторениями (одна и та же

тема звучит в ней все громче и громче не менее одиннадцати раз), и все же как документальное свидетельство о 1941 годе, как отражение чувства, что на Советский Союз обрушилась «голая сила зла» — колоссальная, надменная, бесчеловечная сила, — она почти не имеет себе равных.

Плач о Земле русской принимал и другие формы. Зимой 1941/42 года огромную популярность приобрели стихотворения Константина Симонова, например то из них, в котором он нарисовал трагическую картину отступления из Смоленской области и в котором имеются такие строки:

Как будто за каждую русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.
Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Или еще более знаменитое «Жди меня»:

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет...
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди и с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет — повезло!
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

С момента его опубликования осенью 1941 года и в течение всего 1942 года это было самое популярное в Советском Союзе стихотворение, которое миллионы женщин повторяли про себя, точно молитву.

Тем, кто не был в СССР в то время, трудно понять спустя столько лет, как много значили такие стихи буквально для миллионов русских женщин. Никто не может сказать, сколько сотен тысяч мужчин погибло на фронте, попало в плен, пропало без вести после 22 июня 1941 года.

Почти столь же важную роль играли другие поэты и писатели. Например, глубоко взволновала читателей поэма Маргариты Алигер «Зоя» о повешенной под Москвой девушке-партизанке; эта поэма была переделана в пьесу. Она рисует сновидения девушки в ночь перед казнью, после пыток, которым ее подвергли немцы. Большое значение имела и поэзия Суркова, например написанное им в 1941 году стихотворение в прозе «Клятва воина»; заканчивавшееся такими словами:

«Слезы женщин и детей кипят в моем сердце. За эти слезы своей волчьей кровью ответят мне убийца Гитлер и его орды, ибо ненависть мстителя беспощадна».

Огромнейшее влияние на настроения людей оказывали статьи Эренбурга в «Правде» и «Красной звезде» — яркие, блестящие филиппики против немцев, пользовавшиеся колоссальной популярностью в армии...

Ленинград: личные впечатления

Когда в сентябре 1943 года я приехал в Ленинград¹, немецкие позиции всё еще проходили в 3 км от Кировского завода, на южной окраине города. Общая численность населения сократилась тогда примерно до 600 тыс. человек, и город — хотя он и был по-прежнему прекра-

¹ Я был единственным иностранным корреспондентом, получившим разрешение посетить Ленинград во время блокады, кроме Генри Шاپиро (корреспондента Юнайтед Пресс), который приехал сюда за несколько дней до меня. Для меня, уроженца Петербурга, проживавшего здесь до 17-летнего возраста, это было особенно волнующим событием.

сен, несмотря на значительные разрушения, причиненные снарядами, бомбами и пожарами,—имел необычный для него полузаброшенный вид. Конечно, это был фронтовой город, и большая часть населения ходила в военной форме. Бомбежки фактически уже прекратились, но город подвергался частому, иной раз исключительно жестокому артиллерийскому обстрелу. Эти обстрелы причинили огромный ущерб домам, особенно в южных, новых районах Ленинграда, и многие жители вспоминали страшные случаи, когда снаряды попадали в очередь на трамвайной остановке или в переполненный трамвайный вагон; несколько подобных случаев имело место всего за несколько дней до моего приезда.

И все же странным образом казалось, что жизнь в городе почти вошла в норму. Большая часть города выглядела покинутой, и все же перед вечером, когда не было обстрела, по «безопасной» стороне Невского проспекта (снаряды обычно ложились на одной его стороне) прогуливались большие толпы людей; здесь даже продавались такие «предметы роскоши», каких в то время нельзя было достать и в Москве, например маленькие флакончики духов ленинградского производства. А в Книжной лавке писателя близ Анничкова моста, на Невском, шла оживленная торговля букинистическими книгами. Миллионы книг в Ленинграде в голодную зиму пошли на топливо, но многие владельцы книг скончались, не успев их сжечь, и сейчас — как это грустно! — можно было иногда по дешевке приобрести настоящие сокровища.

Театры и кино были открыты, хотя всякий раз, как начинался артиллерийский обстрел, они сразу же пустели. На Марсовом поле и в Летнем саду — откуда были вынесены и спрятаны в безопасное место все мраморные скульптуры XVIII века, изображавшие греческих богов и богинь,—теперь выращивали овощи, и несколько человек хлопотало около грядок с капустой и картофелем. Капуста была посажена также вокруг Медного всадника, закрытого мешками с песком.

Когда я прибыл в Ленинград (самолетом, сначала до Тихвина, откуда ночью я уже летел на высоте всего нескольких метров над водой Ладожского озера), мне почти сразу начали рассказывать о голоде. Вот, например, что поведала мне Анна Андреевна, пожилая интеллигентная дама, заботившаяся обо мне в гостинице «Астория».

«Сейчас «Астория» похожа на гостиницу, а поглядели бы вы на нее во время голода! Ее превратили в больницу — настоящий ад. Сюда привозили самых различных людей, большей частью интеллигентов, котсрые умирали от голода. Им давали витамины, старались хоть немножко поддержать. Но многих доставляли уже в безнадежном состоянии, и они умирали почти сразу, как попадали сюда...

Вы себе не представляете, что здесь было. На улице и на лестницах приходилось перешагивать через трупы. Их уже просто не замечали. Сделать было ничего нельзя. Зачастую происходили страшные вещи. Некоторые теряли от голода рассудок. Или прятались где-нибудь в домах умерших и пользовались их продовольственными карточками. Повсюду умирала такая масса людей, что власти не могли уследить за всеми случаями смерти».

На следующий день в Архитектурном институте, где уже трудились над проектами будущих работ по восстановлению поврежденных и разрушенных немцами исторических зданий — таких, как пушкинские и петергофские дворцы, — мне рассказали:

«Мы продолжали работать над этими проектами всю зиму 1941/42 года... Это было для нас, архитекторов, счастьем. Лучшим лекарством, которое могли бы нам дать в голодное время. Какой это огромный моральный стимул для голодающего человека — знать, что у тебя есть полезное дело... Несомненно, рабочие переносят тяготы лучше, чем интеллигенты. Очень многие из них переставали бриться — первый признак того, что человек начал сдавать... Большинство этих людей, когда им давали работу, брали себя в руки. Но в общем мужчины сваливались скорее, чем женщины, и вначале процент смертности был особенно высок именно среди мужчин. Однако те, кто перенес самый ужасный период голода, в конце концов выжили. На женщинах последствия голода сказались сильнее, чем на мужчинах. Многие умерли весной, когда самое худшее было уже позади. В результате голода в организме человека происходили своеобразные явления. Женщины были настолько истощены, что у них прекращались менструации. Умирала такая масса народа, что хоронить приходилось без гробов. У людей притупились все эмоции, и на похоронах почти никто не плакал... Все происходило в полном молчании, без всякого проявления чувств. О том, что дела пошли лучше, можно было судить по женщинам,

начавшим подкрашивать свои бледные, изможденные лица и употреблять губную помаду. Да, мы действительно прошли сквозь ад, но вам надо было бы быть здесь в тот день, когда блокада была прорвана: люди на улице плакали от радости, незнакомые бросались друг другу на шею».

Из этого посещения Ленинграда я вынес бесчисленное множество впечатлений о человеческих страданиях и человеческой способности к долготерпению. К этому времени фронт вокруг Ленинграда стабилизировался, и Ленинград, хотя и находился еще в окружении, с верой следил за отступлением немцев на большей части советско-германского фронта, ожидая, когда придет его собственная очередь и он будет наконец освобожден. И хотя никакого голода уже не было, большая часть населения все еще переживала жесточайшие трудности; в особенно тяжелых условиях жили, пожалуй, рабочие и работницы Кировского завода, который находился почти на линии фронта. Здесь и еще на одном крупном заводе мне не только показали, как люди жили в это время, но и рассказали, какой была жизнь людей во время голода. Опишу сначала мое посещение большого завода, выпускавшего оптические приборы.

Почти все небольшие деревянные строения были здесь разобраны в прошлые две зимы на дрова. Завод размещался в большом корпусе, наружные кирпичные стены которого были испещрены следами от осколков снарядов. Директор завода Семенов, человек с суровым, энергичным лицом, одетый в скромный китель защитного цвета, с медалью «За оборону Ленинграда» и орденом Ленина на груди, по внешнему виду и манере говорить был типичным советским администратором. В кабинете у него были собраны образцы продукции, выпускавшейся теперь заводом, — штыки, детонаторы и большие оптические линзы.

Семенов сообщил мне, что его завод — крупнейшее в Советском Союзе предприятие по производству оптических приборов... «Но в первые дни войны, — сказал он, — основная часть нашего оборудования была эвакуирована на восток, поскольку завод считается одним из главных оборонных предприятий, и рисковать им было нельзя. В начале тысяча девятьсот сорок второго года мы провели вторую эвакуацию, и квалифицированные рабочие, которые не уехали в прошлый раз, то есть кто еще оставался в живых, были вывезены теперь.

Уже в первые недели войны, когда большая часть нашего оборудования и квалифицированных рабочих была эвакуирована, мы начали работать здесь на совершенно новой основе, то есть исключительно на нужды Ленинградского фронта, и нам пришлось делать то, что позволяло оставшееся оборудование, а его было немного. Наши рабочие не имели опыта такой работы. Но и в этих условиях мы начали производить то, в чем больше всего нуждались солдаты. Ленинград имеет богатые промышленные традиции, большую промышленную культуру, и наши ручные гранаты и детонаторы для противотанковых мин оказались лучшими из всех, какие производились в стране. Мы выпустили их сотни тысяч... На протяжении всей блокады мы занимались также ремонтом стрелкового оружия, винтовок и пулеметов, а сейчас снова производим оптические приборы, в том числе перископы для подводных лодок. Ведь наш Балтийский флот, как вам известно, не бездействует...»

Я попросил Семенова рассказать мне о жизни на заводе во время голодной блокады. Директор помолчал немного... «Откровенно говоря,— начал он,— не люблю я говорить об этом. Воспоминания очень горькие... К началу блокады половина наших людей была эвакуирована или ушла в армию, так что осталось у нас лишь около пяти тысяч человек. Должен признаться, вначале трудно было привыкнуть к бомбежкам, и если кто скажет вам, что не боится их, не верьте! И все же, хотя бомбежки пугали людей, они вместе с тем разжигали в них яростный гнев против немцев. Когда в октябре тысяча девятьсот сорок первого года начались массированные бомбежки города, наши рабочие отстаивали завод, как не отстаивали собственных домов. В одну из ночей только на территорию нашего завода было сброшено триста зажигательных бомб. Наши люди гасили их с какой-то сосредоточенной злостью и яростью. Они поняли тогда, что находятся на передовой,— и этого было достаточно. Никаких больше убежищ. В убежища отводили только малых детей да старых бабушек. А позже, в декабре, в двадцатиградусный мороз взрывом бомбы у нас выбило все стекла в окнах, и я подумал: «Больше мы действительно не сможем работать. Во всяком случае, до весны. Мы не можем работать при таком холоде, без света, без воды и почти без пищи». И все же каким-то образом мы не прекратили работу. Какой-то инстинкт подсказывал, что мы не должны ее пре-

кращать, что это было бы хуже, чем самоубийство, что это походило бы на измену. И действительно, не прошло и полутора суток, как мы снова работали, работали прямо-таки в адских условиях: в цехах восемь градусов ниже нуля, а в кабинете, где вы сейчас сидите, четырнадцать градусов мороза. Было у нас какое-то подобие печей — маленькие печки, согревавшие воздух в радиусе одного метра. Но все же наши люди работали. И учтите, они были голодны, страшно голодны...»

Семенов помолчал минуту, нахмурившись. «Да,— сказал он,— я еще и сегодня никак этого не пойму, никак не пойму, откуда бралась эта сила воли, эта твердость духа. Многие, едва держась на ногах от голода, ежедневно тащились на завод, делая пешком по восемь, десять, двенадцать километров. Трамваев-то ведь не было. Мы прибегали ко всевозможным средствам; чего только мы не делали, чтобы работа не прекращалась,— когда не было тока, мы пристраивали велосипедный механизм и ногами вращали станок.

Почему-то люди знали, когда они умрут. Помню, один из пожилых рабочих, шатаясь, вошел в мой кабинет и сказал мне: «Товарищ начальник, у меня к вам просьба. Я один из старых рабочих завода, и вы всегда были мне хорошим другом. Я знаю, вы не откажете мне. Больше я никогда вас не побеспокою. Не сегодня-завтра я умру, я знаю это. Семья моя в очень тяжелом положении, все очень слабы, самим им не справиться с похоронами. Будьте другом, закажите для меня гроб и пошлите семье, чтобы не пришлось им вдобавок ко всему хлопотать еще и о гробе, вы же знаете, как трудно его достать!» Это случилось в один из самых черных для нас дней декабря или января. И такие вещи происходили изо дня в день. Многие рабочие заходили в этот кабинет и говорили: «Товарищ директор, сегодня или завтра я умру!» Мы отправляли их в заводскую больницу, но они всегда умирали. Люди ели все, что было возможно и невозможно съесть. Они ели жмыхи и минеральные масла (обычно мы их сперва кипятили), столлярный клей. Люди пытались поддержать себя горячей водой и дрожжами. Из пяти тысяч оставшихся рабочих умерло несколько сот. Многие из них скончались прямо здесь... Многие, с трудом дотащившись до завода, шатаясь, входили в ворота, падали и умирали... Повсюду лежали трупы. Но некоторые умирали у себя дома, умирали вместе с семьей и в таких обстоятельствах нам

трудно было узнать что-то определенное... транспорт ведь не работал, а послать кого-нибудь на дом справиться мы часто не могли. Так продолжалось примерно до пятнадцатого февраля. После этого нормы увеличили, и умирающих стало меньше. Мне больно сейчас рассказывать обо всем этом...»

Ярче всего запечатлелись в моей памяти часы, проведенные в сентябре 1943 года на огромном Кировском заводе; работа там продолжалась даже под почти непрерывным артиллерийским обстрелом с немецких позиций, расположенных всего в трех километрах отсюда. Мне потому так хорошо запомнилось это посещение, что именно здесь в 1943 году можно было составить представление о самых мрачных и суровых днях Ленинграда; для кировцев эти дни не отошли в прошлое, они по-прежнему жили здесь как в аду. И тем не менее они считали, что быть рабочими Кировского завода и продержаться до конца — дело их чести. Здешние рабочие не были солдатами — 69% рабочих состояло из женщин и девушек, большей частью совсем молоденьких. Они знали, что здесь так же тяжело, как на фронте; в известном смысле даже тяжелее — здесь людям не дано было испытать того чувства удовлетворения, какое вызывает возможность своими руками нанести врагу прямой ответный удар. В поведении кировцев многое было от великих революционных традиций Путиловского завода, как назывался раньше Кировский завод.

Накануне в детском доме отдыха на Каменном острове я разговаривал с одной девчуркой, по имени Тамара Туранова.

Это была девочка лет пятнадцати, очень бледная, худенькая, явно истощенная. К ее черному платьицу была прикреплена на зеленой ленточке медаль «За оборону Ленинграда».

«Где ты ее получила?» — спросил я. По ее бледному личику скользнула слабая улыбка. «Я не знаю, как его зовут, — сказала она. — Однажды на завод пришел какой-то дяденька в очках и дал мне эту медаль». — «На какой завод?» — «На Кировский, конечно», — удивилась она. «А твой отец тоже там работает?» — «Нет, — отвечала Тамара, — отец умер в голодный год, он умер седьмого января. Я работаю на Кировском заводе с четырнадцати лет, наверное, потому мне и дали эту медаль.

Мы ведь находимся недалеко от фронта». — «А тебе не страшно там работать?» — На ее личике появилась гримаса. «Да нет, к этому привыкаешь. Когда снаряд свистит, значит, он летит высоко. Вот когда он начинает шипеть, так и знай — жди беды. Конечно, бывают несчастья, и очень часто; иногда каждый день. Вот на прошлой неделе у нас был такой случай: снаряд попал в наш цех, и многих ранило, а две девушки-стахановки сгорели заживо». Девочка рассказывала об этом с ужа-сающей простотой, как будто если бы не погибли эти две девушки-стахановки, то все было бы не так уж серьезно. «А тебе не хотелось бы перейти на другой завод?» — спросил я. «Нет, — ответила она, покачав головой. — Я кировка, и мой отец был путиловцем, да ведь самое тяжелое теперь позади, так уж лучше оставаться здесь до конца».

Чувствовалось, что она говорит вполне искренне, хотя можно было очень ясно представить себе, какое невероятное нервное напряжение пришлось пережить этому хрупкому существу. «А твоя мама?» — спросил я. «Она умерла до войны, — сказала девочка. — Но мой старший брат в армии, на Ленинградском фронте, и он часто, очень часто пишет мне письма, а месяца три назад он приходил к нам на Кировский завод с несколькими товарищами». При этом воспоминании личико ее просияло, и, посмотрев из окна дома отдыха на золотые осенние деревья, она заметила: «А знаете, как приятно пожить здесь немного».

На следующий день, проехав по Петергофской дороге через сильно разрушенные южные окраины Ленинграда, где на том берегу маленькой бухты, образуемой Финским заливом возле Урицка, тянулись немецкие позиции, я прибыл на Кировский завод. Здесь меня встретил директор завода Пузырев, сравнительно молодой еще человек с энергичным, но изможденным заботами лицом...

«Вы видите, конечно, — сказал он, — что мы сейчас работаем в необычной обстановке. Это совсем не то, что было Кировским заводом в нормальных условиях... До войны у нас было свыше тридцати тысяч рабочих; сейчас же осталась лишь небольшая часть... причем шестьдесят девять процентов наших рабочих — женщины. До войны у нас почти не было женщин. Тогда мы выпускали турбины, танки, орудия; мы делали тракторы, поставили большую часть необходимого оборудования

для строительства канала Москва — Волга. Мы делали много механизмов для военно-морского флота... До того как разразилась эта война, мы начали широкое производство танков, а также двигателей для танков и моторов для самолетов. Практически все основное производство переведено на восток. Сейчас мы ремонтируем дизели и танки, но основная наша продукция — боеприпасы и стрелковое оружие...»

Пузырев вспомнил затем о первых военных днях на Кировском заводе. Это был рассказ о борьбе не на жизнь, а на смерть, типичный для населения и рабочих Ленинграда. Все как один человек встали они против немецких захватчиков, но наивысшей точки их готовность к самопожертвованию достигла, когда 21 августа Ворошилов, Жданов и Попков обратились к ним со словами: «Ленинград в опасности».

«Рабочие Кировского завода, — сказал Пузырев, — имели броню, и почти никто из них не подлежал мобилизации. Тем не менее как только немцы вторглись в нашу страну, все без исключения рабочие выразили желание пойти на фронт добровольцами. Если бы мы хотели, то могли бы послать на фронт двадцать пять тысяч человек, но отпустили мы только девять или десять тысяч. Уже в июне 1941 года из них была сформирована дивизия, которая позже стала знаменитой Кировской дивизией. Хотя до войны наши рабочие и получили некоторую военную подготовку, их нельзя было считать полностью обученными солдатами, но их боевой порыв и мужество были колоссальны. Они носили красноармейское обмундирование, но фактически были ополченцами, разве только были лучше подготовлены, чем другие ополчения. В Ленинграде было сформировано несколько таких дивизий... и многие десятки тысяч рабочих пошли отсюда навстречу врагу, чтобы остановить его любой ценой. Они сражались в Луге, Новгороде и Пушкине и, наконец, в Урицке, где после одного из таких самых ожесточенных арьергардных боев нашим людям удалось остановить немцев как раз в самый последний момент... Бой, завязанный здесь нашей рабочей дивизией вместе с ленинградцами, которые вышли из города, чтобы задержать врага, был подлинно решающим... Не секрет, что значительная часть воевавших в рабочих дивизиях так и не вернулась обратно...»

Чувствовалось, что в глубине души Пузырев сожалеет о том, что пришлось пожертвовать в боях такими

прекрасными промышленными кадрами; однако в 1941 году, когда судьба как Москвы, так и Ленинграда висела на волоске, об этом думать не приходилось, и все же Пузырев был рад тому, что когда самое худшее осталось позади, многих из тех, кто не погиб, отозвали из армии и направили обратно в промышленность.

Затем он рассказал об эвакуации Кировского завода. До того как немецкое кольцо сомкнулось, успели эвакуировать только один полностью оборудованный цех — 525 станков и 2500 рабочих. Но до весны ничего отправить на восток не смогли.

«Однако наших самых высококвалифицированных рабочих, которые так нужны были в Сибири и на Урале, вместе с семьями перебросили туда по воздуху. Их отправляли самолетами в Тихвин, а после того как Тихвин пал, нам пришлось доставлять людей на другие аэродромы, откуда они шли, нередко многие десятки километров, до ближайшей железнодорожной станции пешком, по глубокому снегу, в самый разгар суровой зимы... Уже в первой половине зимы на Урал прибыло огромное количество оборудования из Харькова, Киева и других мест, а также некоторое оборудование из Москвы, и наши квалифицированные рабочие были крайне нужны, чтобы организовать работу и наладить производство. Так, например, в Челябинске никогда до этого не выпускали танков, и от наших специалистов требовалось начать там массовое производство танков в самый кратчайший срок... Это был наиболее критический для нас переходный период, когда промышленность в наших западных районах уже перестала работать, а в восточных районах еще не начинала... Люди, выехавшие отсюда в октябре, уже к декабрю работали всюду на новом месте, в двух тысячах километров от дома... А в каких условиях все это было сделано! Поезда с оборудованием подвергались налетам с воздуха, совершались нападения и на транспортные самолеты, вывозившие из Ленинграда квалифицированных рабочих и их семьи. К счастью, процент сбитых транспортных самолетов был невелик. Однако лететь приходилось в большинстве случаев ночью, в очень трудных условиях...»

Рассказ Пузырева о жизни Кировского завода в самые тяжелые месяцы голодной блокады имел много общего с рассказом директора завода оптических приборов Семенова.

Завод практически прекратил свою работу 15 декабря. Не было ни топлива, ни электроэнергии, ни воды. В таком ужасном положении он оставался вплоть до 1 апреля, когда рабочие смогли начать сколько-нибудь регулярный выпуск продукции. «Но даже и в самый тяжелый голодный период,— говорил мне Пузырев,— мы делали что только могли... Мы ремонтировали орудия, и паш литейный цех не переставал работать, хотя давал очень незначительную продукцию. Казалось, что мощный Кировский завод превратился в деревенскую кузницу...

Как я уже говорил, не было ни воды, ни электричества. У нас был только маленький насос, качавший воду из залива. Другого водоснабжения у нас не было. В течение всей зимы—с декабря по март—весь Ленинград тушил зажигательные бомбы снегом... За это время произошел только один большой пожар, когда горел Гостиный двор. У нас, на Кировском заводе, не сгорел ни один цех.

Люди настолько ослабли от голода, что нам пришлось создать общежития, чтобы они могли жить здесь. Тем, кто жил дома, мы разрешили приходить на завод только два раза в неделю... В конце ноября пришлось созвать общее собрание, чтобы объявить о сокращении хлебных норм с четырехсот до двухсотпятидесяти граммов для рабочих и до ста двадцати пяти граммов для остальных, в то время как других продуктов почти не было. Люди восприняли это сообщение спокойно, хотя для многих оно было равнозначно смертному приговору...»

Затем Пузырев рассказал, что солдаты на Ленинградском фронте просили уменьшить им пайки, чтобы можно было не сокращать так сильно нормы гражданского населения Ленинграда. Однако Верховное Главнокомандование решило, что войска получают лишь самый минимум, позволяющий им держаться, а этот минимум состоял из 350 граммов хлеба и очень незначительного количества других продуктов.

«Мы пытались поддерживать людей с помощью своего рода супа, приготовленного из дрожжей, куда добавлялось немного соли. Это было, по правде говоря, лишь немногим лучше, чем горячая вода, но создавало у людей иллюзию, что они что-то «съели»... Очень много наших рабочих умерло. Поскольку с транспортом было очень трудно, мы решили устроить клад-

бище прямо на месте... И все же, хотя люди и умирали с голоду, не было ни одного серьезного происшествия».

К 1943 году проблема продовольствия уже перестала быть в Ленинграде самой главной. Тем не менее немецкие позиции по-прежнему были расположены всего в 3 км от Кировского завода; он и теперь находился под непрерывным обстрелом.

«Как вы вообще можете работать под сильным обстрелом?—спросил я.—Бывают ли у вас потери? И как ваши люди воспринимают все это?» — «Видимо,—ответил он,—дело, так сказать, в кировском патриотизме. Если не считать одного-двух очень больных рабочих, я еще не встречал человека, который хотел бы от нас уйти...»

Пузырев открыл один из ящиков письменного стола и вытащил пачку писем с почтовыми марками; их было штук сорок—шестьдесят. Это были письма от эвакуированных ленинградских рабочих, они просили разрешить им вернуться в Ленинград—одним или с семьями.

«Они знают, в каких трудных условиях мы здесь живем,—сказал он,—но знают также, что продовольственной проблемы у нас уже больше не возникает. Однако мы не можем согласиться на их возвращение. Эти квалифицированные рабочие-кировцы делают там важное дело, здесь же у нас не так уж много оборудования, и мы представляем собой своего рода аварийную военную мастерскую. Не так как в Колпино, около пятнадцати километров отсюда, где боеприпасы изготавлиются в подземных литейных, прямо на линии фронта...

Чтобы завод мог продолжать работу,—сказал он далее,—надо было децентрализовать его. Мы разбили производственный процесс на небольшие звенья, в каждом цехе все станки и люди сосредоточены в каком-то одном его углу, который, насколько это возможно, защищен от взрывных волн и осколков. Однако несчастья—или, скорее, некоторый нормальный процент потерь—все же случаются. В этом месяце—а это был сравнительно хороший месяц—мы потеряли сорок три человека—тринадцать убитыми, двадцать три ранеными и семь контужеными.

Вы спрашиваете, как люди воспринимают все это? Ну, я не знаю, приходилось ли вам находиться длительное время под артиллерийским обстрелом. Но если кто-

нибуть скажет вам, что это не страшно, прошу вас, не верьте. Могу сказать, если человек присутствовал при прямом попадании в цех, он потом сутки или двое находится в подавленном состоянии и производительность труда в цехе в это время резко падает, а бывает даже, что работа почти полностью останавливается, особенно если было убито или ранено много людей. Это ужасное зрелище — вся эта кровь, и даже самые закаленные наши рабочие чувствуют себя совершенно больными один-два дня после этого... Но потом они снова принимаются за дело и стараются наверстать время, упущенное в результате, как у нас говорят, «несчастливого случая». Тем не менее я вполне отдаю себе отчет, что работа на нашем заводе — это постоянное моральное напряжение, и когда я вижу, что кто-то из мужчин или девушек доходит до точки, я посылаю их на пару недель или месяц в дом отдыха...»

Позднее Пузырев показал мне некоторые цехи. День выдался спокойным, немцы почти не стреляли. Огромный завод, как я теперь заметил, был разрушен гораздо больше, чем можно было судить по его внешнему виду с улицы. На большой площадке, окруженной сильно поврежденными зданиями, возвышался огромный блокгауз... Бетонные стены его были в 30 см толщиной, а крыша была сделана из мощных стальных балок. «Этот не боится ничего, кроме прямого попадания крупного снаряда, да и то с близкого расстояния, — произнес Пузырев. — Мы выстроили его в самые тяжелые дни, когда думали, что немцам удастся прорваться к Ленинграду. Они обнаружили бы, что Кировский завод — крепкий орешек. На территории завода много таких вот дотов...»

Потом мы зашли в один из кузнечных цехов. В одном его конце было совсем темно, другая же половина, отделенная от первой толстой кирпичной перегородкой, освещалась пламенем, пылавшим в открытых печах с раскаленными докрасна стенками. В отблесках красного света двигались темные фигуры людей, главным образом девушек. В штопанных бумажных чулках на худых ногах, они сгибались под тяжестью огромных кусков раскаленной докрасна стали, которые они сжимали щипцами. Видно было, какого отчаянного напряжения мускулов и силы воли требовала эта работа. Затем они поднимали тонкие, почти детские руки и бросали раскаленные куски под гигантский стальной молот.

Большие огненные искры с шипением прорезали багровую полутьму, и весь цех сотрясся от оглушительного грохота. Мы несколько минут молча наблюдали эту сцену, а затем Пузырев сказал чуть ли не извиняющимся тоном, пытаясь перекрычать грохот: «Работа в этом цехе еще не совсем налажена. На днях сюда попало несколько снарядов», — и, показывая на большую яму в полу, заполненную теперь песком и цементом, пояснил: «Один упал вот здесь». — «Убитые были?» — «Были».

Мы прошли через цех, чтобы лучше увидеть, что делают девушки. Когда мы выходили, в красных отблесках пламени я заметил лицо женщины — оно было сурово. Она выглядела немолодой и напоминала зловещую старую цыганку. На строгом лице светились два темных глаза. Что-то трагическое было в этих глазах... Сколько ей было лет? Пятьдесят, сорок, а может быть, только двадцать пять? Я видел лица еще некоторых девушек — они выглядели вполне нормально. Одна из них, совсем девочка, даже улыбалась. Да, они выглядели нормально — разве только в них чувствовалась какая-то внутренняя сосредоточенность, как будто у всех были какие-то тяжелые воспоминания, от которых они никак не могли отделаться...

Другое незабываемое воспоминание оставило у меня посещение средней школы на Тамбовской улице, в новой части города, расположенной в четырех-пяти километрах от фронта и подвергавшейся усиленному обстрелу. Руководил школой пожилой человек, некто Тихомиров, заслуженный учитель РСФСР, начавший свою педагогическую деятельность еще в 1907 году учителем начальной школы. Эта школа была одной из немногих, не закрывавшихся даже в самые голодные дни. Она четырежды тяжело пострадала от немецких снарядов, однако школьники убрали стекла, заложили кирпичом разрушенные стены, а окна заделали фанерой. Во время последнего обстрела, в мае, одна учительница была убита прямо на школьном дворе.

Ученики школы были типичными ленинградскими детьми; у восьмидесяти пяти процентов этих ребят отцы все еще сражались на Ленинградском фронте, или были уже убиты там, или, наконец, умерли в голодном Ленинграде, а матери почти у всех — если они еще были живы — работали на ленинградских заводах, на транспорте, на лесозаготовках или в группах гражданской обороны. Все ребята страстно ненавидели немецких

фашистов и теперь уже были твердо уверены, что эти «сволочи» не войдут в Ленинград и будут уничтожены в самом недалеком будущем. К Англии и к Америке они относились со смешанными чувствами: они знали, что Лондон подвергался воздушным налетам, что английская авиация «задавала фрицам жару», что американцы снабжали Красную Армию массой грузовиков и что они, ребята, получали в своем пайке американский шоколад; «второго фронта все еще не было».

Директор школы Тихомиров рассказал мне о том, как они «выдержали это время, и выдержали довольно хорошо. У нас не было дров, но Ленсовет отдал нам небольшой деревянный дом неподалеку отсюда, чтобы мы разобрали его на дрова. Бомбежки и обстрелы были в те дни очень жестокими. У нас тогда было около ста двадцати учеников — мальчиков и девочек, — и заниматься нам приходилось в убежище. Мы ни на один день не прерывали занятий. Было очень холодно. Маленькие печурки нагревали воздух как следует только в радиусе полуметра, а в остальной части убежища температура держалась ниже нуля. Единственным нашим освещением была керосиновая лампа. Однако мы продолжали заниматься, и ребята относились к урокам настолько серьезно и ревностно, что результаты учебного года оказались лучше, чем в любом другом году. Это удивительно, но это так. Мы обеспечивали ребят едой — армия помогала нам кормить их. Несколько учителей умерло, но я с гордостью могу заявить, что все оставшиеся на нашем попечении дети выжили. Только очень уж тяжело было на них смотреть в те голодные месяцы. К концу тысяча девятьсот сорок первого года они уже почти перестали походить на детей. Они стали странно молчаливыми... Они не ходили по комнате; они просто сидели, но ни один из них не умер; умерли только некоторые из учеников — те, кто прекратил ходить в школу и оставался дома; зачастую они умирали вместе со всей семьей...»

Тихомиров показал мне затем удивительный документ. «Наш блокадный альбом», — сказал он. Здесь было собрано множество детских сочинений, написанных во время голода, и много других материалов. На небольших листках переплетенного в пурпурный бархат альбома были напечатаны на машинке наиболее показательные сочинения, написанные в голодные годы; печатный текст окружали рисунки акварелью, довольно обычные

для детей, — изображения солдат, танков, самолетов и т. д. Одна девочка писала в своем сочинении:

«До 22 июня у всех была работа и обеспеченная жизнь. В тот день мы поехали на экскурсию на Кировские острова. С залива дул свежий ветер и доносил обрывки песни «Широка страна моя родная», которую пели невдалеке какие-то ребята. А потом враг стал подходить все ближе и ближе к нашему городу. Мы ездили рыть большие рвы. Это было трудно, потому что многие ребята не привыкли к такому тяжелому физическому труду. Немецкий генерал фон Лееб уже облизывался при мысли о роскошном обеде, который ему подадут в «Астории». Теперь мы сидим в убежище вокруг печурок, в зимних пальто, меховых шапках и варежках. Мы вязали вещи для наших солдат и разносили по адресам их письма к друзьям и родным. Мы также собирали лом цветных металлов для сдачи в утиль...»

Старшеклассница, 16-летняя Валентина Соловьева, писала:

«22 июня! Как много значит сегодня для нас эта дата! Но тогда казалось, что это обычный летний день... Вскоре помещение домового комитета заполнили женщины, девушки, дети, которые пришли сюда, чтобы записаться в отряды противовоздушной обороны, в противопожарные и противохимические группы... К сентябрю город был окружен. Подвоз продовольствия прекратился. Ушли последние поезда с эвакуированными. Жители Ленинграда потуже затянули пояса. Улицы оцетинились баррикадами и противотанковыми ежами. Вокруг города начала расти целая сеть блиндажей и огневых точек.

Сейчас, как и в 1919 году, возник решающий вопрос: «Останется Ленинград советским городом или нет?» Ленинград был в опасности. Но рабочие как один человек поднялись на его защиту. По улицам грохотали танки. Люди повсюду вступали в народное ополчение... Приближалась холодная, страшная зима. Одновременно с бомбами вражеские самолеты сбрасывали листовки. В них говорилось, что Ленинград сровняют с землей, что все мы умрем с голоду. Немцы думали, что запугают нас, но они только вселили в нас новые силы... Ленинград не впустил врага в свои ворота! Город голо-

дал, но жил и работал и продолжал посылать на фронт все новых своих сыновей и дочерей. Едва держась на ногах от голода, наши рабочие шли на свои заводы под вой сирен воздушной тревоги...»

А вот отрывок из другого сочинения — о том, как школьники рыли траншеи, когда немцы приближались к Ленинграду:

«В августе мы проработали двадцать пять дней на рытье траншей. Нас обстреливали из пулеметов, и нескольких школьников убило, но мы продолжали копать, хотя и не привыкли к такой работе. И траншеи, которые мы вырыли, остановили немцев...»

Еще одна — шестнадцатилетняя девушка Люба Терещенкова — описывала занятия в школе, не прекращавшиеся даже в самое тяжелое время блокады:

«В январе и феврале к блокаде добавились еще страшные морозы, которые были Гитлеру на руку. Наши занятия продолжались по принципу «вокруг печки». Однако места здесь заранее не распределялись, и если вы хотели получить место поближе к печке или под печной трубой, нужно было приходить в школу пораньше. Место перед печной дверкой оставалось для учителя. Вы усаживались, и вдруг вас охватывало ощущение необычайного блаженства: тепло проникало сквозь кожу и доходило до самых костей; вы начинали чувствовать слабость и вялость; ни о чем не хотелось думать, только дремать и вбирать в себя тепло. Встать и идти к доске было мукой... У доски было так холодно и темно, и рука ваша, стесненная тяжелой перчаткой, немела и коченела, отказываясь подчиняться. Мел то и дело выскальзывал из пальцев, строки на доске кривились... К началу третьего урока топливо было на исходе... Печь остывала, и из трубы шла струя ледяного воздуха. Становилось страшно и холодно. И вот тогда-то можно было увидеть, как Вася Пугин с хитрым выражением лица, крадучись, выходил из класса и возвращался с несколькими поленьями дров из неприкосновенных запасов Анны Ивановны. Несколько минут спустя мы снова слышали чудесное потрескивание огня в печке... Во время перемен никто не вскакивал с места, потому что никто не хотел выходить в ледяной коридор».

А вот еще отрывок из одного сочинения:

«Пришла зима, яростная и беспощадная. Водопроводные трубы замерзли, не было электрического света, и трамваи перестали ходить. Чтобы вовремя попасть в школу, мне приходилось каждое утро вставать очень рано, потому что я живу в пригороде. Особенно трудно было добираться до школы после метели, когда снег заносил все дороги и тропинки. Но я твердо решил закончить учебный год... Однажды, после того как я простоял шесть часов в очереди за хлебом (в тот день мне пришлось пропустить школу, потому что я не получал хлеба в течение двух дней), я простудился и заболел. Никогда еще я не чувствовал себя таким несчастным, как в эти дни. И не оттого, что мне физически было плохо, а потому, что я нуждался в моральной поддержке моих школьных товарищей, в их подбадривающих шутках...»

Никто из детей, продолжавших посещать школу, не умер. Умерло, однако, много учителей. Последний раздел блокадного альбома, которому предшествовал титульный лист с изображением украшенной лентами погребальной урны, нарисованной акварелью фиолетового цвета, был написан Тихомировым, директором школы. Этот раздел состоял из ряда некрологов, посвященных учителям, либо убитым на войне, либо умершим от голода. Заместитель директора был «убит в бою». Другой учитель был «убит под Кингисеппом», в том жестоком бою под Кингисеппом, где немцы прорвались к Ленинграду из Эстонии. Преподаватель математики «умер от голода». Учитель географии тоже. Учитель литературы Немиров «стал одной из жертв блокады», а Акимов, преподаватель истории, «умер от недоедания и истощения», несмотря на длительный отдых в санатории, куда был отправлен в январе. О другом учителе Тихомиров написал: «Он добросовестно работал, пока не почувствовал, что не может больше ходить. Тогда он попросил несколько дней отпуска, надеясь, что силы к нему вернуться. Он оставался дома, готовясь к занятиям во втором полугодии. Он продолжал читать книги. Так он провел день 8 января. 9 января он тихо скончался». Какая человеческая трагедия скрывалась за этими простыми словами!

Я рассказал об обстановке в Ленинграде, какой я нашел ее в сентябре 1943 года, когда город все еще подвергался частым и нередко сильным артиллерийским обстрелам. Обстрелы продолжались до конца года, и только в январе 1944 года страдания Ленинграда наконец кончились. В течение нескольких предшествовавших недель крупные силы советских войск были скрытно, под покровом ночи переброшены к Ораниенбаумскому плацдарму на южном побережье Финского залива. Эти силы, которыми командовал генерал Федюнинский, двинулись к Ропше, где им предстояло соединиться с войсками Ленинградского фронта, пробивавшимися в юго-западном направлении. В первый день этого советского наступления было выпущено с целью сокрушить немецкие укрепления не менее 500 тыс. снарядов. Примерно в это же время пришли в движение и войска Волховского фронта, а через несколько дней немцы уже бежали на всем протяжении фронта от Пскова до Эстонии. 27 января 1944 года было официально объявлено о конце блокады.

Все знаменитые исторические дворцы вокруг Ленинграда — в Павловске, Царском Селе и Петергофе — лежали в развалинах.

Сталинград: личные впечатления

К 1 января 1943 года немцы, оказавшиеся в Сталинградском «котле» — овале, простиравшемся примерно на 70 км с запада на восток и на 22 км с севера на юг, — уже более полутора месяцев находились почти в полной изоляции от внешнего мира, если не считать того, что время от времени к ним пробивались транспортные самолеты. К 24 декабря всякая надежда на то, что их спасет группа «Гот» под командованием Манштейна, окончательно рухнула.

В первой половине января мне представилась возможность вместе с несколькими другими корреспондентами совершить поездку по той удивительной дороге, что шла на востоке от Волги и на протяжении многих месяцев служила единственным путем подвоза припасов для советских войск, оборонявших Сталинград. По этой же дороге в октябре и ноябре перебрасывались войска, вооружение и продовольствие в район к югу от Сталин-

града, откуда 20 ноября начали свое наступление войска Сталинградского фронта.

Мы выехали из Москвы утром 3 января 1943 года в старомодном дореволюционного выпуска спальном вагоне, который прицепили к поезду Москва — Саратов.

То, что мы путешествовали в таких сравнительно роскошных условиях, не было в Советском Союзе чем-то неслыханным даже в 1942—1943 годах; кроме нас в спальном вагоне были и другие пассажиры: ответственные служащие, следовавшие с какими-то специальными заданиями, офицеры в чине полковника и выше и другие. Никакого вагона-ресторана в поезде, конечно, не было, и мы вынуждены были довольствоваться «сухим пайком», запивая его чаем из самовара нашего добродушного старого проводника. Поезд, кроме нашего вагона, состоял из жестких вагонов, до отказа забитых пассажирами, в основном солдатами. Так как все окна были закрыты, стояла ужасающая жара.

В тот день, когда мы уезжали из Москвы, была оттепель, стоял туман; с сосулечек за окном вагона капало. Проехали Каширу с ее сожженными домами, свидетельством немецкого наступления на Москву год назад; эти мрачные дни теперь казались очень далекими. После окружения немцев в Сталинграде все понимали, что ничего похожего уже не может повториться...

В Саратове, куда мы прибыли утром 5 января, было солнечно и очень холодно — минус 25° по Цельсию. Все было покрыто снегом. Саратов с его красивыми широкими улицами являл собой картину необычайного процветания. Из Москвы, Ленинграда и других мест сюда было эвакуировано множество важнейших учебных заведений, так что городу даже присвоили шутливое название «Профессаратов»... Театры (в том числе опера) и несколько кино работали вовсю. Мы плотно пообедали в клубе железнодорожников...

Вечером наш вагон прицепили к товарному поезду. Уже стемнело, и можно было разглядеть только бесчисленное количество всяких составов на самой станции Саратов и вокруг нее: видно было, как велико значение этого железнодорожного узла... По большому счету мы переехали через Волгу...

Утром Москва уже казалась нам очень далекой. Поезд всю ночь шел с небольшой скоростью, и мы ехали

теперь по бесконечным безводным степям Заволжья. Снегу было очень мало, и сквозь него пробивались пучки коричневой травы. Мы только что проехали мимо разбитых железнодорожных вагонов; у запасного пути лежал колесами вверх еще один вагон, уже успевший покрыться ржавчиной. На маленькой станции я разговорился с несколькими железнодорожниками. Один из них был пожилой мужчина из Томска, суровый сибиряк с седоватыми усами и морщинистым лицом. «Сталинград,— сказал он,— вон там, не очень далеко, километров сто отсюда. Да, в октябре горячо нам было. И не сосчитать, сколько раз нас бомбили — без конца! Видите?— спросил он, указывая на опрокинутый вагон.— Этот поезд вел я. Им в тот день везло. В мой поезд было три прямых попадания. Остались целы только паровоз и первый вагон, остальные вагоны оторвались и были разбиты». Я взглянул вдоль линии: повсюду валялись обломки вагонов и платформ, а также нескольких грузовиков и бронемашин — наверное, тех, что вез поезд. «Много людей погибло?»— «Тридцать пять железнодорожников и трое солдат,— сказал мой собеседник.— Могилки их вон там»,— добавил он, указав немного восточнее железнодорожной линии. Странно было слышать, что этот суровый сибиряк сказал не «могилы», а ласкательно — «могилки».

К нам присоединился молодой железнодорожник, блондин с голубыми глазами и мягким выговором южанина. «Я работал на этой дороге с начала и до самого конца Сталинградской битвы,— сказал он.— Мы, железнодорожники,— те же солдаты. Все снабжение для Сталинграда шло по этой дороге, так что можете себе представить, какое внимание ей уделяли фрицы. Они разбомбили здесь все вчистую, только одна маленькая халупа уцелела». Неподалеку от железнодорожного полотна виднелись воронки от бомб и груды искореженного металла, но тут же было сложено штабелями много новых рельсов. «Мы разложили запасные рельсы по всей линии,— сказал он,— так что дорога никогда не выходила из строя, если не считать немногих случаев, и то лишь на пару часов. Если учесть, какое движение было на дороге в последние пять месяцев, немцы разбили не так уж много составов».— «Это верно,— заметил сибиряк,— но они доставляли нам много хлопот, сбрасывая бомбы возле самого полотна и нарушая телефонную и телеграфную связь». Молодой железнодорожник улыбнул-

ся. «Что ж, приятно знать, что все это было не напрасно. Фрицы сейчас бегут как зайцы. Страшные моменты бывали, но мы никогда не верили, что немцам удастся добиться своего. Мы видели многих, приезжающих сюда прямо из Сталинграда, и они никогда не теряли надежды...» Сам парень был из Бессарабии. «Когда румыны окружили нашу деревню, я просто чудом спасся. С Красной Армией переправился через Прут. Я знаю, что скоро вернусь в Бессарабию и буду снова пить наше замечательное бессарабское вино. У нас лучше, чем здесь», — сказал он, глядя на безлюдную степь.

Подошел еще один железнодорожник и тоже сказал, что скоро вернется «домой», в Купянск на Украине, недалеко от Харькова. Оказалось, что это наш машинист. Лицо его было покрыто угольной копотью, но белые зубы и розовые десны влажно поблескивали, когда он улыбался, а украинские глаза смеялись.

Наконец поезд тронулся. Мы долго ехали по степи, где не было никаких следов человеческой жизни, если не считать попадавшихся время от времени стогов сена. Потом показались низенькие Г-образные глинобитные лачуги одинакового с землей цвета...

Ленинск, город близ конечного пункта ветки, идущей от Баскунчака, был крайней точкой, куда мы могли добраться по железной дороге. Этот город, километрах в пятидесяти от Сталинграда, на другом берегу Волги, служил главной базой снабжения Сталинграда и всего Сталинградского фронта... Фактически все войска и вся техника, составившие важную часть советских «клещей», были доставлены через этот пункт. В Ленинск же обычно эвакуировали раненых из Сталинграда. Благодаря очень сильному зенитному прикрытию город относительно мало пострадал от бомбежек. Он все еще имел вид старого уездного города. По обеим сторонам широкой главной улицы тянулись кирпичные домики, а переулки были застроены деревянными домами; у многих окна были украшены красивыми резными деревянными наличниками. Старорежимный вид этого тихого провинциального уголка резко контрастировал с современными лозунгами, красовавшимися на всех стенах: «Бойцы Красной Армии! Помните в Сталинграде о вашем долге перед Родиной!», «Прогоним немецких гадов от ворот Сталинграда!», «Слава сталинградцам!» и т. п. В маленьком общественном саду стоял памятник Ленину. На аэродроме, у самого города, было много

аэросаней со знаком Красного Креста для транспортировки раненых.

Пообедали мы в офицерской столовой, где познакомились с двумя хирургами из местного госпиталя. Один из них, маленький живой человечек, проработал в этом транзитном эвакуационном госпитале весь период Сталинградской битвы. «Одна из сквернейших особенностей этой войны,— сказал он,— это то, что процент тяжело-раненых сейчас гораздо выше, чем в любую другую войну. Раньше бывало восемьдесят процентов легко-раненых и двадцать — тяжело, теперь же тяжелые ранения составляют около сорока процентов. Гораздо чаще, чем в прошлую войну, случаются ранения в голову — результат мин и бомб. Такая же картина у немцев — мы это знаем от немецких военных врачей, взятых в плен». Врач рассказал, что большинство немецких и румынских пленных страдают от обморожения. «Они совсем не подготовились к зимним холодам и, видно, на самом деле рассчитывали в сентябре захватить Сталинград и закончить войну! Румыны носят высокие меховые шапки, которые выглядят очень картинно, но они не защищают не только нижнюю часть лица, но даже нижнюю часть ушей. Вместо валяных сапог немцам выдали какие-то смехотворные эрзац-валенки из соломы с деревянными подошвами — они такие неуклюжие, что в них и ходить-то невозможно».

В тот же день мы выехали из Ленинска по ровной лесистой местности в Райгород, что стоит в дельте Волги между узкой рекой Ахтубой и собственно Волгой. К переправам через Волгу напротив Сталинграда и южнее города вело несколько дорог. В тот день движение было очень оживленным. Встречались преимущественно военные грузовики, а изредка крестьянские сани; один раз попались сани, в которые был запряжен верблюд. Видимо, жизнь здесь была сосредоточена в основном в рыбацких деревушках по берегам Волги. Поражали на этих дорогах не только многочисленные щиты со сталинградскими лозунгами, но и огромные надписи: «Траншея», «Пункт обогрева». Все это было частью «дороги жизни». Пункты обогрева представляли собой блиндажи с жарко натопленной печью, расположенные близ дороги, куда солдаты могли пойти обогреться; траншеи же служили для укрытия от бомб во время немецких

воздушных налетов. Вокруг валялось много лошадиных трупов, большей частью уже полуразложившихся, но теперь замерзших. Наш шофер был моложавый человек, находившийся в Одессе во время ее осады и эвакуированный оттуда по морю в последний момент. Было очень страшно, рассказывал он, так как суда подвергались непрерывным налетам немецких пикирующих бомбардировщиков и многие были потоплены.

«Эти дороги я хорошо знаю,— сказал он.— Их все время бомбили. По этим самым дорогам мы доставляли войска и припасы в Сталинград. Любимым развлечением для фрицев было обстреливать дороги из пулеметов. Они убили множество людей и огромное количество лошадей. Но у нас, особенно с августа, были истребители, так что по дорогам ежедневно удавалось пройти сотням машин. Мне самому больше всего досталось двадцать третьего августа, во время большого налета на Сталинград. Вы представить себе не можете, что это было! Весь город пылал, как огромный костер. Кирпичные дома рушились со страшным грохотом. Мне пришлось ехать по улице между горящими зданиями, над головой гудели десятки немецких самолетов, как вдруг прямо передо мной обрушился огромный дом и пыль поднялась такая, что не видно было, куда ехать. Повсюду валялись мертвые. И все-таки мне удалось проскочить; грузовик не получил даже царапины. Я ехал по понтонному мосту, а вокруг то и дело что-то шлепалось в воду. Надо сказать... мост этот продержался недолго...» После этого он продолжал изо дня в день доставлять в Сталинград боеприпасы — «на эту сторону реки, конечно» — и вывозить раненых. «Трудненько было, — подытожил он, — но теперь все будет хорошо».

В Сталинград нас не пускали, но теперь мы находились от него всего в нескольких километрах, и, когда стемнело, на западе можно было видеть зарево и слышать непрерывную орудейную стрельбу. В городе в ту ночь было относительно спокойно, но это был канун того дня, когда Рокоссовский предъявил Паулюсу ультиматум, а двумя днями позже должна была начаться окончательная ликвидация немецкой 6-й армии.

Наконец мы добрались до переправы через Волгу, километрах в 25 к югу от Сталинграда. В темноте мерцало несколько тусклых огоньков. Гул орудейных выстрелов стал гораздо глуше. Мы спокойно переехали по широкому понтонному мосту, проложенному по льду.

В небе справа от нас все еще виден был какой-то слабый свет — то было бледное зарево над Сталинградом. «Раньше,— заметил шофер,— когда весь город горел неделю за неделей, картина была другая. В Ленинске по ночам все небо светилось». Мост был, наверное, почти полтора километра длиной, хотя в темноте определить было трудно. Противоположный берег реки был гораздо круче; мы проехали через затемненную деревню, а затем пятнадцать—двадцать километров по степи до Райгорода.

Разместили нас в большой и светлой крестьянской избе. Пухленькая девушка — украинка из Харькова — и пожилой еврей с крючковатым красным носом и маленькими усиками щеточкой, работавший когда-то шахтером в Донбассе, накормили нас борщом и прекрасно приготовленной бараниной. Мужчина был разговорчив, но очень мрачен, так как вся его семья осталась у немцев. Когда он жалобно молил скорее открыть второй фронт, чувствовалось, что он молит за свою жену и детей.

После ужина нас посетил генерал-майор Попов. Это была наша первая встреча с представителем командования Сталинградского фронта. У него было типичное лицо волжанина с выдающимися скулами и живыми темными глазами. Держался он деловито. Попов был одним из тех, кто организовал переброску через Волгу большей части войск группировки Сталинградского фронта, которая 20 ноября нанесла отсюда удар в направлении на Калач. «Эти мосты,— сказал он,— сыграли важную роль в нашем наступлении, хотя и не с самого начала, ибо, пока река не замерзла, большую часть грузов приходилось перевозить на лодках. Наиболее трудной задачей было снабжение самого Сталинграда. Отсюда организовать его было невозможно, надо было это делать с противоположного берега. Целые две недели, пока Волга не замерзла как следует, сотни солдат двигались ползком по тонкому льду, таща за собой санки с ящиками боеприпасов — сколько мог выдержать лед. Немцы продолжали обстреливать реку. И все-таки большинство солдат перебралось на тот берег. Теперь лед на Волге достаточно толст, чтобы выдержать грузовики и телеги, хотя и недостаточно крепок для танков; но сейчас у нас много мостов».

Генерал Попов сказал, что для наведения понтонного моста требуется от трех до пяти дней. Несмотря

на все их бомбардировочные и разведывательные полеты, немцы так и не узнали, какое огромное количество войск советское командование перебросило через реку, а когда узнали, было уже слишком поздно. Все делалось главным образом по ночам, а днем войска рассредоточивались небольшими группами на обширной территории. Войсковые части, сообщил генерал, имеют теперь некоторое количество американских «доджей» и «джипов», но немного; они используют также множество трофейных грузовиков чуть не из всех стран Европы; особенно много захвачено французских грузовиков «рено».

На следующий день, 7 января 1943 года, в метель мы пустились в путь по совершенно плоским и необитаемым калмыцким степям. Шел сильный снег, но было не холодно — 5—10° ниже нуля по Цельсию. Мы ехали уже не в легковых машинах, а в стареньком автобусе, который еще недавно использовался как санитарная машина для перевозки раненых в Ленинск. В автобусе посредине стояла маленькая железная печка-буржуйка, в которую Гаврила, пожилой, давно не бритый мужик с добрым грубоватым лицом северорусского типа, добросовестно подкладывал щепки. Он был похож на смиренного медведя. Время от времени буржуйка начинала немилосердно дымить, и дым смешивался с выхлопными газами, проникавшими в автобус через поломанную заднюю дверцу. Эта, такая странная на вид, бывшая санитарная машина как бы символизировала ту нехватку мототранспорта, от которой все еще страдала Красная Армия.

У Гаврилы было двое сыновей в армии; от одного из них он не имел известий с самого начала войны. На протяжении всей Сталинградской битвы Гаврила служил санитаром-носильщиком при этой санитарной машине. «Раненым нелегко было ехать в такой развалине. Но чего не выдержат наши люди! Правда, прежде чем погружать их в машину, им всегда делали укол морфия...»

От Райгорода до Абганерова по железной дороге, ведущей из Сталинграда на Кавказ, около 160 км, а оттуда до Котельникова — еще 100 км.

На некотором расстоянии к западу от Райгорода, в калмыцких степях, тянется цепочка озер, которая слу-

жила первой линией обороны, прикрывавшей правый фланг сталинградского клина немцев. Издали, сквозь густую пелену падающего снега, можно было различить темную полосу воды одного из соленых озер, а немного дальше мы остановились посмотреть на громадную свалку разбитых немецких танков и бронев автомобилей. Все эти обломки были собраны на довольно обширном пространстве вокруг озер, где советские войска прорвали оборону, которую держали румыны. 20 и 21 ноября здесь сдались тысячи румын. Теперь от них не осталось и следа, если не считать нескольких касок, до половины наполненных снегом. На касках спереди красовалась большая буква «С» и королевская корона; «С» означало «Кароль», хотя Кароль уже не был королем.

Пока мы ехали по степи, шел такой густой снег, что сопровождавший нас офицер, полковник Таранцев, начал сомневаться, доберемся ли мы до цели. Однако во второй половине дня небо прояснилось, и, когда мы подъезжали к Сталинградской железной дороге, ослепительно белая степь сверкала под лучами солнца. В одном месте мы переправились через реку Аксай; здесь тоже валялись полузасыпанные снегом румынские каски и масса разбитых машин, но немецких касок не было видно. Место, где немцы форсировали Аксай во время их последнего наступления, находилось несколько дальше к западу, и первые следы наступления Манштейна, происходившего всего несколько дней назад, мы увидели, только когда добрались до станций Абганерово и Жутово. Абганерово было совершенно разрушено бомбежками еще во время летнего наступления немцев, но на железнодорожных путях стояло множество вагонов и паровозов. Жутово было километрах в пятнадцати отсюда по железной дороге, которая шла параллельно шоссе. Мимо прошло несколько товарных составов; русские уже успели снова перешить железнодорожную линию на широкую колею.

Жутово оказалось приятным на вид селом с фруктовыми садами и маленькими русскими избами. Нас окружила толпа мальчишек, подошли и две молодые женщины с грудными детьми на руках. Женщины рассказали обычную историю, как во время немецкой оккупации они скрывались в погребах. «Слава богу,— сказала одна из них,— наши скоро вернулись, так что немцы даже не успели сжечь дома». В окружившей нас

толпе я заметил двух мальчиков лет десяти. На одном была громадная папаха, сползавшая ему на уши, другой был обут в армейские сапоги номеров на шесть больше своего размера. «Где вы все это раздобыли?» — спросил я. «Эту шапку я снял с мертвого румына», — гордо ответил первый. «А у тебя сапоги откуда?» — «А с мертвого офицера, что лежит вон там, в саду. Хотите на него посмотреть?» Я пошел следом за мальчиками по узкой тропинке. В саду между яблонями лежал мертвый немец. Лицо его было засыпано снегом, а ноги, багрово-красные и глянцевитые, как у восковой фигуры, были босы. Он был без шинели, в одном кителе с орлом и свастикой. «Почему его не уберут отсюда?» — спросил я. «Наверно, скоро солдаты уберут, — ответил владелец сапог, — тут много надо подбирать офицеров. На морозе с ними ничего не сделается».

Был ли этот паренек бессердечным? Не знаю... По вине немцев война так глубоко вошла в его жизнь, а смерть сделалась таким близким и привычным спутником, что вряд ли можно было его осуждать. Трупы стали совершенно обычным, будничным явлением, и для парня существовали только хорошие трупы и плохие трупы.

Котельниково, где мы обосновались на неделю, был довольно большой город с 25-тысячным населением. Немцы и румыны находились в нем со 2 августа по 29 декабря, когда войска Манштейна были выбиты отсюда после своей неудачной попытки прорваться к Сталинграду. В скором времени мне удалось услышать, что здесь творилось в период немецкой оккупации. Котельниково находилось в зоне военных действий всю оккупацию, и немецкая армия была здесь, по-видимому, полной хозяйкой. Поскольку район считался казачьим, немцы воздерживались здесь от массовых зверств. Эдгара Сноу и меня поместили в небольшой деревянной избе, принадлежавшей местной учительнице. Она жила здесь со своей старухой матерью и единственным сыном, пятнадцатилетним мальчиком по имени Гай. Муж ее был железнодорожник; с июля она не имела о нем никаких вестей.

То, что мне рассказали в Котельникове сорокалетняя учительница и ее пятнадцатилетний сын, не было повестью о каких-нибудь страшных немецких зверствах. Это был рассказ о презрении немцев к русским, о горечи

и унижении, которые русским пришлось испытать. Только это. Но и этого было вполне достаточно.

В нашем доме было две маленькие комнаты — кухня и спальня. Их перегораживала большая русская печь, от которой было очень тепло. Елена Николаевна — здоровая, пышная женщина с полными руками и двумя золотыми передними зубами, поблескивавшими при свете единственной керосиновой лампы. Познакомив нас с бабушкой, тщедушной сморщенной старушкой, сидевшей скрючившись в углу на кухне, возле затемненного окна, она взяла керосиновую лампу и повела нас в спальню, оставив бабушку в темноте. «Бабушка обойдется, — сказала Елена Николаевна, — она привыкла чистить картошку в темноте». В спальне стояли две большие кровати, стол и книжный шкаф. «Ну и жизнь тут у нас была последние пять месяцев! — воскликнула Елена Николаевна. — Сначала у нас стояли румыны, потом немцы — экипаж танка, пять человек. Гордые, неприятные люди; впрочем, они ведь, наверное, видели в нас врагов. Не знаю, какими бы они оказались в мирных условиях!..» Дом остался цел и невредим, отчасти, несомненно, потому, что грабить здесь было просто нечего: книжный шкаф с учебниками физики, химии и русской литературы, на стенах множество семейных фотографий, и все... Уходя, немцы оставили здесь — странно было видеть эти вещи в задонских степях! — карту парижского метро с указателем улиц и номер газеты «Виттгенштейнер цейтунг» от 4 декабря с передовой статьей «К 50-летию Франко, спасителя Испании».

На следующее утро мы познакомились с Гаем. Это был довольно высокий, но очень худой мальчик со свежим умным личиком. Говорил он на чудесном русском языке, чистым и звонким голосом. «Это немцы довели тебя до такого состояния?» — спросил я. «Нет, я всегда был худощав; но под немцами жить, конечно, было несладко, они ужасно действовали на нервы; ну и, кроме того, не хватало продуктов. В прошлом году мы ездили с мамой в Сталинград, были у хорошего врача, и он сказал, что я совершенно здоров, только есть малокровие... Жалко, что вчера вечером меня здесь не было, но при немцах я никогда не выходил по вечерам, да и днем тоже очень редко — как-то не хотелось. А теперь я хожу повидаться с товарищами, с которыми вместе учился в школе». — «Да, какое счастье, — вме-

шалась Елена Николаевна, — что Гай теперь снова сможет ходить в школу».

Я еще много раз беседовал с Гаем. Он охотно говорил обо всем — о себе, кем он хочет быть, о немцах, о фильмах, которые видел. «Я люблю американские картины, — сказал он. — У нас в Котельникове всем очень понравились фильмы «Песнь о любви», «Большой вальс» и «Огни большого города» с Чарли Чаплином. Мы очень весело жили до войны. Я был пионером и сейчас был бы уже в комсомоле, если бы не немецкая оккупация. Все наши ребята готовились стать инженерами, врачами или учеными. Я хочу поступить в военно-морское училище. Если бы немцы здесь остались, девушек заставили бы мыть полы, а парней — пасти скот. Они нас и за людей не считали... Вот как было при немцах. Они вывесили на стенах домов портреты Гитлера с надписью «Гитлер-освободитель». Он мало был похож на человека — лицо прямо звериное. Словно дикарь из малайских джунглей. Ужас! Немцы открыли церковь; сначала там служил румынский священник, а потом — русский. Я однажды зашел, когда там еще был румын. В церкви было полно румынских солдат. Я видел, как все они вдруг бухнулись на колени. Потом по церкви стали носить тарелку, и румыны клали на нее деньги — кто рубли, кто марки, а кто леи... Разницы большой не было, так как никакие деньги не имели цены. Марка стоила десять рублей, но марки-то эти были оккупационные, без водяного знака и, по существу, ничего не стоили... У немцев была прямо страсть все разрушать. Они повыдергивали все овощи на нашем огороде. А в последнюю ночь сожгли городскую библиотеку. Они не пощадили даже мою библиотечку, — сказал Гай, указывая на книжный шкаф, — порвали журналы и выдрали из книг все портреты Сталина и Ленина. Глупо, правда? Это все те танкисты. Чудные какие-то. Видели бы вы их на рождество. Они так расчувствовались! Им прислали много посылок из Германии. Они зажгли маленькую бумажную елку, распаковали громадные торты, открыли множество консервных банок и бутылок вина, напились и стали распевать чувствительные песни». — «А ты где был в это время?» — «Да где всегда — рядом, на кухне». — «Они не предложили вам вина или кусочек торта?» — «Конечно, нет, им это и в голову бы не пришло. Они не считали нас за людей». — «А ты не был голоден?» — «Был, конечно, но мне противно было

бы участвовать в их пиршестве». Гай вынул из кармана зажигалку. «Они забыли ее здесь. Я нашел ее под кроватью. У нас нет спичек, так что это полезная штука. Но я не хочу иметь что-то от этих людей... Да, я сильно похудел. Наверно, это бомбардировки подействовали мне на нервы, а также ощущение, что я уже больше не человек. Немцы постоянно нам это внушали. Они никого не уважали — они могли даже раздеваться при женщинах. Мы для них были просто рабы. К тому же и продуктов не было — колхозного рынка не стало; а когда не получаешь жиров, это очень вредно для организма», — заключил он с ученым видом.

Елена Николаевна много говорила о себе и о бабушке, своей матери. Сама она была последним оставшимся в живых членом казачьей семьи, разорившейся в годы гражданской войны. Ее отец, крестьянин, жил в казачьей станице на Дону. Но он не был хозяйственным человеком, и во время гражданской войны его дела пришли в упадок. Тогда он продал свое имущество кулаку за 10 мешков муки, и семья переехала в Новочеркасск. Во время эпидемии тифа и отец и брат ее умерли. «Мне было тогда всего 18 лет. Я вступила в комсомол и стала учиться пению в Новочеркасском музыкальном училище, где мне назначили небольшую стипендию». Однако жить на стипендию было трудно, тем более что на эти деньги надо было содержать еще и мать; поэтому, когда ее будущий муж, железнодорожник, сделал ей предложение, она согласилась за него выйти.

«Муж мой — хороший человек, хотя и не очень образованный. Но он воспитан в настоящих большевистских традициях; его отец тоже сорок лет служил на железной дороге...» Поселившись с мужем в Котельникове, Елена Николаевна стала преподавательницей заочных курсов по подготовке учителей начальной школы.

А бабушка, сидя в своем углу, говорила нам, как это было ужасно, когда в доме стояли немцы. «Я все время плакала, думала, что скоро умру, а оставлять своих родных в такой беде было страшно... Но теперь, когда наши дорогие вернулись, я думаю, что доживу до ста лет», — сказала она, и ее маленькое личико сморщилось в беззубой улыбке... Говоря как бы сама с собой, она продолжала: «Я когда-то знавала английских и американских господ. Мой муж был извозчик. У него была красивая пролетка на рессорах. Он, бывало, возил английских и американских господ на тот берег

Дона. Они были инженеры. Это было очень давно, еще при царе...»

А что слышно о муже Елены Николаевны, железнодорожнике? Последний раз они от него имели весточку в июне 1942 года. В то время он был в Воронеже. Теперь, когда в Котельникове снова стала работать почта, они, может быть, скоро получают от него известие. Может быть, а может быть, и нет...

«Что ни говорите, — сказала Елена Николаевна (хотя никто ничего не говорил), — а наша Советская власть — хорошая власть. Даже бабушка, которой вначале все казалось очень странным, теперь очень ее полюбила. Возьмите хотя бы этот наш домик. Я плачу за него только пять рублей в месяц; ни в одной другой стране вы не можете иметь дом за такие деньги».

Эта семья представляла собой поистине причудливое смешение разнородных элементов: бабушка, все еще вспоминающая о «добрых старых временах» при царе; мать с ее казачьим происхождением и мелкобуржуазными инстинктами; отец, настоящий советский пролетарий; и сын, не мыслящий себе счастливого будущего иначе, как в условиях советского строя, придающего столь большое значение образованию. Но при всех различиях между ними немцы всем им были одинаково ненавистны.

Немцы захватили Котельниково 2 августа столь внезапно, что эвакуировать удалось лишь около трети населения, притом в ужасных условиях. Многие погибли от бомб на железной дороге или от пулеметного обстрела на шоссе; значительная часть скота, который перегоняли в астраханские степи, тоже погибла во время воздушных налетов. По словам председателя местного исполкома Терехова, который вновь приступил к исполнению своих обязанностей на следующий же день после освобождения города, немцы расстреляли четырех человек за укрывательство советского офицера; около 300 человек — по большей части молодежь — были угнаны как рабы в Германию; если бы у немцев было время, они угнали бы гораздо больше советских людей и разрушили бы весь город. Кое-кто, сказал Терехов, добровольно сотрудничал с немцами, другие, в том числе несколько железнодорожников, были насильно завербованы в «полицай», и, хотя им пришлось делать кое-что для

видимости, они сохранили лояльность к Советской власти. Некоторые случаи «чересчур близкой дружбы» немцами придется расследовать...

Немецкая авиация все еще проявляла довольно большую активность. Со все более отдаленных аэродромов немцы — их ближайшей базой был теперь Сальск, в 200 км от Котельникова и 350 км от Сталинграда, — продолжали посылать свои транспортные самолеты с припасами для окруженной армии Паулюса. Их сбивали целыми десятками, и лишь очень немногим самолетам удавалось теперь прорваться. Обещание, которое дал Гитлеру Геринг — доставлять ежедневно в Сталинград 500 т различных грузов, — оказалось полнейшим блефом. Многие из пленных немецких летчиков, которых нам довелось видеть в те дни, были явно удручены «почти самоубийственной» задачей, которую им пришлось выполнять, и сомневались, что немцам в Сталинграде удастся удержаться. Впрочем, некоторые утверждали, что весной начнется новое немецкое наступление и Сталинград будет взят. Ростов немцы, «конечно», не оставят. Пленные пехотинцы (многие из них целую неделю брели по степи, пытаясь догнать быстро отступавшие немецкие войска, и страшно изголодались) были еще более деморализованы. Фанатичные нацисты, особенно из «парней Геринга», все еще считали поражение Германии совершенно исключенным, но допускали, что война может кончиться вничью. Такое воздействие уже успел оказать на них Сталинград.

Самым близким к фронту пунктом, где мы побывали, были Зимовники, километрах в девяносто от Котельникова, на железной дороге Сталинград — Кавказ. Немцы оставили город всего два дня назад и в настоящий момент вели ожесточенные арьергардные бои километрах в пяти к югу отсюда. Авиация действовала весьма активно. Пока мы двигались в сторону Зимовников по совершенно ровной, покрытой снегом степи (по дороге нам попался громадный склад боеприпасов, в спешке брошенный немцами); над нашими головами ежеминутно проносились советские истребители: неподалеку шли воздушные бои, и, кроме того, истребители преследовали отступавших немцев. Однако теперь немцы отступали медленнее; остатки двух немецких танковых дивизий, пытавшихся прорваться к Сталинграду, были усилены

дивизией СС «Викинг», переброшенной с Кавказа. Орудийный огонь был слышен совершенно отчетливо, а один раз неподалеку от нас шлепнулся снаряд, из которого вырвалось облако желтого дыма. Время от времени с юга доносился громкий гул — это стреляли знаменитые «катюши». Живописный маленький городок был сильно разрушен артиллерийским огнем, элеватор горел до сих пор. Местные жители рассказывали то же, что мы уже слышали в других освобожденных городах. Четыре дня, пока в Зимовниках шли бои, они отсиживались в погребах, еды у них было очень мало, а вместо воды приходилось глотать снег.

На домах все еще висели таблички с румынскими и немецкими названиями улиц; от памятника Ленину на пьедестале уцелела только одна нога. Большое здание клуба немцы превратили в казарму. Весь пол был покрыт связками соломы, на которой они спали. Трибуна все еще была украшена еловыми ветками, на столах и на соломе валялись остатки рождественского ужина — десятки пустых бутылок из-под вина и коньяка, преимущественно французского, опорожненные консервные банки и коробки из-под сигарет и печенья. Здесь же лежала кipa журналов. В одном из них я видел фотографию, на которой были изображены немецкие солдаты, сидящие в шезлонгах и греющиеся на солнышке на веранде какого-то дома на берегу Черного моря — может быть, это была Анапа? Здесь же была помещена статья, рекламирующая «*Der herliche Kaukasus und die Schwarzseeküste*» («Прекрасный Кавказ и Черноморское побережье»). Как видно, немцы чувствовали себя тогда на Кавказе совсем как дома. Теперь они удирали оттуда со всех ног...

Гораздо более мрачным было зрелище, представившееся нашим глазам в маленьком саду за зданием клуба. Советские солдаты копали братскую могилу для своих товарищей, убитых в Зимовниках всего два или три дня назад. Здесь, в саду, были сложены рядами 70 или 80 трупов, окоченевших в страшных позах — один в сидячем положении, другие с широко раскинутыми руками, третьи с оторванной головой; у нескольких трупов пожилых, бородатых мужчин и юношей 18—19 лет глаза были широко раскрыты... Сколько же вот таких братских могил копали ежедневно на всем протяжении огромного фронта!..

Нынешний министр обороны СССР маршал Малиновский¹, которому теперь уже перевалило за шестьдесят, полный и, по-видимому, не склонный к каким-либо шуткам мужчина, в 1943 году выглядел совсем иначе. Тогда это был энергичный молодой генерал-лейтенант — ему было 44 года, — великолепный образчик профессионального военного, одетый в элегантный мундир, высокий, красивый, с длинными темными волосами, зачесанными назад, и с круглым загорелым лицом, на котором после нескольких недель непрерывных походов не было заметно ни малейших признаков утомления. Он казался гораздо моложе своих 44 лет. В то время Малиновский все еще командовал 2-й гвардейской армией, которая сыграла главную роль в отражении наступления котельниковской группы Манштейна. В скором времени ему предстояло сменить Еременко на посту командующего Сталинградским фронтом (который был переименован в Южный фронт), а в феврале 1943 года — отбить у немцев Ростов.

Малиновский принял нас 11 января в своем штабе, помещавшемся в просторном школьном здании в большом селе на Дону. Рассказав нам о том, как он был солдатом русских экспедиционных войск во Франции во время первой мировой войны, Малиновский затем обрисовал первый этап сталинградской наступательной операции, завершившейся окружением немецких войск и продвижением Красной Армии на запад. Второй этап должен был начаться 16 декабря, но Манштейн опередил русских, предприняв 12 декабря наступление в направлении на Сталинград. Малиновский сказал, что эта ударная группа состояла из трех пехотных и трех танковых дивизий, из которых одна была переброшена с Кавказа и одна — из Франции. У них было около 600 танков и мощная поддержка с воздуха.

Описав арьергардные бои, которые советские войска вели с 12 по 16 декабря, оборонительные бои в течение следующей недели на реках Аксай и Мышкова, контрудар, отбросивший немцев за Зимовники, и еще одно наступление, в результате которого была разгромлена тормосинская группировка немцев на Среднем Дону, Малиновский высказал затем ряд важнейших соображений:

Малиновский Р. Я. (1898—1967), Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Член КПСС с 1926 года. С 1957 по 1967 год министр обороны СССР. (Прим. составителя)

«Впервые немцы проявляют признаки серьезного замешательства. Пытаясь затыкать образующиеся бреши, они перебрасывают свои войска с места на место, что свидетельствует о нехватке у них резервов. Многие немецкие части отступают на запад в беспорядке, бросая огромное количество техники. Такие части становятся легко уязвимыми для наших самолетов. Войска гитлеровских сателлитов в большинстве разгромлены полностью.

Немецкие офицеры, которых мы захватили в плен, крайне разочарованы в своем верховном командовании и в самом фюрере. От самоуверенности, которой они отличались еще летом, не осталось и следа.

Мы испытываем значительные трудности из-за растянутости наших коммуникаций, но довольно успешно справляемся с этими трудностями. Красная Армия, несомненно, изменилась в лучшую сторону. В организационной структуре Красной Армии летом 1942 года были произведены некоторые поистине революционные перемены.

Наступательный дух наших войск сейчас гораздо выше, чем прежде. Наше зимнее наступление 1942/43 года мы ведем по гораздо более широкому фронту, чем зимнее наступление 1941/42 года. У наших солдат сейчас гораздо больше опыта, и они ненавидят немцев. Теперь они способны стойко держаться в таких положениях, которые год назад показались бы им невыносимыми, — например при наступлении ста пятидесяти вражеских танков. Во время последнего наступления Манштейна наши войска, хорошо вооруженные противотанковыми средствами, успешно отражали такие атаки».

По поводу окружения немцев в Сталинграде Малиновский сказал:

«Сталинград — это лагерь вооруженных военнопленных. Положение его безнадежно. Ликвидация «котла» уже началась, и огромные потери, которые немцы понесут в Сталинграде, будут иметь решающее значение для исхода войны. Попытки снабжать Сталинград по воздуху теперь, когда немецкие истребители не могут сопровождать транспортные самолеты, полностью провалились».

Но при всем том немцы, по его мнению, еще сильны в воздухе, и танков у них тоже еще много. Солдаты

войск СС дерутся яростно, что же касается боевых качеств остальных немецких войск, они весьма неравноценны.

Малиновский был осторожен в своих прогнозах на 1943 год: он выразил довольно твердую уверенность в том, что Ростов будет освобожден, но «пока что» не хотел обещать что-либо еще. По его мнению, немцы еще могут предпринять контрнаступления ограниченных масштабов, но не такие, которые имели бы решающее значение. Однако он подчеркнул, что русским предстоят новые тяжелые испытания, что они несут «небывалые в истории» жертвы, и призвал союзников умножить свои усилия на Западе. Высадка в Северной Африке, по его мнению, — лишь скромное начало: она незначительно ослабила нажим немцев на Востоке. На этом фронте, сказал он, техника, полученная от союзников, еще не использовалась, если не считать некоторого количества американских грузовиков.

Малиновский угостил нас отличным обедом, в конце которого был подан трофейный французский коньяк и немецкие сигары. Он беседовал с нами остроумно и непринужденно и снова вспоминал отдельные эпизоды, относящиеся к его пребыванию во Франции во время первой мировой войны. В заключение он с большой теплотой и доброжелательностью провозгласил следующий тост:

«Победа — самый счастливый момент в жизни каждого солдата, и я не щажу усилий ради ее достижения. Мы, советские люди, понимаем технические трудности, препятствующие открытию второго фронта в Европе. В настоящее время мы сражаемся одни, но мы твердо верим, что второй фронт очень скоро будет открыт. Расскажите вашим народам о том, как чисты и ясны наши цели и наши мотивы. Мы хотим свободы — так не будем же препираться по поводу некоторых различий, имеющих в нашем понимании свободы, — это вопрос второстепенный. Мы хотим победы для того, чтобы война не могла больше повториться».

В тот вечер, повидав еще нескольких немецких летчиков, только что сбитых русскими, мы, несмотря на сильную метель, отправились на свою «базу» в Котельниково.

В течение первой половины января было много сильных снегопадов, но погода стояла сравнительно мягкая — обычно от 5 до 10° ниже нуля. Только к концу

операции по очищению Сталинграда от остатков вражеских войск, то есть во второй половине января и в первые дни февраля, начались жестокие морозы, доходившие до 30—40°. В этом мне пришлось убедиться лично, так как две недели спустя я вновь возвратился в район Сталинграда и на этот раз побывал в самом Сталинграде.

Сталинград в дни капитуляции немцев: личные впечатления

Третьего февраля днем наши два самолета приземлились в широкой, покрытой снегом степи. Было солнечно и очень холодно; с востока дул резкий ветер. Возле аэродрома виднелась деревушка и несколько административных зданий. Из труб поднимались клубы белого дыма. Никаких следов бомбежек не было видно. Мы находились где-то северо-западнее Сталинграда¹.

Накануне вечером я слушал немецкое радио. Оно передавало траурную музыку Вагнера, повторяя снова и снова похоронный марш Зигфрида и «Ich hatt'ein Kameraden» («Был у меня товарищ»), «Götterdämmerung» («Гибель богов») — приятное слово, от него, наверное, Гитлера мороз по коже продирает, — снова «Ich hatt'ein Kameraden». Да, был, и не один, а 330 тыс. Kameraden!

В столовой для летчиков, где нам пришлось долго ждать, оказались три советских корреспондента в военной форме — Олендер из «Красной звезды», Розовский из «Известий» и еще один, чью фамилию я забыл. Они время от времени посещали Сталинград. Олендер рассказал о Гумраке, местечке к западу от Сталинграда, где он был свидетелем самого грандиозного побоища немцев, какие он когда-либо видел. «Земля была буквально усеяна трупами. Мы их плотно окружили, и тут наши «катюши» открыли огонь. Боже, какая это была мясорубка! У немцев там остались тысячи грузовиков, легковых машин — по большей части сваленных в овраги, так как у них не было уже ни времени, ни средств их уничтожить, тысячи орудий. Шестьдесят — семьдесят

¹ Это была самая многочисленная группа иностранных корреспондентов — около 20 человек, — когда-либо выезжавшая на фронт за все время войны.

процентов грузовиков и орудий можно еще отремонтировать и снова пустить в дело... Мы захватили даже продовольственный склад — четыре или пять дней до конца! Вот небось немцы горевали!»

«В деревнях, которые уцелели на территории окруженной немецкой группировки — а некоторые деревни все-таки уцелели, — жуткая, страшная атмосфера, — сказал другой собеседник. — Кое-кто из крестьян там еще остался; к счастью, большинство ушло за Дон еще задолго до окружения. Даже в этом небольшом районе были свои партизаны. Ну, не совсем партизаны, а просто отчаянные люди, которые прятались от немцев и ждали прихода наших войск. Был один полусумасшедший старик, который воспользовался общим замешательством немцев — это было за час до нашего прихода, — спрятался в какой-то яме и оттуда ухитрился перестрелять с десятков фашистов. У него были личные счеты с ними. Немцы не то изнасиловали его дочерей, не то еще что-то сделали. В чем там было дело, я так точно и не выяснил».

К разговору присоединился только что вошедший в комнату грубоватый капитан с вислыми усами. Он рассказал, что немцы бросили огромное количество техники в Питомнике и на аэродроме около него, бои носили очень упорный характер. Там было очень много немецких дотов, которые в конце концов пришлось подавить мощным огнем артиллерийских орудий и «катюш». «Теперь там вся земля усеяна тысячами замерзших трупов фрицев. Наши пушки разбили также почти все самолеты, находившиеся на аэродроме, в том числе несколько «юнкерсов-52»... До войны там был замечательный фруктовый питомник, где выращивались лучшие сорта яблонь, грушевых и вишневых деревьев. Теперь все это уничтожено.

По соседству, — продолжал он, — мы обнаружили лагерь для советских военнопленных, прямо под открытым небом. Да, под открытым небом... Он окружен колючей проволокой. Ужас! Сначала там находилось тысяча четыреста человек, которых немцы заставили строить укрепления. В живых осталось только сто два человека. Вы скажете, что немцам самим было нечего есть, но ведь пленные начали голодать задолго до того, как немецкие войска попали в окружение. К сожалению, когда наши бойцы нашли нескольких полумертвых людей, лежавших среди множества замерзших трупов, они нача-

ли тут же кормить их хлебом и колбасой, и в результате некоторые из них умерли...»

К нам подошли два молодых солдата. Один из них, украинец, начал говорить о своих родителях и жене, которые остались в Киеве. Он не имел от них никаких известий. «Но если дела и дальше так пойдут,— заметил он, улыбаясь,— то мы, возможно, скоро сами будем в Киеве. Вчера я спустился к Волге, хотел поудить рыбу в проруби, и видел, как через реку гнали тысячи немецких военнопленных. Это была картина! Грязные, небритые, некоторые с длинными косматыми бородами, многие покрыты язвами и чирьями, одеты все ужасно. Трое упали и тут же замерзли».

«Мы стараемся подкормить их, даем кое-что из одежды,— сказал с брезгливой гримасой один корреспондент,— но многие в очень тяжелом состоянии, а мест в сталинградских больницах для них просто нет, поэтому приходится направлять их сначала в сортировочный лагерь». — «А я бы не стал особенно о них беспокоиться,— заметил украинец.— Вспомните, как они поступали с нашими людьми. И откуда я знаю, может, они убили или уморили голодом мою жену или моих отца и мать».

Я вышел на улицу. Предо мной расстилался поразительный по чистоте красок трехцветный ландшафт. Ярко-красный закат; дальше к востоку — синее небо, без единого облачка, а вокруг — до самого горизонта — бескрайняя белая степь. Кроме нескольких часовых, не видно ни одного человека. Наши два самолета улетели, а других здесь не было. Ветер утих, и в этот холодный зимний вечер кругом царила какая-то странная тишина. «Далеко ли отсюда до Сталинграда?» — спросил я одного из солдат. «Около восьмидесяти километров», — ответил он.

На следующее утро нас повезли в другую деревню. Ехали примерно час по заснеженной степи; стоял 20-градусный мороз. Название деревни нам не сообщили, и причина такой секретности была понятна: мы должны были встретиться с немецкими генералами. Что, если там внезапно высадутся немецкие парашютисты, чтобы предпринять отчаянную попытку освободить их (хоть это и было маловероятно), или вдруг немцы решат сбросить на своих генералов бомбы и таким образом покончить с ними, поскольку они уже не способны при-

нести никакой пользы рейху и могут даже оказаться помехой?

Избы в деревне были довольно ветхие, кое-где виднелись деревца. Местных жителей здесь будто бы не осталось — всюду были только солдаты, гражданское население отсутствовало. Немецкие генералы занимали четыре избы — по пять-шесть человек в избе. Заходить к ним в комнаты мы не могли, так что разговаривать с ними — если кто из них желал с нами разговаривать — приходилось через дверь, стоя в сенях. Некоторые немцы старались держаться подальше от двери, сидели или стояли, повернувшись к нам спиной. Все это немножко походило на зоологический сад, где одни животные проявляют интерес к публике, а другие мрачно жмутся по углам. Из тех, что держались в отдалении, некоторые время от времени оборачивались к двери и свирепо на нас поглядывали. Первое, что бросилось в глаза, — это ордена, медали и кресты на их мундирах. Некоторые были с моноклями в глазу. Они так были похожи на карикатуры Эриха фон Штрогейма, что трудно было поверить, что это настоящие немецкие генералы. Однако вели себя немцы очень по-разному. Одни старались не падать духом. Так, генерал фон Зейдлиц — тот, кому предстояло в скором времени сыграть важную роль в создании комитета «Свободная Германия», — пытался смотреть на вещи юмористически. Так же вел себя и генерал Дебуа. Он улыбался и, как бы для того, чтобы мы не пугались, сообщил, что он не немец, а австриец. Генерал фон Шлеммер тоже улыбался и говорил: «Ну-с, так что вы хотите знать?» Фамильярно похлопав по плечу одного из сопровождавших нас советских офицеров и указывая на его новые погоны, он спросил: «Что — новые?» На лице его было написано комическое удивление, и он одобрительно кивал головой, как бы желая сказать: «Ну что ж, теперь вы, по-видимому, стали настоящей армией».

Самым неприятным из них был генерал фон Арним, человек громадного роста, с длинным искривленным носом и выражением бешенства на вытянутом лошадином лице с выпученными глазами. На груди у него был целый иконостас крестов и медалей. Когда кто-то спросил, почему немцы позволили поймать себя в ловушку в Сталинграде, он прорычал: «Вопрос неверно поставлен. Вам следовало бы спросить, как нам удалось так долго продержаться, имея перед собой такое подавляющее

численное превосходство!» Тогда один из тех, что жалась в углу, сказал что-то насчет голода и холода. А когда кто-то заметил, что русская армия, возможно, лучше немецкой и, уж наверное, имеет лучших командиров, фон Арним фыркнул и весь побагровел от злости. Затем я спросил, как с ним обращаются. Он снова фыркнул. «Офицеры,— нехотя ответил он наконец,— держат себя хорошо. Но русские солдаты...— Он весь так и кипел от злости.— Бесстыжие воры! Они украли все мое имущество. Четыре чемодана! Конечно, это сделали солдаты, а не русские офицеры,— добавил он как бы в виде уступки.— Офицеры вполне корректны». Немцы разграбили всю Европу, но что это было по сравнению с его четырьмя чемоданами? Когда китайский корреспондент спросил что-то насчет Японии, он заявил, снова глядя на нас испепеляющим взглядом: «Мы безгранично восхищены блестящими победами наших доблестных японских союзников над англичанами и американцами, и мы желаем им новых побед». Потом его спросили, что означают все эти ордена и кресты, и он начал срывать их с груди один за другим. Золотая рамка с черным пауком свастики — это немецкий «Золотой крест», сказал он. Этот крест сделан по рисунку самого фюрера. «Похоже,— заметил кто-то,— что вы недовольны фюрером». Он бросил свирепый взгляд и сказал только: «Фюрер — великий человек, и, если у вас есть на этот счет сомнения, вам скоро придется их отбросить». Фон Арним был одним из немецких генералов, которые до самого конца войны держались в стороне от комитета «Свободная Германия».

Одно поражало в этих генералах. Они были захвачены в плен всего несколько дней назад, и тем не менее вид у них был здоровый, без каких-либо признаков недоедания. Ясно, что на протяжении всей агонии Сталинграда, в то самое время, когда их солдаты умирали с голоду, они продолжали получать более или менее регулярное и хорошее питание. Ничем другим невозможно было объяснить их нормальный или почти нормальный и вес и внешний вид.

Единственным человеком, плохо чувствовавшим себя, был сам Паулюс. Нам не разрешили поговорить с ним¹, а только показали его, чтобы мы могли засвидетельст-

¹ Впоследствии я узнал, что он наотрез отказался делать какие-либо заявления.

зовать, что он жив, а не покончил жизнь самоубийством. Паулюс вышел из большого дома, походившего скорее на виллу, взглянул на нас, затем устремил взгляд в пространство и в неловком молчании простоял так минуту или две на ступеньках вместе с двумя другими генералами (одним из них был его начальник штаба генерал Шмидт). Паулюс выглядел бледным и больным; левая щека у него нервно подергивалась. У него было больше врожденного достоинства, чем у других, и на груди его я заметил всего один-два ордена. Щелкнули фотоаппараты, и советский офицер вежливо разрешил ему удалиться; Паулюс снова ушел в дом. Спутники его последовали за ним. Дверь закрылась. Свидание закончилось.

В деревне солдаты рассказывали друг другу смешные истории про немецких генералов. «Им чертовски повезло, живут в приличных домах, получают трехразовое питание. У некоторых еще полно нахальства. Послушайте историю. Это факт. К генералам приставили девушку-парикмахера, чтобы она каждое утро их брила. И вот один из них в первый же день позвонил себе ущипнуть ее за ягодицу. Она возмутилась и дала ему пощечину. Так он теперь до того боится, что она ему горло перережет, что не хочет больше бриться и отращивает бороду!»

Потом нас отвезли еще в какую-то деревню, где нас принял начальник штаба генерала Рокоссовского, генерал Малинин. У Малинина, уроженца Ярославля, было энергичное, типично северорусское лицо. Ему было тогда 43 года. Он участвовал в гражданской войне, потом с 1931 по 1933 год учился в военной академии, воевал в Финляндии и вместе с Рокоссовским был в сражениях под Москвой. Впоследствии он стал начальником штаба Жукова и в этой должности участвовал во взятии Берлина.

За последние два-три дня в Красной Армии вдруг стало модным словечко «Канны» — это слово замелькало в газетах: сталинградскую операцию стали называть идеальными «Каннами» — самыми совершенными со времен Ганнибала. Малинин тоже заговорил об этом, и слушать здесь, среди донских степей, как этот бывший крестьянский парень из-под Ярославля рассуждает о Каннах, было так же странно, как если бы он вдруг

начал декламировать «Энеиду»... Он с восхищением отозвался о Сталине, а затем с жаром заговорил о простых русских солдатах.

«Шоссейных и железных дорог,— сказал он,— было очень мало, и все-таки мы никогда не испытывали недостатка в продовольствии, вооружении или горючем. Каждый солдат, каждый шофер, каждый железнодорожник сознавал, какая грандиозная задача перед нами стоит. Железнодорожники проводили такое количество составов, что это казалось немыслимым. Водители грузовиков, которые в нормальных условиях должны работать зимой не больше десяти часов в день, в наших транспортных колоннах часто работали бессменно целыми сутками».

Малинин был убежден, что на начальном этапе окружения немцы могли бы вырваться из Сталинграда, если бы Гитлер дал им на это разрешение.

Отвечая на вопрос насчет техники и припасов, поставленных союзниками, он сказал, что Красная Армия получила «некоторое количество американского продовольствия», немного грузовиков «додж» и танков «черчилль» — техника хорошая, но ее очень мало.

Как мы теперь знаем из немецких источников, одним из ближайших последствий окружения немецких войск под Сталинградом в ноябре явилась острая нехватка зимнего обмундирования у этих войск. В ноябре 76 вагонов с зимним обмундированием застряло на станции Ясиноватая, 17 — в Харькове, 41 — в Киеве и 19 — во Львове. Немецкое верховное командование, не желая, чтобы у солдат в Сталинграде зародилась мысль, что они могут не выиграть сражение до наступления зимы, не спешило посылать им зимнюю одежду. Холод плюс очень скудные продовольственные пайки — под конец они были сведены к 60 г хлеба в день и крошечному кусочку конины (генералы получали теоретически 150 г хлеба) — привели к резкому росту смертности у немцев, особенно в январе. Правда, сильные морозы держались не все время. Во второй половине декабря было очень холодно (20—25° ниже нуля); в первой половине января погода стала гораздо мягче (в среднем — 5—10°), однако потом опять стало очень холодно. Температура понижалась иной раз до 25, 30, 40 и даже до 45°.

Четвертого февраля ночью я на собственном опыте

узнал, что такое 44° мороза и что это должно было означать для немцев в Сталинграде, как, впрочем, и для русских, ибо было бы большой ошибкой воображать, будто русскому — как бы тепло он ни был одет — 44-градусный мороз доставляет удовольствие.

Мы двинулись в 80-километровое путешествие из штаба генерала Малинина в Сталинград в 3 часа дня. Наш шофер-красноармеец сказал, что доедем за 4—5 часов, в действительности мы пробыли в пути около 13 часов.

Нас было человек шесть в этом жалком фургоне. Никаких скамеек в нем не было, и мы сидели или полулежали на мешках и узлах. С каждым часом становилось все холоднее и холоднее. К тому же в задней двери машины не было стекла, поэтому нам было почти так же холодно, как если бы мы ехали в открытой машине.

Мы жалели, что проезжаем по местам недавних боев не в дневное время, но делать было нечего. Эта ночь все равно осталась в моей памяти как одно из самых удивительных воспоминаний за всю войну. Прежде всего, я никогда в жизни не испытывал такого холода.

Утром было всего 20°, потом стало 30, еще ближе к вечеру — 35, еще позднее — 40 и наконец — 44°. Чтобы понять, что такое 44-градусный мороз, надо его испытать. Дыхание перехватывает. Если вы подышите на перчатку, на ней сейчас же появится тоненькая корочка льда. Есть нам было нечего, потому что все продукты — хлеб, колбаса и яйца — превратились в камень. Даже имея на ногах валенки и две пары шерстяных носков, надо было все время шевелить пальцами ног, чтобы поддерживать кровообращение. Без валенок невозможно было. Чтобы руки не замерзли, надо было то и дело бить в ладоши или наигрывать воображаемые гаммы. Я раз вытащил было карандаш, чтобы написать несколько слов. Первое слово получилось ничего, второе вышло так, как будто его нацарапал пьяный, а последние два походили на каракули паралитика; я начал скорее дуть на свои лиловые пальцы и сунул их обратно в меховую рукавицу.

Сидя скорчившись в фургоне и чувствуя себя относительно хорошо, вы не можете заставить себя шевельнуться — разве что двигаете пальцами рук и ног да время от времени потираете нос; вас охватывает какая-то душевная и физическая инертность, вы чувствуете себя словно одурманенным наркотиком. А между тем надо

все время быть начеку. Я, например, вдруг обнаружил, что мороз шиплет мои колени; он правильно сообразил, что может атаковать этот оставшийся незащищенным небольшой участок ног в промежутке между дополнительной парой нижнего белья и верхом валенок! Помимо одежды, ваш единственный надежный союзник в подобных случаях — это бутылка водки. Она, слава богу, не замерзает, и даже маленький глоток сильно меня согревал. Можно себе представить, каково было воевать в таких условиях, а ведь последний этап Сталинградской битвы проходил при немногим более мягкой погоде, чем в эту февральскую ночь.

Чем ближе мы подъезжали к Сталинграду, тем более беспорядочным становилось движение на покрытой снегом дороге. Этот район, где еще так недавно гремел бой, находился сейчас в сотнях километров от фронта, и все войска из Сталинграда перебрасывались теперь к Ростову и на Донец. Примерно в полночь мы попали в «пробку». Что за зрелище представляла собой эта дорога, если ее можно было назвать дорогой! Где тут была собственно дорога, а где прилегающая к ней степь, тоже объезженная транспортом (большая часть которого двигалась в западном направлении, но часть и на восток), разобрать было нелегко. Между двумя потоками транспорта образовалась неровная стена снега, отделявшего от колес машины и от копыт лошадей. Регулировали движение странного вида фигуры — солдаты в длинных белых маскировочных халатах и остроконечных белых капюшонах; лошади, лошади, лошади, из обледелых ноздрей вырывался пар, бесконечной вереницей брели по глубокому снегу, таща за собой орудия, лафеты и большие крытые фургоны; сотни грузовиков с ярко горящими фарами... У обочины дороги горел громадный костер, от которого поднимались облака черного дыма, разъедавшего глаза; вокруг него плясали, чтобы согреться, какие-то призрачные фигуры; потом кто-нибудь зажигал от его пламени щепку и разводил свой маленький костер, так что в конце концов вся обочина дороги превратилась в сплошную цепочку костров. Огоны! Какими счастливыми он делал людей в такую вот ночь! Солдаты спрыгивали с грузовиков, чтобы хоть на несколько секунд ощутить тепло и почувствовать на лице горячее дыхание черного дыма, а потом бегом пускались вдогонку за своим грузовиком и на ходу взбирались на него.

Из Сталинграда тянулась нескончаемая процессия: грузовики, сани, орудия, крытые фургоны и даже верблюды, впряженные в сани,— мы видели, как они степенно шагали по глубокому снегу, словно это был песок. В ход были пущены все мыслимые виды транспорта. Тысячи солдат шли на запад в эту холодную, страшную ночь. Но они были веселы, удивительно веселы и счастливы и громко говорили про Сталинград и про то, что они совершили там. На запад, на запад! Многим ли — невольно спрашивал я себя — суждено увидеть конец пути? Но они знали, что направление это верное. Быть может, еще мало кто думал о Берлине, но многие, должно быть, думали о своем родном доме на Украине. В валенках и ватниках, в меховых шапках-ушанках, с автоматами в руках, со слезящимися глазами и инеем на губах, они шли на запад. Насколько это было приятнее, чем идти на восток! Но кое-кто двигался и с запада — то был не поток, а небольшая струйка. Но и у этих людей было что порассказать, у этих крестьян на санях и телегах, у этих жителей Сталинграда, что шли пешком или ехали среди ночи домой — домой, на родные пепелища. А вокруг всей этой неразберихи — грузовиков, фургонов, верблюдов, солдат, кричащих, ругающихся, смеющихся и весело пляшущих вокруг костров, наполнявших воздух едким дымом,— лежала молчаливая, покрытая снегом степь. И когда фары освещали степь, видны были в снегу трупы людей, павшие лошади и разбитые вдребезги орудия войны. Мы находились теперь на территории, которую еще недавно занимала окруженная немецкая группировка. А впереди прожекторы прощупывали небо — небо Сталинграда.

Было уже 4 часа утра, когда мы наконец добрались до Сталинграда. Стоял страшный мороз; в кромешной тьме только кое-где виднелись тусклые огоньки. Окопавшиеся от холода, мы вылезли из своего фургона. В нескольких метрах от нас кто-то что-то кричал, кто-то размахивал фонарем. «Двое — сюда,— сказал человек с фонарем,— еще двое — вон туда, подальше». Он осветил какую-то дыру в земле. «Спускайтесь туда, погрейтесь». Дыра была немногим шире человеческого туловища. Сползая по скользким доскам и цепляясь за обледенелые стенки тоннеля, мы скатились в блиндаж, находившийся на глубине 7—7,5 метра. Какая теплынь! Какой уютной показалась нам эта жалкая нора и каким сладким запахом махорки! В блиндаже было четыре челове-

ка — двое спали на койках, а двое других скорчились возле маленькой железной печки. Это были молодые ребята — один совсем еще мальчик с легким пушком на подбородке; второй, Николай, был более закаленный боец, хотя и ему, вероятно, было не больше 23 лет. Двое, что лежали на койках, зевнули и снова заснули. Нам предложили две койки, покрытые толстыми коричневыми армейскими одеялами, но в блиндаже, освещаемом керосиновой лампой, сделанной из гильзы артиллерийского снаряда, было так тесно, что мы почти все время просидели. Николай угостил нас горячим чаем из старых консервных банок. Немного отогревшись, мы начали разбираться в окружающей обстановке. Люди, находившиеся в блиндаже, принадлежали к одному из гвардейских полков, которые только что завершили ликвидацию немецкой 6-й армии и теперь несколько дней отдыхали перед отправкой на фронт. «Когда рассветет, — сказал Николай, — вы сможете увидеть «Баррикады» и тракторный завод. Кажется, они еще стоят, на самом же деле они уничтожены. От Сталинграда ничего не осталось — камня на камне. Если бы это от меня зависело, я бы отстроил Сталинград заново где-нибудь в другом месте — это было бы куда проще. А это все я превратил бы в музей».

«Чудно, — сказал парень помоложе, — как тут теперь тихо. Еще три дня назад здесь вовсю шли бои. Это паршивый блиндаж, его наши строили. У немцев блиндажи гораздо лучше. Последние недели они терпеть не могли вылезать наружу — они не выносят холода... Вонючие, грязные — вы не поверите, в какой грязи они жили. Боялись холода, боялись наших снайперов и «катюш». — Парень покачал головой и по-ребячьи хихикнул. — Вот типы! Пришли завоевывать Сталинград в лакированных ботиночках! Думали, что это будет увеселительная прогулка. Пойдите-ка в Питомник, поглядите на них. Паразиты!» — заключил он этим излюбленным словечком красноармейцев, которое вошло в моду еще в 1941 году.

«„Катюша“, — сказал Николай, — показала себя замечательно. Мы окружили в Гумраке громадную группу немцев, и они ни за что не хотели сдаваться. Тогда мы расставили вокруг них пятьдесят или шестьдесят «катюш» и открыли огонь... Бог мой! Посмотрели бы вы, какой был результат! Или, бывало, мы, артиллеристы, подкатим орудия к ихним дотам и с тридцати метров начинаем бить по ним. В этой ликвидации наши орудия

сыграли главную роль — у нас было полное превосходство в артиллерии. И все-таки немцы умеют держаться. Ух, как они не любят сдаваться! В последний день мы подошли к дому, где засело пятьдесят офицеров. Они продолжали стрелять и сложили оружие только после того, как четыре наших танка подошли вплотную к самому дому. Но ничего,— добавил он, потягивая горячий чай из консервной банки,— еще один Сталинград, и им крышка!»

«Да, туго им пришлось,— сказал третий солдат, который теперь проснулся. Это был смуглый армянин с крючковатым носом и темными, похожими на бусинки глазами; по-русски он говорил со смешным акцентом.— В Карповке немцы ели кошек. Они голодали и страшно мерзли, многие даже умерли от холода. Местные жители кое-как держались: припрятали мороженую конину и ею питались — все-таки это было лучше, чем кошки. Одна старуха, которая жила там в землянке, рассказывала, что немцы отобрали у нее собаку и съели. Но корову немецкий комендант не разрешил зарезать. Фрицев это ужасно злило. В конце концов ему пришлось уступить. Был там еще старик священник, в августе немцы открыли для него церковь. Он все молился о даровании победы «возлюбленным господам хозяевам» — это можно было понимать как хочешь. Некоторые очень потешались над этой шуткой».

Солдаты рассмеялись. «Ничего,— сказал Николай,— теперь все уже скоро, может быть, кончится. Я сам — рабочий, и, когда мы освободим Харьков, я, надеюсь, смогу вернуться на свой завод».

Под конец нам все же удалось часа два поспать, а около восьми утра мы снова выползли из скользкого тоннеля на свет божий. Перед нами был Сталинград.

Он оказался не совсем таким, как я ожидал. На какой-то момент сверкание солнца на снегу совершенно меня ослепило. Мы находились в одном из тех рабочих поселков, которые советские войска оставили в сентябре. Большая часть домов и деревьев была совершенно уничтожена. Справа виднелись вдалеке большие, внушительного вида пяти- и шестизэтажные здания. На самом же деле это были только коробки домов, составлявших центр Сталинграда. Слева, в нескольких километрах от нас, поднималось к небу множество высоченных заводских труб. Впечатление было такое, что там раскинулся настоящий промышленный город; но рядом с этими

трубами не было ничего, кроме развалин тракторного завода. В трубы попасть трудно, и они остались стоять, по-видимому, целые и невредимые. Было все еще очень холодно, хотя все-таки немного теплее, чем ночью.

Наконец мы двинулись к Волге, через развалины рабочего поселка, мимо разрушенных товарных складов и железнодорожных строений. Ветер, дувший с противоположного берега Волги, оголил землю; насквозь промерзшая, она лишь кое-где была покрыта снегом, а надо всем этим расстиралось бледно-голубое небо. У обочины дороги все еще попадались замерзшие трупы немцев. Мы пересекли железнодорожную линию. Здесь громоздились друг на друга паровозы и вагоны, образуя одну огромную, беспорядочную грудку металла. Высокие цилиндры нефтехранилищ, стоявшие вдоль разбитого железнодорожного полотна, были смяты, словно выброшенные за ненадобностью старые картонки, и все изрешечены снарядами, а некоторые и вовсе рухнули. По ту сторону дороги траншеи, блиндажи, воронки от снарядов и бомб походили на пчелиные соты. Дальше, за железнодорожной линией, дорога делала крутой поворот, и мы увидели белую, скованную льдом Волгу. На другом берегу видны были неясные очертания голых деревьев, а еще дальше — белая степь, тянувшаяся в глубь Азии.

Волга! Она была сценой одного из самых мрачных эпизодов войны — по ней шла «дорога жизни» Сталинграда. Об этом напоминали вмерзшие в лед баржи и пароходы, по большей части разбитые. Сейчас по льду спокойно тянулась узкая цепочка транспорта: машины, сани, запряженные лошадьми; шли солдаты. Волга замерзла, но не совсем, несмотря на жестокие морозы, державшиеся последние две недели. Там и сям все еще сверкали голубые полыньи, из которых женщины черпали ведрами воду. Мы спустились с крутого обрыва к самому берегу, загроможденному сотнями трофеев — немецких легковых машин и грузовиков, и очутились на русской земле, которую противнику так и не удалось захватить.

В тот вечер мы увиделись с генералом Чуйковым. Это был крепкий, коренастый человек — типичный офицер Красной Армии, наделенный, однако, добродушием и чувством юмора. Он громко и весело смеялся. У него был полон рот золотых зубов, и, когда он улыбался, они так и сверкали при свете электрических ламп. Кстати,

сказать, в этом большом блиндаже, вырытом в скале над Волгой и служившем его штабом на последнем этапе Сталинградской битвы, было электричество. С Чуйковым находился его начальник штаба, генерал Крылов, переживший до этого осаду Севастополя.

Чуйков уделил нам целый вечер и рассказывал без умолку, по крайней мере часа полтора, о ходе Сталинградского сражения. Впоследствии он опубликовал обстоятельную книгу об этой битве, которую я неоднократно цитировал в одной из предыдущих глав. Здесь я приведу лишь несколько наиболее характерных моментов из его рассказа, услышанного сразу же после капитуляции немцев. То, что он рассказал нам в этот вечер, в основном совпадает с тем, что говорится в книге.

Чуйков говорил о важной роли, какую сыграла 62-я армия, задержавшая продвижение немцев на Дону в июле и августе, затем о мощном немецком натиске на Сталинград 14 сентября и об отдельных этапах битвы.

Потом он перешел к рассказу о дне 14 октября. «Это был день самых кровопролитных и ожесточенных боев за все время сражения. На фронте шириной в четыре-пять километров немцы бросили в наступление пять совершенно свежих пехотных дивизий и две танковые дивизии, поддержанные пехотой и огромным количеством самолетов... В то утро невозможно было слышать отдельные выстрелы или взрывы — все слилось в непрерывный оглушительный грохот... В блиндаже вибрация была такая, что стакан разлетелся на тысячи осколков. В тот день в моем штабе был убит шестьдесят один человек. После четырех или пяти часов этого ошеломляющего обстрела немцы продвинулись на полтора километра и наконец прорвались в районе тракторного завода. Наши бойцы не отступили здесь ни на шаг, и если немцы все-таки продвигались вперед, то только по трупам наших солдат. Но потери у немцев были так велики, что они не могли продолжать наступление с прежней силой и не сумели расширить свой клин на Волге».

Чуйков с похвалой отзывался о ряде сталинградских дивизий — Жолудева, которая чуть не до последнего солдата защищала тракторный завод, дивизиях Людникова, Родимцева и многих других.

Чуйков сказал также, что, после того как к северу и к югу от города советские войска начали большое контрнаступление, положение в самом Сталинграде ста-

ло немного легче. Однако 62-й армии было приказано «активизировать» свой фронт и непрерывно атаковать немцев, окруженных к тому времени в сталинградском «котле». Чуйков говорил о своих бойцах с отеческой любовью. Он и сам пользовался популярностью у солдат: многие из тех, кто воевал в Сталинграде, впоследствии говорили мне, что они бесконечно восхищались его необыкновенным личным мужеством и умением владеть собой: «На тысячу человек не нашлось бы второго такого, как наш Чуйков, который сумел не потерять голову в этот страшный день, четырнадцатого октября».

Я снова увидел Чуйкова лишь в июне 1945 года. К тому времени он был уже одним из победителей Берлина. Брошенные нацистами великолепные виллы с их кустиками роз и жасмина и моторные лодки на Ванзее были, казалось, далеко-далеко, за миллионы километров от этой насквозь промерзшей сталинградской земли, по которой мы ступали в ту зимнюю ночь, от скованной льдом Волги со вмерзшими в лед обломками барж и пароходов.

«Это был длинный и трудный путь,— сказал мне в тот день в Берлине Чуйков.— Но, знаете ли,— добавил он, сверкнув своими золотыми зубами,— если уж говорить об этих баржах и пароходах, они были не так плохи, как вы думаете. Доставлять припасы в Сталинград было чертовски трудной задачей, и все-таки нам удавалось перебрасывать по реке девяносто процентов грузов!»

На следующее утро после встречи с Чуйковым я вскарабкался на скалу, на вершине которой устанавливали небольшой памятник погибшим воинам. Этим делом занимались советский солдат и двое немецких военнопленных. У одного немца была черная щетина. У другого — рыжеватая. Ко мне подошел низкорослый солдат-башкир с веселым лицом монгольского типа и глубоко посаженными смеющимися раскосыми глазами. На ломаном русском языке он начал мне рассказывать, как в самые напряженные дни Сталинградской битвы он воевал в районе завода «Красный Октябрь». Потом, указывая на двух немцев, рывших мерзлую землю вокруг памятника, солдат спросил: «Вы можете говорить по-ихнему?» — «Да». — «В таком случае пошли, поговорите с ними». — «Ну, как дела?» Чернявый немец с радостным удивлением ответил: «Хорошо!» — «Значит, русские вас все-таки не убили?» — «Нет», — снова весело

сказал он. Я перевел наш разговор башкиру. «Подумать только, что они натворили. Во время эвакуации они потопили на Волге пароход, на котором находилось три тысячи женщин и ребятишек. Почти все были перебиты или утонули. А теперь ходят в наших валенках!» И действительно, на обоих немцах были валенки. Один из них был одет в грязную немецкую серо-зеленую шинель, из-под которой виднелись клочки каких-то одежек, на другом был русский армейский ватник. У обоих меховые шапки на голове. «Да,— сказал немец с черной щетиной на подбородке,— это русские дали нам валенки. Очень хорошие!»

Оба немца были из Берлина. Я спросил, считают ли они и теперь Гитлера самым великим человеком в мире. Они энергично запротестовали. Рыжебородый заявил, что когда-то он был комсомольцем, а чернобородый уверял, что он бывший социал-демократ. «Ах, сколько горя Гитлер принес всему миру и Германии,— правоучительным тоном изрек рыжебородый.— Сталинград — да, но и в Германии не лучше. Кёльн, Дюссельдорф и некоторые районы Берлина сильно пострадали, и дела идут все хуже и хуже». Оба немца были довольно тощие, но вид у них был вполне здоровый. По их словам, еды они получают вволю. Их поражало, что с ними так хорошо обращаются. Советский сержант, которому поручено было присматривать за этими двумя немцами, прислушивался к нашему разговору со снисходительной улыбкой. Наконец он решил, что им пора снова браться за работу. «Ну как они?» — спросил я. «Да ничего, люди как люди».

На заводе «Красный Октябрь» и вокруг него бои продолжались несколько недель. Заводские дворы и даже помещения цехов были изрыты окопами. И сейчас еще на дне окопов лежали замерзшие зеленые трупы немцев, серые трупы русских и мерзлые куски человеческих тел. Среди обломков кирпичей валялись советские и немецкие каски, до половины наполненные снегом. Здесь была колючая проволока, и полузасыпанные мины, и снарядные гильзы, и причудливая путаница искореженных стальных ферм. Трудно было себе представить, как кто-то мог остаться в живых в таких условиях. Один из русских показал на стену, на которой было написано несколько имен. Возле этой стены одна из советских воинских частей полегла до единого человека. Теперь же в этом окаменелом аду все молчало и было

мертво, как будто буйный сумасшедший внезапно умер от разрыва сердца.

Было все еще 30° ниже нуля. В этот день мы поднялись на страшные склоны Мамаева кургана по узкой тропинке длиной около 100 м. Русские уже водрузили на вершине горы грубый деревянный обелиск, выкрашенный в ярко-синий цвет, с красной звездой на верхушке. Между разбитыми стволами деревьев тоже валялись каски, снарядные гильзы, осколки снарядов и другой металлический хлам. На взрытой, промерзшей земле кое-где лежал снег, но мертвых не было видно — валялась только одна почерневшая от времени большая голова, скалившая свои белые зубы. Кто это был — русский или немец? Один майор сказал нам, что русских всех похоронили, но что 1500 немецких трупов еще ждут своей очереди — они сложены по ту сторону кургана. Сколько тысяч снарядов рвало эту землю, на которой каких-нибудь полгода назад зрели арбузы? На середине склона, повернутый к вершине, стоял обгорелый советский танк.

После этого мы поехали в центральную часть Сталинграда. Мы двигались по длинной улице, по обе стороны которой стояли разбитые деревья. Улица шла параллельно Волге. Вот проехали мимо скопления трамвайных вагонов. Многие из них, вернее, все, были разрушены, разбиты и сожжены. Неужели они стоят здесь с 23 августа — со дня гигантского воздушного налета?.. Теперь мы убедились в том, что Сталинград был одним из современных городов; вся его центральная часть, так же как и его заводы, была построена за последние 10—12 лет. Здесь были обширные кварталы жилых домов — теперь, конечно, целиком выжженные, — общественные здания на центральной площади и разрушенный вокзал на ее краю. Он тоже несколько раз переходил из рук в руки во время жестоких боев в сентябре... Посреди площади стоял замерзший фонтан, вокруг которого еще плясали полуразбитые фигурки детей.

Здесь мы вышли из машины. В одном углу площади громоздилась огромная груда всевозможных бумаг — письма, географические карты, книги, фотокарточки немецких детей и пожилых женщин с ухмыляющимися самодовольными лицами, стоящих, по-видимому, где-то на мосту через Рейн, и зеленый католический молит-

веник под названием «Духовная броня для солдат», и письмо от мальчика по имени Руди, в котором говорилось: «Теперь, когда вы захватили мощную крепость Севастополь, война против заклятых врагов Германии, проклятых большевиков, скоро кончится».

Мы прошли пешком по главной улице, идущей в южную сторону, меж огромных кварталов сгоревших домов, до следующей площади. Посреди мостовой лежал труп немца. В тот момент, когда его настиг снаряд, он, должно быть, бежал. Его ноги, казалось, все еще бегут, хотя одна из них была срезана снарядом выше лодыжки и из замерзшего красного мяса торчала расколотая белая кость; все это как-то несуразно напоминало витрину мясной лавки. Лицо убитого представляло собой замерзшее кровавое месиво, а рядом темнела замерзшая лужица крови.

На другой большой площади некоторые дома были разрушены, но два стояли, приземистые и крепкие, хотя и выжженные внутри,— Дом Красной Армии и универмаг.

Посетив место, где произошла капитуляция Паулюса, и поговорив с лейтенантом Ильченко, который взял в плен фельдмаршала, мы снова вышли на улицу. Вокруг царило какое-то странное молчание. В некотором отдалении все еще валялся труп немца с оторванной ногой. Мы пересекли площадь и вошли во двор большого Дома Красной Армии. Здесь как-то особенно ясно я представил себе, каково было многим немцам в эти последние дни в Сталинграде. На крыльце лежал скелет лошади с крохотными лоскутками мяса, еще уцелевшими на ребрах. Отсюда мы прошли во двор. Здесь валялось еще несколько конских скелетов, а немного правее видна была колоссальная и страшная выгребная яма, к счастью совершенно замерзшая. И вдруг в дальнем конце двора я заметил человеческую фигуру. Человек этот присел на корточки над другой выгребной ямой. Завидев нас, он начал поспешно подтягивать штаны, а затем шмыгнул в дверь подвала. Но пока он проходил мимо, я успел рассмотреть лицо бедняги, на котором страдание смешалось с идиотическим непониманием происходящего. В эту минуту мне захотелось, чтобы вся Германия была сейчас здесь и могла полюбоваться этим зрелищем. Этот человек, вероятно, уже был на по-

роге смерти. В подвале, куда он украдкой шмыгнул, было кроме него еще 200 немцев, умиравших от голода и обморожения. «У нас еще не было времени ими заняться,— сказал один русский.— Я думаю, их завтра уберут». А в дальнем конце двора, рядом с другой выгребной ямой, за низкой каменной стеной, были сложены штабелями желтые трупы тощих немцев — тех, кто умер в этом подвале,— около десятка восковых кукол.

Это зрелище грязи и страданий во дворе Дома Красной Армии было последним моим впечатлением от Сталинграда. Мне припомнились и долгие тревожные дни лета 1942 года, и ночи лондонского «блица», и фотографии Гитлера, ухмыляющегося на ступеньках собора Мадлен в Париже, и тоскливые дни 1938 и 1939 годов, когда Европа нервно ловила берлинские радиопередачи и слушала вопли Гитлера, сопровождаемые людоедским ревом немецкой толпы. И я увидел знамение суровой, но божественной справедливости в этих замерзших выгребных ямах, в этих обглоданных лошадиных скелетах и желтых трупах умерших от голода немцев во дворе Дома Красной Армии в Сталинграде.

На Украине: личные впечатления

Нелегко было Гитлеру сказать «прощай» как Никополю с его марганцем, так и Кривому Рогу с его железной рудой и всей Правобережной Украине, этой сбширной колонии Эриха Коха и будущей (если не нынешней) житнице № 1, которая должна была утолить ненасытные аппетиты алчной «расы господ». Без всего этого «Зеленую папку»¹ и остальные планы немецкого сверхчеловека можно было бы спокойно выбросить в мусорную корзинку — ни для чего другого они не годились.

В конце 1943 года советские армии уже вгрызлись на известное расстояние в глубь Правобережной Украины. К исходу сентября и в начале октября они совершили один из самых поразительных своих подвигов: под покровом ночи тысячи и тысячи людей форсировали во многих пунктах мощную водную преграду — реку Днепр. Они сделали это «с ходу». Как только советские

¹ Изданные Герингом в июне 1941 года «Директивы по руководству экономикой во вновь оккупированных восточных районах».

войска достигли Днепра, тысячи солдат начали переправляться на другой его берег на рыбацких лодках, катерах или импровизированных плотках, на связанных друг с другом бочках или даже просто вплавь, уцепившись за доски или садовые скамейки. Немцы, похвалявшиеся своим неприступным «Восточным валом» на правом берегу Днепра, были захвачены врасплох. Их хваленых мощных укреплений, которые якобы были сооружены по всему течению Днепра, фактически не существовало вообще, а те укрепления, какие там имелись, не были своевременно укомплектованы людьми. Стоило только немцам попытаться оказать сколько-нибудь серьезное сопротивление, как это сопротивление сразу же подавлялось советской артиллерией с восточного берега реки. В одном месте 60 советских танков с тщательно задраенными люками и щелями форсировали реку. Переправившихся частей хватило для создания ряда плацдармов на другом берегу реки; войска 1-го Украинского фронта под командованием Ватутина заняли несколько таких плацдармов около Киева, а войска 2-го Украинского фронта под командованием Конева — не менее 18 южнее, и, хотя в последующие несколько дней немцы захватили 7 из них, нанеся советским войскам очень тяжелые потери, остальные 11 плацдармов слились в один. Как только все крупные плацдармы были прочно закреплены, русские навели через реку понтоны, и налеты немецкой авиации обычно удавалось с успехом отбивать благодаря мощной концентрации здесь советских истребителей. Для образования плацдармов были использованы также две бригады парашютных войск. На банкете в Кремле, состоявшемся во время Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании в октябре 1943 года, глава английской военной миссии генерал Мартель заявил, что ни одна армия в мире не могла бы совершить такого подвига, какой совершила Красная Армия, форсировав Днепр.

На первый взгляд могло показаться, что операция эта была не чем иным, как импровизацией; на самом деле она вместе со всеми ее атрибутами: бочками, садовыми скамейками и т. д. — была заранее разработана во всех деталях, и тем, кто особенно отличился при форсировании Днепра, были обещаны высокие награды (за участие в форсировании Днепра свыше 2 тыс. человек удостоились звания Героя Советского Союза).

Немецкая «линия Мажино» на Днестре оказалась в значительной степени блефом, и, как только наведение понтонов и паромов было закончено, русские перебросили на противоположный берег огромное количество боевой техники. 6 ноября Красная Армия освободила столицу Украины Киев. Несмотря на то что удачи перемежались отдельными неудачами (такими, как временное оставление Ватутиным — несколько позднее, в том же ноябре — Житомира, города, лежащего к западу от Киева), войска 1-го и 2-го Украинских фронтов овладели к январю обширными территориями на правом берегу Днепра. Войска Ватутина продвинулись на широком фронте примерно на 200 км к западу от реки, а войска Конева — примерно на 150 км. Еще южнее действовали войска 3-го Украинского фронта под командованием Малиновского и войска 4-го Украинского фронта под командованием Толбухина. В период с января по начало мая 1944 года войска этих четырех фронтов освободили всю Правобережную Украину.

Явно переоценивая свои силы и недооценивая наступательный дух и искусство Красной Армии, немцы — или по крайней мере Гитлер — были по-прежнему исполнены решимости не позже января 1944 года вновь захватить для начала всю Правобережную Украину. Имея в виду эту цель, они отчаянно цеплялись за свой Корсунь-Шевченковский выступ на Днестре, в 80 км к югу от Киева, растянувшийся примерно на 50 км вдоль западного берега реки. К северу от этого относительно узкого выступа находились войска Ватутина¹, к югу — войска Конева. Согласно плану Гитлера, немецкие войска должны были атаковать советские армии с этого выступа одновременно в северном и южном направлениях и таким образом вернуть Германии всю Правобережную Украину — затея столь же нереальная, сколь и многие другие гитлеровские планы на позднейших этапах войны.

Советское командование думало иначе. Здесь, полагало оно, открывалась блестящая возможность устроить немцам «второй Сталинград», хотя, конечно, и в меньших масштабах.

¹ 1 марта 1944 года генерал Ватутин был смертельно ранен при обстреле его машины бандой украинских националистов, и командование 1-м Украинским фронтом принял на следующий день маршал Жуков.

И действительно, между обеими этими операциями существовало поразительное сходство. Речь шла о том, чтобы зажать немецкие войска двойными клещами — с севера (Ватутин) и с юга (Конев), — сомкнуть эти клещи где-то западнее образовавшегося таким образом «котла» и помешать немецким армиям, находившимся за пределами его, прорваться к своей окруженной группировке. В данном случае роль армии Манштейна играла 8-я немецкая армия под командованием генерала Хубе. Главное различие между обстановкой в Сталинграде и в Корсунь-Шевченковском состояло в том, что немцы, окруженные в районе Корсунь-Шевченковского, все же попытались вырваться из «котла», в результате чего Красной Армии пришлось сражаться, так сказать, «на два фронта», по обе стороны от кольца, которым она окружила «корсунских» немцев.

Третьего февраля была объявлена важная весть о том, что после трехдневных тяжелых боев войска 1-го и 2-го Украинских фронтов, нанося удар — одни с юго-востока от Белой Церкви, другие с северо-запада от Кировограда, — соединились в районе Звенигородки и тем самым отсекали крупную немецкую группировку на Корсунь-Шевченковском выступе от основных сил противника. Немецкие дивизии оказались в окружении, и теперь начались шестнадцатидневные бои по их ликвидации. 9 февраля было взято Городище, находившееся внутри «котла», а 14 февраля и сам город Корсунь-Шевченковский, и, хотя немецким войскам, пытавшимся прорвать кольцо окружения извне, удалось в тот день незначительно вклиниться в оборону советских войск, уже 15 февраля все их дальнейшие попытки прорыва были успешно отражены. 18 февраля закончилось уничтожение немецких войск во всем Корсунь-Шевченковском «котле». По сообщению советской печати, 55 тыс. немецких солдат и офицеров было убито, 18 тыс. захвачено в плен; противник потерял также 500 танков, 300 самолетов и много другой боевой техники и вооружения.

В феврале и начале марта все четыре Украинских фронта пришли в стремительное движение. После ликвидации немецкой группировки в районе Корсунь-Шевченковского войска 2-го Украинского фронта за несколько недель проделали весь путь до румынской границы и вступили в северо-восточные районы Румынии. Действуя севернее, войска 1-го Украинского фронта встретили значительно более упорное сопротивление противни-

ка (войска этого фронта находились ближе к Германии, чем все остальные): тем не менее им удалось продвигаться широким фронтом до самых Карпат и почти до Львова и попутно овладеть украинской «столицей» Эриха Коха, городом Ровно. К югу от 2-го Украинского фронта развернулось чрезвычайно стремительное наступление войск 3-го Украинского фронта в направлении Херсона, Николаева и Одессы, освобожденной в начале апреля. Войска 4-го Украинского фронта выбили в феврале немцев с Никопольского плацдарма на левом берегу Днепра, после чего приступили к осуществлению блестяще выполненной ими в конце концов задачи по освобождению Крыма.

Счастье улыбнулось мне вскоре после ликвидации Корсунь-Шевченковского «котла» и на следующий день после того, как Конев овладел Уманью: я оказался единственным иностранным корреспондентом западной прессы, которому было разрешено посетить 2-й Украинский фронт, где я провел одну из поучительнейших недель за все мои военные годы в Советском Союзе. Главным моим спутником был майор Кампов, офицер из штаба Конева, ставший мне другом и прославившийся после войны как писатель Борис Полевой.

Двенадцатого марта я на военном самолете вылетел из Москвы и, пролетев над Днепром и Черкассами, прибыл в село Ротмистровку, которое вплоть до февраля находилось в северной части Корсунь-Шевченковского выступа. На другой день меня должны были перебросить на маленьком самолете У-2 в Умань, только что освобожденную войсками Конева.

Именно в Ротмистровке и произошла моя первая встреча с майором Камповым. Он выглядел бледным и усталым — правда, только телом, а не душой; военная форма его была запачкана, сапоги до колен забрызганы грязью. Он воевал уже три года; в суровую осень 1941 года он попал в Калининской области в окружение, из которого ему удалось вырваться, потеряв, однако, при этом большинство своих людей. В 1942 году он вместе с войсками Конева принял участие в трудном Ржевском наступлении, но сейчас у него за спиной было 8 месяцев непрерывных побед. Это был стройный темноволо-

сый человек со смеющимися серыми глазами и спокойнo-юмористическим выражением лица.

«Вы не могли бы выбрать лучшего времени для приезда,— сказал он,— знаете, что случилось сегодня? Наши войска уже форсировали Буг». Это была замечательная новость. По разговорам, Южный Буг, лежавший на пути к Одессе и Румынии, был одним из наиболее сильно укрепленных оборонительных рубежей немцев. (Фактически, как мне стало известно позднее, это оказалось совсем не так, поскольку немцы потеряли все свое тяжелое оружие, еще не дойдя до Южного Буга.)

«Наступление через слякоть и грязь» развернулось на полную мощь. Это был один из самых удивительных подвигов за все время войны, совершенный, казалось, вопреки всем правилам военного искусства. Через какие-нибудь три недели после ликвидации немецкой группировки в районе Корсунь-Шевченковского Конев нанес удар по войскам противника в такой момент, когда немцы меньше всего ожидали — настолько глубокой и непролазной была грязь на дорогах Украины.

В течение недели, проведенной мной на Украине, мне довелось много услышать (да и увидеть собственными глазами) о том, что произошло в Корсунь-Шевченковском «маленьком Сталинграде». С тех пор я прочел как советские, так и немецкие отчеты об этой операции и должен сказать, что если в отношении Сталинградской битвы и советская и немецкая версии в основном совпадают, то между обеими версиями Корсунь-Шевченковской операции имеется ряд значительных расхождений.

Согласно советской официальной «Истории войны», немецкие войска, все еще остававшиеся в «котле» после двух недель тяжелых боев и провала всех усилий пробиться к ним извне, предприняли в ночь с 16 на 17 февраля последнюю отчаянную попытку вырваться из сжимавшего их кольца. Несмотря на сильный буран, на них обрушился сначала мощный артиллерийский и минометный огонь, затем легкие бомбардировщики, затем пулеметный огонь, и наконец их атаковали советские танки и кавалерия.

«Лишь небольшая группа вражеских танков и бронетранспортеров с генералами и старшими офицерами, бросившими войска на произвол судьбы, прорвалась под прикрытием пурги в направлении Лысянки. До этого

гитлеровское командование сумело вывести из «котла» самолетами 2—3 тыс. солдат и офицеров... Корсунь-Шевченковская операция завершилась... ликвидацией десяти дивизий и одной бригады врага. 55 тыс. фашистских солдат и офицеров было убито и ранено, 18 200 человек взято в плен. Противник потерял все вооружение и боевую технику»¹.

Все это оказало крайне деморализующее влияние на другие части немецкой армии на Украине.

Немецкие авторы, напротив, пытались умалить значение катастрофы. По утверждению Манштейна², в окружение попало только 6 дивизий и одна бригада, или в общей сложности 54 тыс. человек; русские опровергают эту цифру, ссылаясь на захваченные ими в то время немецкие военные документы. Другие немецкие историки, в частности Филиппи и Гейм, сваливают (как обычно) всю вину на Гитлера, упрекая его в том, что он вообще пытался удержать «совершенно бесполезный» Корсунь-Шевченковский выступ; при этом они утверждают, что, когда оставшиеся еще здесь 50 тыс. окруженных солдат и офицеров предприняли 17 февраля свою отчаянную попытку прорваться, 30 тыс. человек удалось выйти из кольца окружения, а около 20 тыс., а также вся боевая техника окруженных дивизий «были потеряны»³.

Можно, однако, с уверенностью сказать, что прорыв, осуществленный 17 февраля — безуспешно, по советской версии, и с частичным успехом, согласно немецкой версии, — обошелся немцам очень дорого.

Учитывая противоречивость послевоенных версий, быть может, интересно будет привести здесь живой рассказ очевидца всех этих событий, майора Кампова, который я услышал от него в ту нашу встречу.

¹ История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 в 6-ти томах, т. 4, с. 68.

² См. там же. Подробный отчет об этой битве имеется также в работе Ф. Меллентина «Танковые сражения». М.: 1957.

³ Большое расхождение между признаваемой немцами потерей 20 тыс. человек и приводимой русскими цифрой 80 тыс. убитых, раненых и плененных немцев, быть может, объясняется тем, что немцы говорят только о потерях во время «последней» попытки прорыва, без учета потерь в результате чрезвычайно тяжелых двухнедельных боев во время ликвидации «котла». Если к числу 20 тыс. человек, потерянных 17 февраля, добавить потери, понесенные немцами за время этих боев, то русская цифра 80 тыс. человек станет вполне вероятной.

Начав с описания того, как войска Ватутина и Конева сомкнули 3 февраля кольцо вокруг выступа, Кампов сказал:

— Прорвавшись с танками, орудиями и моторизованной пехотой сквозь оборону противника, мы были вынуждены действовать на два фронта внутри кольца, а это было сначала очень трудно. Нас обстреливали с обеих сторон, и нам приходилось непрерывно атаковать противника, чтобы расширить свое кольцо, а оно вначале было всего каких-нибудь три километра шириной. Само собой разумеется, мы несли очень тяжелые потери. Но даже и в этих условиях нам уже через шесть дней удалось расширить кольцо почти до тридцати километров в самом узком его месте.

В начале окружения площадь «котла» была почти четыреста квадратных километров, и долгое время нам надо было драться не только с войсками, находившимися в самом «котле», но и с теми, что наступали извне, а их было не менее восьми танковых дивизий¹. Командовал ими генерал Хубе. Внутри «котла» оказались десять дивизий, включая одну танковую, а также бельгийская мотобригада СС «Валлония». Среди ее командного состава был и главный бельгийский фашист Дегрель, однако ему удалось бежать вместе с несколькими немецкими генералами на самолете. А жаль: было бы интересно «проинтервьюировать» его. Все бельгийские фашисты — головорезы-уголовники и авантюристы худшего пошиба.

В нашем кольце были сосредоточены очень крупные силы, и войска Хубе мало чего могли добиться. Что касается «котла», то тут нашей тактикой было расчленить его на части и ликвидировать каждую часть отдельно. Так мы сметали деревню за деревней, где окопались немцы, — мы устроили им настоящее кровавое побоище. Боюсь, что во время него погибли и некоторые из наших — жители этих деревень; это одна из самых жестоких сторон такой войны.

Так или иначе, за четыре-пять дней до конца немцы располагали всего лишь участком площадью около десяти на десять с половиной километров; главными узлами сопротивления были Корсунь-Шевченковский и Шендеровка. К этому времени вся территория «котла» простреливалась нашей артиллерией, но немцы продолжа-

¹ По утверждению Филиппи и Гейма, им было семь.

ли держаться в надежде на то, что случится чудо и Хубе прорвется к ним извне. Однако скоро все их сладкие мечты начали испаряться. А затем пал Корсунь-Шевченковский, и единственное, что у них еще оставалось, был крошечный клочок земли вокруг Шендеровки.

Как сейчас помню ту последнюю, решающую ночь на семнадцатое февраля. Поднялась страшная пурга. Конев, в танке, сам разъезжал по насквозь простреливавшемуся «коридору». Я был верхом и носился из одного пункта в этом «коридоре» в другой, выполняя поручения генерала; было так темно, что я не мог разглядеть ушей своего коня. Я говорю об этой темноте и пурге, потому что они сыграли важную роль в том, что произошло...

Именно в эту ночь, или накануне вечером, окруженные немцы, потеряв всякую надежду на помощь со стороны Хубе, решили предпринять последнюю отчаянную попытку вырваться из «котла».

Шендеровка — большое украинское село примерно в пятьсот домов, и здесь войска Штеммермана (это был последний генерал, который еще оставался в «котле»; все другие бежали) вознамерились провести последнюю ночь и хорошенько выспаться. Конев узнал об этих планах и твердо решил любой ценой помешать немцам отдохнуть и осуществить на следующее утро организованный — или вообще какой бы то ни было — отход. «Знаю, что ночь черт знает какая, метет пурга, но мы должны применить ночные бомбардировщики, чтобы использовать обстановку», — сказал он. Ему возразили, что в такую погоду бомбардировщики просто не смогут ничего сделать, тем более что Шендеровка — такой мелкий объект. Но Конев заявил: «Это очень важно, и я считаю ваши возражения вполне основательными. Я не хочу ничего приказывать летчикам, но свяжитесь с комсомольской авиачастью и скажите, что мне нужны для этого добровольцы». Нам выделили авиачасть, состоявшую почти из одних комсомольцев; все они, без исключения, пошли на выполнение задания добровольно. И вот как это все произошло. Самолеты У-2 сыграли здесь огромнейшую роль. Видимость была настолько плохая, что вначале никакой самолет, кроме такого тихохода, как У-2, не мог бы ничего сделать. «Уточка» засекли Шендеровку, несмотря на снегопад и темноту. Немцы их никак не ждали. Они пролетели вдоль всей Шендеровки и сбросили на нее зажигательные бомбы. Вспыхнуло мно-

жество пожаров. Теперь цель была ясно видна. Очень скоро после этого — а только что пробило два часа ночи — прилетели бомбардировщики и в течение целого часа бомбили село. Наша артиллерия, находившаяся теперь всего в пяти километрах от Шендеровки, также открыла по ней сосредоточенный огонь. Особенно радовало нас во всем этом то, что, как мы знали, немцы выгнали всех до единого жителей деревни в степь. Они хотели чувствовать себя здесь полными хозяевами, хотели, чтобы ничто не могло потревожить их сна. Начавшаяся бомбежка и обстрел заставили их, однако, покинуть теплые хаты и бежать.

Весь предыдущий вечер немцы находились в каком-то полуистерическом состоянии. Немногие оставшиеся в деревне коровы были зарезаны и съедены чуть ли не с каннибальской прожорливостью. Когда кто-то обнаружил в одной из хат бочку с кислой капустой, поднялась дикая драка. Острую нехватку продовольствия они ощутили сразу, как только оказались в окружении: непрерывно отступая, немецкая армия не имела крупных продовольственных складов поблизости от линии фронта. Поэтому войска, попавшие в Корсунь-Шевченковский «котел», жили главным образом грабежом местного населения. Впрочем, тем же они занимались и до окружения.

У них была в ту ночь грандиозная попойка, однако зажженные «уточками» пожары, а также бомбежка и обстрел сразу заставили их протрезветь. Изгнанные из своих теплых хат, они были вынуждены бежать из Шендеровки и искать прибежища в оврагах за деревней. Здесь они приняли отчаянное решение прорваться рано утром. У них уже почти не оставалось танков — вся их боевая техника была уничтожена или брошена во время боев в предыдущие дни, а те немногие танки, какие у них еще имелись, стояли без горючего. За последние несколько дней территория, на которой они сосредоточились, сократилась настолько, что транспортные самолеты не могли им что-либо доставить. Но еще и до этого к ним добиралось лишь небольшое число транспортных самолетов, а иногда случалось, что грузы продовольствия, горючего и боеприпасов сбрасывались прямо на наши позиции.

Итак, в то утро все немцы построились в две маршевые колонны, примерно по четырнадцать тысяч человек каждая, и так прошли до Лысянки, где сходятся

два оврага. Лысянка находилась внутри «коридора», за пределами нашей передовой линии. Немецкие дивизии по другую сторону этого «коридора» пытались пробить себе дорогу на восток, но теперь «коридор» стал настолько широк, что это вряд ли могло бы им удалиться.

Странное зрелище представляли собой эти две немецкие колонны, пытавшиеся вырваться из окружения. Каждая из них походила на колоссальную толпу. Голова и фланги колонны были образованы эсэсвцами из бригады «Валлония» и дивизии «Викинг» в жемчужно-серых мундирах. Они были в относительно хорошем физическом состоянии. Внутри же треугольника брели простые немецкие пехотинцы, имевшие гораздо более жалкий вид. В середине толпы шла горстка «избранных» — офицеры. Они также выглядели сравнительно хорошо. И так эти колонны двигались на запад вдоль двух параллельных оврагов. В путь они тронулись рано утром, в пятом часу, когда было еще совершенно темно. Мы знали, с какой стороны они идут, и подготовили для их встречи пять линий — две линии пехоты, затем линию артиллерии и, наконец, еще две линии, где их подстерегали танки и кавалерия... Мы пропустили их через первые линии, не сделав ни единого выстрела. Думая, что им удалось обмануть нас и прорваться через все наши укрепления, немцы разразились громкими, ликующими воплями, на ходу стреляли в воздух из пистолетов и автоматов. Теперь они выбрались из оврагов и шли по открытой местности.

И вот тогда-то все и произошло. Было около шести часов утра. Наши танки и кавалерия внезапно появились из своих укрытий и устремились прямо в гущу обеих колонн. Трудно описать, что тут началось. Немцы бежали во все стороны, и в течение четырех часов наши танки носились взад и вперед по равнине и сотнями давили их. Наперегонки с танками наша кавалерия¹ гнала их по оврагам, где танкам было трудно продолжать преследование. Большую часть времени танки не стреляли, опасаясь задеть свою кавалерию. Многие сотни кавалеристов рубили фрицев саблями и крушили их так, как никогда еще не крушила врага кавалерия. Брать пленных было некогда. Это была бойня, которую ничто не могло остановить, пока она не закончится. На не-

¹ Это была, по-видимому, одна из немногих операций на столь позднем этапе войны, в которой кавалерия сыграла важную роль.

большом участке было перебито более двадцати тысяч немцев. Я был в Сталинграде, но мне никогда не доводилось видеть такого сконцентрированного в одном месте побоища, как здесь — в полях и в оврагах на этом маленьком клочке земли. К девяти утра все было кончено. В этот и следующие несколько дней нам сдалось в плен восемь тысяч человек. Это были те, кто убежал как можно дальше от главной арены бойни и прятался в лесах и оврагах.

Три дня спустя мы обнаружили в Дюржанцах тело генерала Штеммермана. А вскоре после этого Конев мог от души посмеяться, когда германское радио сообщило со всевозможными подробностями о том, как Гитлер лично вручал Штеммерману высокую награду. В том, что генерал Штеммерман был мертв, никаких сомнений быть не могло. Я сам видел его труп. Наши бойцы положили его на грубо сколоченный деревянный стол в каком-то сарае. Там он и лежал, со всеми своими орденами и медалями на груди. Это был старик небольшого роста, седой. Судя по глубокому сабельному шраму на щеке, он принадлежал в молодости к какой-нибудь студенческой корпорации дуэлянтов. Мы сначала подумали, не было ли это инсценировкой — может, это простой солдат, переодетый в генеральский мундир. Однако все личные документы Штеммермана были при нем. Конечно, немцы могли подделать документы, но вряд ли им пришло бы в голову подделывать удостоверение с фотокарточкой на право ношения охотничьего ружья, выданное в 1939 году в Шварцвальде... Мы похоронили Штеммермана как подобает. Мы можем себе позволить хоронить генералов подобающим образом. Остальных мы зарывали в ямы; если бы мы вздумали рыть для каждого отдельную могилу, нам потребовалась бы в Корсунь-Шевченковском целая армия могильщиков... А терять время мы не могли. Конев очень придирчив, он требует, чтобы трупы были убраны за два дня летом и за три зимой... Однако мертвые генералы попадают не так уж часто, поэтому мы могли устроить Штеммерману надлежащие похороны. Во всяком случае, он был там единственный генерал, который не струсил. Все остальные драпанули на самолетах.

— Он что, покончил с собой? — спросил я.

— Нет, его ударило в спину осколком снаряда, но многие эсэсовцы действительно кончали самоубийством, хотя, пожалуй, только они.

— А что они делали со своими ранеными? Правда ли, что они их убивали?

— Да. И это, несомненно, способствовало той атмосфере истерии, какой была отмечена их последняя ночь в Шендеровке. Приказ убивать раненых выполнялся очень строго. Они не только застрелили сотни своих раненых — так, как они обычно расстреливали русских и евреев, в затылок, — нет, они еще зачастую поджигали санитарные машины с мертвыми. Что может быть более жутким, чем зрелище, представшее нашим глазам, когда мы открыли эти обгорелые фургоны? Все они были полны обуглившихся скелетов со слишком просторными гипсовыми повязками вокруг рук или ног. Ведь гипс не горит...

Разгром Корсунь-Шевченковской группировки подготовил почву для нашего нынешнего весеннего наступления. Он явился фактором огромнейшей психологической важности. Немцы до известной степени забыли Сталинград; во всяком случае, впечатление от Сталинграда отчасти уже потеряло для них остроту. Важно было напомнить им о нем. Теперь они будут еще больше бояться окружения.

Мне трудно сказать, являются ли приведенные Камповым факты и цифры более правильными, чем те, которые назывались немцами после войны. Трудно мне также судить о том, действительно ли ни одному немцу, как явствует из его рассказа, не удалось вырваться из «котла»; вероятно, некоторым, в частности генералам, все же удалось. А может быть, они бежали на самолетах за несколько дней до того. Однако рассказ Кампова, даже если сделать скидку на некоторую склонность последнего к романтизации событий (в частности, что касалось кавалерии), по-видимому, дает удивительно живую и правдивую картину того, что произошло на самом деле. Слушая его, я отчетливо представил себе как истерическое состояние полной безнадежности, охватившее закаленные фашистские войска, когда они оказались в «котле», так и то ожесточение («брать пленных было некогда»), с которым дрались советские войска.

Надо самому увидеть украинскую весеннюю распутицу, чтобы понять, что это такое. Вся страна превращается в сплошное болото, а дороги уподобляются потокам грязи, нередко полметра или даже метр глубиной,

с глубокими ямами, которые делают еще более трудным передвижение по этим дорогам любого вида транспорта, кроме советского танка Т-34. Большинство немецких танков оказалось не в состоянии преодолеть эту грязь.

8-я армия генерала Хубе, не сумев пробиться в Корсунь-Шевченковский «котел» и понеся при этом очень тяжелые потери, решила, несмотря ни на что, удержать свой участок линии обороны, проходившей от Кировограда на юге до Винницы на севере, то есть линию, начинавшуюся южнее Корсунь-Шевченковского выступа (находившегося теперь в руках советских войск) и кончавшуюся примерно в 65 км к северу от Умани. Немцы считали, что, пока период распутицы не кончится, бояться им абсолютно нечего: поэтому они спокойно занялись укреплением своей новой оборонительной линии севернее Умани, мобилизовав для этого тысячи украинцев — из местных жителей.

Однако 5 марта, в самую распутицу и бездорожье, Конев начал свое фантастическое «молниеносное наступление через слякоть и грязь». Оно началось с артиллерийской подготовки, в результате которой на немецкие позиции обрушился шквал огня. Не прошло и шести дней, как немцы были отеснены и выбиты из Умани. Грязь была настолько непролазной, что они бросали на произвол судьбы сотни танков, грузовиков и орудий и бежали — по большей части «своим ходом» — к Умани и за нее. На одной из железнодорожных станций советские войска захватили только что прибывший сюда немецкий эшелон с 240 новехонькими танками. Обычно, однако, немцы сжигали или взрывали при отходе все свои грузовики и танки.

Хотя советские танки и были способны передвигаться по грязи, артиллерия от них отставала, и преследовать немецкую пехоту очень часто приходилось пехотным частям, иногда при поддержке танков, а иногда и без нее. Коневское «наступление через слякоть и грязь» «противоречило всем правилам», и немцы, конечно, не ожидали его. Советская пехота и танки быстро продвигались к Южному Бугу, а затем, форсировав его, устремились к границам Румынии. Снабжение их продовольствием, боеприпасами и горючим осуществлялось с помощью авиации. Самолеты также бомбили немецкие войска и, если бы не отвратительная погода, нанесли бы им еще больший урон. Единственный вид транс-

порта (не считая танков Т-34), который довольно успешно преодолевал грязь, были грузовики «студебекер», и советские солдаты не могли ими нахвалиться.

Особенно поразил меня в последующие дни высокий боевой дух советских армий и плохое состояние немецких войск, деморализованных Корсунь-Шевченковской катастрофой, внезапностью коневского наступления и утратой практически всей тяжелой боевой техники.

На следующий день с разрешения генерала Конева мы с майором Камповым вылетели на двух маленьких самолетах У-2 из Ротмистровки в Умань. Только У-2 позволяет испытать неповторимое ощущение полета, каким мы представляем его себе в детстве. Душные, закупоренные пассажирские самолеты ничего подобного дать не могут. Сидя на открытом сиденье позади пилота, я испытывал такое чувство, будто лечу впервые в жизни. Мы пролетели над домами Ротмистровки со скоростью, не превышавшей 90 км в час; игравшие в садах дети, люди на дорогах приветственно махали нам руками, и мы отвечали им тем же. Большую часть времени мы шли на высоте 20—30 м от земли. Вначале глаза мои резало от холодного ветра, но, когда пилот дал мне защитные очки, блаженство мое стало полным. Подобно птице, самолет то нырял в долины и овраги, то снова взмывал вверх, над холмами и лесами, или кружил над городами и деревнями, смотреть на которые было особенно интересно. Снег уже исчез, и в воздухе чувствовалась весна. Земля была темно-бурого, почти черного цвета, деревья стояли голые, но воображение уже рисовало картину полей с густой пшеницей, поднимающейся из влажной, тучной почвы. Мы сделали круг над Корсунь-Шевченковским выступом. Некоторые деревни сохранились в целости, но были почти безлюдны, и совсем не было видно скота. От других деревень, особенно от Шендеровки, где немцы провели свою последнюю ночь, остались только груды обломков, хотя среди развалин все еще росло много вишен и яблонь. Между холмами к западу от Шендеровки вились, подобно двум блестящим коричневым лентам, две дороги, по которым в ту ночь на 17 февраля немцы двинулись навстречу смерти.

Затем мы сделали круг над какой-то равниной; ее все еще усеивали сотни немецких касок, но все трупы

были уже захоронены. Пройдет немного времени, и земля, в которой лежат тысячи убитых, зарастет травой.

Вот впереди показалось несколько линий траншей — до 5 марта это были немецкие траншеи. Миновав линию разрушенных немецких укреплений, мы пролетели много километров над дорогами, являвшими собой престранное зрелище. Они были завалены тысячами сгоревших грузовиков и сотнями танков и орудий, брошенных немцами во время панического отступления по слякоти и грязи. И эта странная, неподвижная процессия сгоревших машин и танков тянулась до самой Умани.

После почти двухчасового полета наши У-2 приземлились на уманском аэродроме. Здесь мы увидели несколько искореженных немецких самолетов, а на дальнем конце летного поля высился огромный стальной каркас сгоревшего немецкого транспортного самолета.

Майор заговорил о генерале Коневе. «Конев,— сказал он,— старый солдат. Во время гражданской войны он воевал в Сибири. Здесь он организовывал партизанские отряды. Он был военным комиссаром одной из партизанских дивизий и командовал бронепоездом, сражавшимся с японцами. Позднее он с винтовкой в руках участвовал в штурме Кронштадта — во время кронштадтского мятежа в двадцать первом году. Как в Сибири, так и в Кронштадте с ним был писатель Фадеев — с тех пор они остались друзьями на всю жизнь.

Вы никогда с ним не встречались? Ему сорок восемь лет, он почти совсем лысый и седой. У него широкие плечи, и он может быть очень строгим. Но обычно в глазах у него мелькает веселая смешинка. Он почти всегда носит очки. Очень любит читать, поэтому всегда возит с собой целую библиотеку. Увлекается чтением Ливия, а также наших классиков, которых любит цитировать в разговоре,— то тут, то там ввернет что-нибудь из Гоголя, или Пушкина, или же из «Войны и мира». Живет он в простой крестьянской хате, а когда ездит по фронту, то надевает плащ, чтобы не смущать своим присутствием солдат. Очень аскетичен в своих привычках, не пьет и терпеть не может, когда кто-нибудь напивается; очень требователен к самому себе и другим. Из всех его увлечений мирного времени ему больше всего недо-

стает охоты на куропаток; он прекрасный стрелок. Ну, что еще можно сказать о нем? Он прилично знает английский язык и довольно легко читает по-английски».

В один из следующих дней военные власти в Умани сообщили мне, что потери немцев за неделю с начала советского наступления 5 марта составили в общем свыше 600 танков (из них 250 в хорошем состоянии), 12 тыс. грузовиков (в большинстве выведенных из строя), 650 орудий и 50 складов боеприпасов и продовольствия. За ту же неделю они потеряли около 20 тыс. убитыми и 25 тыс. попавшими в плен; советские войска также понесли за время прорыва большие потери, но после того, как немцы были обращены в бегство, потери стали гораздо меньше.

Помню также весьма многозначительную беседу, состоявшуюся у меня на той неделе в Умани с одним полковником авиации. Я называю ее многозначительной, поскольку отношение этого полковника к западным союзникам было теперь — в марте 1944 года — несравненно более теплым, чем то, какое наблюдалось в Красной Армии до сих пор. Он рассказал, как авиация обеспечивала снабжение армии продовольствием, боеприпасами и горючим во время продвижения «к Румынии», а потом заметил:

«Немецкая авиация сейчас значительно слабее, чем прежде. Немцы только в очень редких случаях посылают на операцию пятьдесят бомбардировщиков сразу, обычно они используют для этого не более двадцати. Нет никакого сомнения в том, что все эти бомбежки Германии сильно отразились на немецкой технике — как авиационной, так и сухопутной. Наши солдаты понимают важность этих союзнических бомбардировок; они теперь называют англичан и американцев «нашими»... Масса немецких истребителей вынуждена сейчас действовать на западе, и мы имеем возможность интенсивно бомбить немецкие войска, иногда даже не встречая сколько-нибудь энергичного отпора в воздухе». Помолчав, он добавил: «Все эти «китихауки» и «аэрокобры» — чертовски хорошие машины, не то что прошлогодние «томагавки» и «харрикейны» — от тех было мало толку. Но здесь у нас главным образом советские самолеты, низко летящие штурмовики, при одном приближении которых немцы со страху теряют штаны...»

Небольшой городок Умань представлял собой в некотором смысле как бы всю Украину в миниатюре. Численность его населения упала теперь с 43 тыс. до 17 тыс. человек. Прожив здесь неделю, можно было составить себе известное представление почти о всех сторонах жизни Украины во время немецкой оккупации — если не считать тяжелой промышленности, которой здесь не было во всей округе. Умань являлась центром обширного сельскохозяйственного района, одного из богатейших на Украине, славящегося пшеницей, сахарной свеклой, кукурузой, фруктами и овощами. Как и во многих других украинских городах, до войны почти четверть населения составляли здесь евреи. Сейчас на улицах нельзя было увидеть ни одного еврейского лица. Половина евреев бежала в 1941 году на восток, а те 5 тыс. человек, которые остались в городе — в том числе и дети, — были однажды ночью согнаны в большой склад; окна и двери здания немцы заколотили и герметически закрыли, и все, кто здесь находился, умерли через два дня от удушья. Теперь в городе были партизаны, а во время оккупации здесь существовало советское подполье. Нашлись в Умани и разного рода коллаборационисты, а также украинские националисты. Все разговоры, с чего бы они ни начинались, неизменно сводились к рассказам об угоне немцами местных жителей. Около 10 тыс. уманских девушек и юношей были вывезены отсюда в качестве рабов в Германию. Лишь очень небольшому числу молодежи удалось избежать этой участи, примкнув к партизанам, которых в этой степной части Украины было не так уж много.

В день нашего приезда Умань представляла собой фантастическое зрелище. Одно из больших зданий в центре города еще тлело. Улицы были загромождены сгоревшими немецкими машинами и усыпаны тысячами втоптаных в грязь обрывков бумаги: канцелярских дел, личных документов, писем, фотографий, а также целых пачек хорошо отпечатанных красочных листовок на украинском языке, превозносивших «германо-украинский союз».

Эти листовки были, по-видимому, элементом одной из наспех предпринятых немцами попыток создать антисоветскую и профашистскую «украинскую армию» по типу власовской. Эти попытки не принесли желаемых результатов. В проулке между двумя домами лежал

среди всего этого мусора мертвый немецкий солдат — парнишка не старше 18 лет.

Неистощимым объектом для шуток служил здесь один немецкий генерал, который бежал из Умани на полуразвалившемся стареньком тракторе, переваливавшемся, как верблюд,— это было одно из немногих средств передвижения, способных совладать со страшной грязью.

Улицы Умани были в тот день почти безлюдны; жители города, по-видимому, все еще боялись выходить из домов после непрерывной стрельбы предыдущих дней. Нигде не видно было также и милиции; вместо нее по улицам расхаживали или разъезжали верхом на лошадях какие-то странные фигуры — мужчины в меховых папах с прикрепленными к ним алыми ленточками. На многих из них были немецкие шинели. Это были партизаны из близлежащей местности. Я вступил с некоторыми из них в беседу. Один из них, молодой парень в запятнанной кровью немецкой шинели, рассказал мне длинную историю о том, как его схватила и пытала немецкая охранка, как ему удалось бежать и как немцы потом убили его жену, которая оставалась в Умани. Он рассказывал все это с навевающим ужас спокойствием. «В нашем городе оказалось много предателей,— заявил он,— самым худшим из них был главный палач охранки, сволочь, по фамилии Воропаев; но сейчас он сидит под замком в НКВД. Мы уж позаботимся о том, чтобы он не избежал веревки».

Другим партизаном, с которым я беседовал, оказался чисто выбритый толстяк в сдвинутой на затылок засаленной шапке, похожий на завсегдатая какого-нибудь трактирчика в Лидсе или Манчестере. Он работал в уманском железнодорожном депо и осуществлял связь с партизанами. «Мы помогаем советским властям вылавливать всех шпионов и предателей», — объяснил он.

Мы с майором Камповым устроились в импровизированном общежитии советских офицеров и за эту неделю повидали в Умани множество самых удивительных людей. Всего лишь несколько дней назад в этом доме жили немецкие офицеры, поэтому пришлось организовать здесь тщательные поиски мин и «сюрпризов». Одна мина была обнаружена внутри старого, дребезжащего фортепьяно; если бы кому-нибудь вздумалось нажать на его клавиши, дом взлетел бы на воздух.

На следующий день на улицах Умани появилось не только много солдат, но и несколько больше, чем накануне, штатских. Дома в центре города были маленькие, ничем не примечательные; до войны в них жили в основном евреи. Окраины были застроены более приятными для глаза украинскими хатками, крытыми соломой и окруженными садами. Я смешался с большой толпой штатских, которые пришли на центральную площадь города, чтобы присутствовать на военных похоронах погибшего экипажа советского танка. Чуть ли не все разговоры велись на одну тему — как жителей города угоняли в Германию. Из Умани была вывезена фактически вся молодежь. «Техника» угоня время от времени менялась. Кое-где немцы начали с того, что стали предлагать молодежи соблазнительные трудовые контракты, несколько десятков молодых людей попало однажды на эту удочку, остальных забрали силой. Однако существовали способы избежать мобилизации; для этого надо было обладать достаточной ловкостью и деньгами, чтобы суметь подкупить какого-нибудь немецкого врача или чиновника. Среди немцев процветала коррупция. Чтобы уклониться от отправки в Германию, довольно часто практиковалось также нанесение самому себе каких-либо увечий.

Я слышал также рассказы о «казаках», поступивших на службу к немцам. Это был всякий сброд. За несколько дней до ухода немецких войск из Умани некоторые из этих «казаков», как мне рассказали, получили от своих хозяев полную свободу действий; они разграбили часть города и изнасиловали несколько девушек. Говорили, что немцы одели их в красноармейскую форму и объявили, что они из передовой советской части. По этому поводу ходили толки, что немцы хотели, чтобы население испугалось приближения Красной Армии и бежало на Запад.

Гестапо и СД действовали в Умани чрезвычайно активно. Все евреи были убиты; однако гестапо энергично истребляло также и людей нееврейской национальности. Несколько позднее я побывал на поле позади тюрьмы и видел там трупы 70—80 гражданских лиц, расстрелянных немцами перед уходом из Умани. Среди них было много простых крестьян и крестьянок, заподозренных в «партизанской» деятельности и арестованных. Среди трупов мне бросилось в глаза тело маленькой девочки лет шести с дешевеньким колечком на пальце.

Ее, очевидно, расстреляли, чтобы она не могла ничего рассказать. Я видел также штаб-квартиру гестапо с обратительными орудиями пытки, вроде тяжелой деревянной дубинки, которой гестаповцы разбивали арестованным руки во время допросов.

Один из вечеров мы провели в городском Совете. Председатель горсовета Захаров, невысокий человек с бледным лицом и зачесанными назад темными волосами, был одним из главных партизанских вожаков на Украине. Он был трижды ранен.

Как рассказал нам председатель горсовета, партизаны могли действовать на Украине, где лесов мало, лишь небольшими группами; самыми крупными из организованных им пяти отрядов были два отряда по 200—300 человек каждый, действовавшие в лесах вокруг Винницы. У них имелись радиоприемники, и они размножали листовки с советскими сообщениями о военных действиях, распространяя их в городах и деревнях. У них не хватало оружия, и, как правило, они не принимали в свои отряды людей без оружия; добровольцам предлагалось вступать в украинские полицейские отряды, чтобы добыть как можно больше оружия и боеприпасов, а потом вернуться обратно в отряд. Винницкие партизаны имели много кровавых схваток с немецкими карательными отрядами и «казаками» и по сравнению с партизанами Белоруссии и других, более богатых лесами областей страны понесли очень тяжелые потери. Особенно трудно приходилось им в районе Умани, где почти совсем не было лесов. Тем не менее этим пяти отрядам удалось в одном только 1943 году пустить под откос 43 вражеских эшелона с военным снаряжением; были на их счету и другие смелые подвиги.

В июле 1941 года, продолжал свой рассказ Захаров, он был ранен и не смог следовать за своей частью. Немцы захватили его в плен, но он бежал и добрался до Умани, которая к тому времени уже была оккупирована врагом. Он прибыл сюда в октябре 1941 года и с тех пор «работал на благо Родины». В 1942 году Захаров попал в лапы гестапо, где его зверски били и повредили ему позвоночник, «так что теперь я знаю, как гестаповцы допрашивают людей». Позднее он был выпущен на свободу и на некоторое время исчез, после чего появился в Виннице — уже с бородой и в облачении священнослужителя. Иногда он надолго уходил в леса, где партизаны знали его как «дядю Митю».

«Это была трудная и суровая жизнь,— сказал он.— Враг был беспощаден, и мы отвечали ему тем же. А сейчас мы будем беспощадны к предателям». Захаров говорил тихим, усталым голосом. «Плакать, когда идет война, бесполезно,— заметил он.— Хотя нас было и немного, мы все же ухитрились доставлять немцам массу неприятностей. Мы расклеивали по ночам в городках и деревнях вокруг Винницы объявления, в которых писали: «Вы здесь хозяева с 7 утра до 7 вечера, а с 7 вечера до 7 утра хозяева мы, и мы запрещаем вам выходить из ваших домов». И, черт возьми, они обычно подчинялись этому приказу, а если когда-нибудь нарушали его, то потом горько об этом жалели...»

Что касается жизни в период оккупации в самой Умани, то она, хоть и в меньших масштабах, весьма напоминала то, что я уже видел в Харькове: все школы были фактически закрыты, медицинское обслуживание населения значительно ухудшилось, число поликлиник было сокращено на три четверти. С уничтожением евреев большинство мелких мастерских исчезло. Единственное крупное промышленное предприятие города — большой сахарный завод — было разрушено немцами. Предстояло срочно восстановить его. В одном отношении, правда, положение в Умани сильно отличалось от того, что наблюдалось в Харькове: в этом богатом сельскохозяйственном районе всегда было достаточно продовольствия, чтобы население могло хоть как-то жить.

Я спросил у Захарова, какова была сельскохозяйственная политика немцев и как было организовано городское управление.

В целом немцы рассматривали эту часть Украины как свою житницу и делали всё, что могли, чтобы не позволить сельскому хозяйству прийти в упадок. Они не распустили колхозы или, вернее, кое-где в пропагандистских целях распределили между крестьянами землю одного колхоза из каждых ста, дав понять, что то же самое будет рано или поздно сделано и с землей остальных колхозников. Не скупились они также и на другие обещания, однако никто им не верил, а пока суд да дело, продолжали придерживаться колхозной системы организации сельского хозяйства как наиболее легко управляемой. Обработка земли проводилась в большинстве случаев менее тщательно, чем до войны,— не хватало тракторов, даже с теми, которые немцы

ввезли сюда из Германии; нередко крестьянам приходилось распахать поля на лошадях и даже на коровах. Два фактора обеспечили, однако, хорошее проведение сева озимой пшеницы: резиновая дубинка немецких чиновников, а еще больше твердая вера в то, что снимать урожай в 1944 году будут не немцы, а украинцы... Во многих деревнях обстановка была ужасная. Староста назначался немцами — он мог быть хорошим или плохим человеком или попросту человеком слабым, но над ним всегда ставился начальник из эсэсовцев. «Я знаю одну деревню,— сказал Захаров,— а таких было много,— где эсэсовец приказал старосте каждую ночь приводить к нему девушек, даже девочек тринадцати-четырнадцати лет.

Здесь, в Умани,— продолжал он,— у нас сменилось три гебитскомиссара (гебитскомиссар — чиновник, ведавший делами гражданского населения). В помощь ему придавались офицеры из войск СС. Имелись военная комендатура, районный начальник по сельскому хозяйству, или ландвиртшафтсфюрер,— скотина, по фамилии Ботке, который в выходные дни ходил в тюрьму, чтобы присутствовать при допросах и пытках заключенных и самому в них участвовать; это был настоящий садист. Бургомистром Умани был фолксдейче Генш, а помощником у него служил украинец, некто Квяткивский. Полиция состояла из гестапо, охранки и вспомогательного украинского полицейского отряда. В этот отряд немцы просто насильно мобилизовывали людей, и некоторые украинские полицейские сразу же бежали к партизанам, захватив с собой полученное или каким-то образом добытое оружие. Оставшиеся здесь украинские полицейские (хотя немцы и пытались увести большинство их с собой, хотели они того или нет) будут каждый в отдельности тщательно проверены. Некоторые из них, несомненно, работали на Родину, хотя и находились на службе у немцев; те же, кто стал предателем, получают по заслугам.

В отношении Правобережной Украины существовала, по-видимому, целая масса самых противоречивых приказов,— рассказывал дальше Захаров.— Мне известны три таких приказа. Первый из них гласил «не разрушать» и исходил от самого Гитлера в такое время, когда немцы все еще были уверены в том, что смогут вернуть себе всю потерянную ими территорию на правом берегу Днепра. Затем вышел второй приказ, издан-

ный одним из генералов 8-й армии и повелевавший «разрушать». И наконец, третий приказ снова предписывал «не разрушать». Кто его отдал, я не знаю. Так что, возможно, немцы все еще питают какие-то иллюзии, но теперь это ненадолго! В городах, однако, они всегда старались разрушить хотя бы главные здания — вы видели это здесь, в Умани. Но поскольку они чертовски торопились унести отсюда ноги, пострадали в основном лишь крупные здания на окраинах города, особенно в районе аэродрома. Ну и, конечно, электростанция — за них немцы почти повсюду принимаются в первую очередь...»

Дороги все еще представляли собой потоки грязи, но в одно прекрасное утро майор выпросил «студебекер», на котором мы отправились к Южному Бугу, на запад от Умани. Хотя Красная Армия на своем пути к Румынии уже была далеко за Бугом, на дороге было еще множество людей. Мы встретили здесь солдат, пробившихся через грязь к Южному Бугу, веселых, в прекрасном настроении; новые рабочие батальоны из крестьян, которых послали ремонтировать железную дорогу и которые, видно было, не очень-то были довольны, что их вытащили из их усадеб; наконец, новобранцев, шедших в Умань записываться на службу в Красной Армии, — теперь, когда эта часть Украины была освобождена, появилась возможность их мобилизовать.

Мы останавливались в одной или двух деревнях. Они не очень сильно пострадали от войны; к тому же здесь никогда не размещалось больше двух немцев одновременно. И все же немецкие чиновники регулярно приезжали сюда для проведения еженедельной инспекции, и всякое проявление нерадивости в работе или попытка уклониться от нее сурово карались; поля постоянно объезжал немецкий инспектор в бричке и с кнутом в руке и чинил над крестьянами расправу. В случае возникновения беспорядков вызывалась полиция. Люди, заподозренные в лодырничестве, беспощадно избивались. Из этих деревень было вывезено в Германию значительно меньше молодежи, чем из городов. От деревень требовали неукоснительного выполнения продовольственных поставок, и крестьяне рассказали, что фактически немцы забирали всю продукцию колхоза, а самим им приходилось жить только тем, что давали их

приусадебные участки. Летом, однако, им оставляли также большую часть скоропортящихся фруктов и овощей, поскольку у немцев не хватало транспорта; чтобы вывозить эти продукты. Немцы в довольно туманных выражениях обещали раздать крестьянам после войны всю землю, но никто не питал иллюзий на этот счет.

Эта часть Украины рассматривалась немцами как важный источник продовольствия для Германии. Тем не менее площадь распаханной земли не превышала здесь и 80% довоенной; и все-таки даже это было лучше того, что я видел под Харьковом, где мне довелось побывать прошлым летом: там обрабатывалось только 40% всей пахотной земли. Месяца за два до своего ухода немцы начали вывозить в Германию много скота. Это, несомненно, сильно восстановило против них население.

Почти 4 млн. «восточных рабочих» было вывезено из Советского Союза — в основном с Украины — на подневольный труд в Германию. И на Украине это было главное, что вызывало недовольство населения. Украинцы были возмущены не только самим фактом угона людей, но, пожалуй, еще больше тем, как их угоняли.

В Умани я долго разговаривал с двумя здешними девушками, Вaley и Галиной, которым удалось вернуться из Германии. Валя, невысокая 20-летняя брюнетка, еще всего два года назад была, очевидно, хорошенькой, но сейчас она была совершенно сломлена и выглядела маленьким, запуганным зверьком. Чтобы выбраться из Германии, она подставила руку под нож льнорезки, и у нее отрезало четыре пальца. Вот что она рассказала:

«В два часа утра двенадцатого февраля тысяча девятьсот сорок второго года к нам домой пришли украинские полиция и несколько немцев-жандармов в зеленых мундирах, и меня под конвоем отвезли в школу номер четыре. Отсюда меня и многих других девушек повезли в пять часов утра на железнодорожную станцию и посадили в товарные вагоны. Всего нас было семьдесят человек...

Мы долго ехали, потом попали в какой-то город, где нас отправили в лагерь. Всех женщин заставили раздеться догола и послали на дезинфекцию. Затем, не доезжая до Мюнхена, нас высадили и повезли в деревню,

которая называлась Логов. Там мы жили в лагере, пока не приехал фабрикант и не забрал нас всех на льночесальную фабрику. Нас поселили в бараках при фабрике — это тоже было что-то вроде лагеря. Немного дальше жили французские и бельгийские военнопленные, а в другой части лагеря — польские и еврейские девушки. В этом лагере я пробыла семь с половиной месяцев. Мы вставали в пять часов утра и натошак работали до двух часов дня. Потом нам давали по две ложки вареной репы и по ломтю хлеба из опилок и других заменителей муки. После этого приходила вторая смена, работавшая до одиннадцати-двенадцати часов ночи. На ужин мы получали по три или четыре маленьких печеных картофеля и чашку эрзац-кофе — это было все наше питание.

Немцы на фабрике были очень грубы. Как-то раз меня избила немка. Я сказала ей, что машина не в порядке. Она ударила меня по лицу и начала бить кулаками, как будто я была в этом виновата. В другой раз, когда машина испортилась, мастер тоже стал бить меня, назвав «проклятой большевичкой». Он бил и бил меня, а я плакала.

Там было столько льняной пыли, что приходилось весь день жечь электрический свет. Это было страшно унылое место. Денег нам не платили совсем. Мне все это до того опротивело — и пыль, и скверная еда, и побои, и пришедшая в лохмотья одежда (нам не выдавали никакой спецодежды), и оскорбления, и холодный, презрительный вид, с каким немцы разговаривали с нами и смотрели на нас, словно мы не люди, — так мне все это опротивело, что нервы мои уже не выдерживали. Около фабрики рос дикий чеснок, мы собирали его и натирали им десны, потому что у всех нас началась цинга и стали выпадать зубы. Но как-то пришел директор и заявил, что жевать чеснок запрещается, потому что он, директор, не выносит чесночного запаха. Другой скандал из-за чеснока случился как-то раз на железнодорожной станции, куда нас каждую неделю гоняли разгружать уголь. Один из мастеров увидел, что я жую чеснок, и ударил меня ногой в колено и стал бить по лицу, но другие девушки начали на него кричать, и ему пришлось прекратить избиение. У меня так было тяжело на сердце, что в тот день мне хотелось броситься под поезд, но я вспомнила своих родителей, и мне стало их жаль. Иногда я думала, что можно попытаться, чтобы

кто-нибудь из бельгийцев или французов сделал меня беременной,— беременных девушек иногда отправляли домой. Но даже сама мысль об этом была мне противна: что я — животное, что ли, чтобы родить ребенка от какого-то чужого? Я была девушкой, и что сказали бы мои родители, если бы я вернулась домой в таком положении?

Я не бросилась под поезд, но отчаяние мое росло с каждым днем. Я знала, что если не сделаю чего-нибудь, то погибну медленной смертью. И тогда в одно прекрасное утро, без всякого предварительного обдумывания, я это сделала. Мне это пришло в голову как-то сразу. Я работала на машине с большим ножом, который двигался вверх и вниз, перерезая волокна льна. И, не успев ничего подумать, я вдруг подставила под нож руку. Я не потеряла сознания, я была тогда еще довольно выносливой. Я просто закрыла глаза, а когда это случилось, мне было страшно посмотреть. Тогда я позвала работавшую рядом со мной немку. Она закричала и побежала за мастером. Это был толстый светловолосый человек лет тридцати восьми, совсем глухой, и ей пришлось долго растолковывать ему, что произошло. Он прибежал, и меня доставили на медпункт, где мне наложили жгут и перевязали рану. Мастер очень беспокоился: в тот день ожидалась какая-то комиссия, которая должна была осмотреть фабрику, и он думал, что у него могут быть неприятности. Потом несколько французов и бельгийцев отвели меня в наш барак. Когда меня туда доставили, я была почти без сознания. Директор еще ничего не знал. Мастер пошел к нему докладывать, и директор приказал послать за санитарной машиной, чтобы отвезти меня в больницу в Мюнхен, находящийся в шестнадцати километрах от нас. Находиться в больнице было чуть ли не наслаждением. Рука болела, но меня уложили в чистую постель с белыми простынями. Есть давали немного, но все было вкусно приготовлено. Я пробыла там около месяца, а затем директор потребовал, чтобы меня прислали обратно на фабрику. Он уговаривал меня остаться, обещал назначить одной из начальниц лагеря. Не знаю в точности, какую цель он этим преследовал,— думаю, ему не хотелось платить за мой проезд до Украины. Так он придержал меня целых четыре месяца.

Наконец меня отправили домой через мюнхенский арbeitsamt (отдел труда). Это произошло по чистой

случайности. Как-то раз, когда я ехала в Мюнхен на перевязку, я разговорилась с одной немкой, которая посоветовала мне обратиться в арbeitsamt. Она была добрая женщина и даже заплатила за мой проезд и подробно объяснила мне, куда мне надо идти. В арbeitsамте мне выдали документ, и на другой день полиция отвезла меня на станцию и посадила в товарный вагон вместе с несколькими другими украинками. Накануне вечером директор фабрики казался очень раздосадованным, но ничего мне не сказал. Мне выдали ведро вареной репы и буханку хлеба, а люди в лагере отдали мне свой суточный паек и всякую мелочь, какую им удалось сэкономить. Но дорога была долгой, и последние дни пути мне было нечего есть. Сейчас я вспоминаю, что мне два месяца ничего на фабрике не платили, а потом стали платить по семьдесят пфеннигов в неделю. Когда же мы спрашивали мастера, который выдавал нам деньги: «Почему так мало?» — он кричал «Тихо!»... Боже, как они мучили нас, — вымолвила Валя чуть ли не с содроганием. — Они обращались с нами так грубо и оскорбительно. Они смотрели на нас с таким презрением. Почему? Я спрашиваю вас, почему? Разве я такой жизни ждала? Я счастливо росла на нашей Украине. Зачем они разбили мою жизнь?» И как будто спохватясь, добавила: «Там, на фабрике, была еще одна девушка, которая решила последовать моему примеру. Но на этот раз немцы догадались, что она сделала это умышленно, и ей не позволили уехать домой. Так что она искалечила себе руку совершенно напрасно».

Судьба Галины Ивановны была очень похожа на Валину, однако по характеру Галина была совсем другой человек, чем Валя, в некотором смысле более типичной представительницей Украины, с ее саркастическим юмором и своеобразным презрением к немцам, «которые не знали, что такое хорошая еда, пока не попали на Украину».

Это была маленькая бойкая блондинка с лицом законченной комедийной актрисы, быстрыми голубыми глазами и вздернутым носиком. Она очень много смеялась, но в смехе ее не слышалось доброты. Рассказывая, она все изображала в лицах и рисовала людей в сатирическом свете. На ней было светло-голубое платье и задорная маленькая шляпка с пером. Ей было лет 30,

но она выглядела слегка увядшей, что отнюдь не удивительно после всего, что она пережила. До войны она была актрисой в первом Колхозном театре Киева, где играла небольшие роли в комедиях из жизни крестьян. Она прочла несколько отрывков из своих ролей, но все время себя обрывала... «О боже, я все забыла,— говорила она.— Кажется, прошел целый век с тех пор, как я была актрисой в Киеве... Актрисой,— повторила она с горькой усмешкой.— Специальность пуцфрау (уборщицы) сейчас подходит мне больше. Муж мой в свое время был в театре режиссером. Сейчас он где-то в Красной Армии. Уже несколько лет я ничего не слышала о нем... Он родом из Умани».

Галина Ивановна тоже побывала в Германии, и ее история — это история миллионов европейцев, с некоторыми отклонениями от шаблона.

— Настоящие беды,— рассказала она,— начались здесь, в Умани, когда в феврале тысяча девятьсот сорок второго года сюда приехал для вербовки рабочей силы немец граф Шпретти¹. Немцы объявили о большом собрании, которое должно было состояться в помещении кинотеатра. Многие из нас пошли туда просто послушать, о чем будет идти речь. Шпретти сказал: «Я хочу, чтобы вы, уманцы, добровольно отправились в Германию и помогли германской армии». И он обещал нам звезды с неба. Но нам было прекрасно известно, чего стоят подобные обещания, и мы сказали ему: «А что нам будет, если мы не захотим ехать?» Тогда граф Шпретти злобно посмотрел на нас и ответил: «В этом случае вас вежливенько попросят все же поехать». Это произошло десятого февраля, а два дня спустя немцы устроили облаву на людей, обыскивая дом за домом. Вооруженные винтовками полицейские ходили по домам и забирали всех, кто помоложе. Нас отвели в большую школу и в пять утра повезли на станцию. Здесь нас посадили в вагоны и заперли на замок. Несколько человек взяли с собой немного еды и теперь поделили ее на всех. Нам сказали, что нас накормят во Львове, но, когда мы туда приехали, нам не дали ровно ничего, даже воды.

Здесь мы пробыли на вокзале всю ночь, а затем двинулись дальше, на Перемышль. В Перемышле

¹ О нем упоминалось на процессе главных немецких военных преступников в Нюрнберге как об одном из чиновников ведомства Заукеля по набору рабочей силы.

немцы открыли вагоны и начали осматривать наш багаж.

— Какие это были вагоны? — спросил я.

— Какие? — переспросила она, как будто удивясь моему вопросу. — Самые обыкновенные товарные вагоны; все мы сидели или лежали на полу, скамеек не было. В каждом вагоне ехало человек по шестьдесят-семьдесят. Так или иначе, как я уже сказала, в Перемышле к нам явились немцы, чтобы проверить наш багаж. «Зачем вам весь этот багаж? — сказали они. — В Германии можно купить все, что только душе угодно, — подумать только, везти все это грязное тряпье в Германию!» И они забрали почти всю одежду, которая у нас была с собой, а также все наиболее тяжелые вещи и оставили нам только маленькие узелки...

Все путешествие, длившееся месяц, было сплошным кошмаром. В лагере близ Перемышля, где угнанных продержали две недели, их почти не кормили. Несколько девушек заболело, и часть из них умерла. Затем, в Западной Германии, девушек привезли в другой лагерь. Здесь по крайней мере находились английские и французские заключенные, которые бросали им через забор кое-что из еды.

— Дружественное отношение англичан и французов немного подбодрило нас, — продолжала Галина. — Они бросали нам маленькие кусочки шоколада и каких-то вафель, очень вкусных, внутри них были сладкие маленькие семечки. Мы всегда считали, что англичане, французы и русские очень разные люди, но оказалось, что все мы в основном одинаковы. Только немцы другие.

А потом в лагерь явились какие-то женщины, директора фабрик и разные другие личности. Нас построили на снегу — в четыре шеренги, — и эти люди стали ходить взад и вперед вдоль шеренг и рассматривать нас. Один из директоров отобрал двести наших девушек, в том числе и меня. Нас посадили в поезд и привезли в городишко близ Ульма. Поселили в барак с решетками на окнах, который находился на территории фабрики. Здесь нас встретила группа жандармов, приветствовавших нас словами: «Ага, коммунистки». Тут было гораздо хуже, чем в том лагере. Прежде чем отправить нас на работу, нас продержали три дня в бараке на одной только сырой репе и сырой картошке... Мы лишь немного погрызли их: к чему набивать желудок такой едой...

Но у нас, во всяком случае, было какое-то подсобие коек, на которых мы могли спать; они были очень твердые и страшно грязные, но все же это были койки.

Потом стали топить печь, и мы могли хоть варить то небольшое из еды, что у нас было. На четвертый день нас повели на работу. Раньше фабрика изготавливала шляпы, теперь здесь делали подкладку для касок или, скорее, какие-то колпаки, которые надевались под каски. Их шили из кроличьих шкур. Нам не дали перчаток, наша обувь разваливалась. От работы с этими кроличьими шкурками руки у нас пришли в ужасное состояние, тем более что нам приходилось иметь дело с какой-то кислотой.

Галина Ивановна показала свои руки; это были маленькие, красивой формы руки, но они, казалось, сплошь были покрыты рубцами, а кожа вокруг ногтей была словно чем-то изъедена.

— Да,— продолжала она,— я прожила в этом фабричном бараке восемь месяцев и двадцать дней, а чтобы вы могли составить себе некоторое представление об условиях, в каких мы, девушки, жили, я скажу вам такое, что может показаться нескромным, но я надеюсь, что вы поймете меня правильно. Там работало сто восемьдесят девушек, и у большинства из них не было того, что бывает у девушек ежемесячно. Бараки помещались метрах в тридцати от фабрики, и мы никогда не выходили за пределы фабричной территории, только по «выходным дням». Мы были всегда под охраной.

Работали мы по десять — двенадцать часов в сутки, а в «выходные дни» нас всегда отправляли на товарную станцию разгружать платформы. Всех нас заставили носить специальные нашивки для «восточных рабочих» — синие нашивки с надписью белыми буквами «Ост», но никогда не отпускали в город. С нас даже вычли по пятьдесят пфеннигов за эти нашивки. За семь рабочих дней мы получали одну марку двадцать пфеннигов, из них пятьдесят пфеннигов мы тратили на «шпрудель» — содовую воду; ничего другого мы купить не могли. Теперь я вспомнила, как граф Шпретти говорил нам, что мы будем носить шелковые чулки и получать по сто марок в неделю. Сначала, когда мы только приехали, нам обещали новую одежду и одеяла, но выдали только по одному одеялу да раз в две недели давали по крохотному кусочку мыла, которого должно было хватить и на умывание и на стирку. В нашей части барака раз-

мешалось сто восемьдесят девушек, но в этом же здании жило еще двести женщин — с Украины или из Курска — и двести парней от пятнадцати до двадцати трех лет. Есть нам давали синюю капусту, репу и иногда немного шпината да сто граммов маргарина в день, чтобы из всего этого что-нибудь приготовить, — сто граммов на сто человек, то есть по одному грамму на человека! Очень сытно, не правда ли? В других зданиях жили чехи, поляки, греки, бельгийцы, французы. Нам не разрешалось разговаривать с ними, но мы все равно разговаривали.

Полякам и французам жилось лучше, чем нам. Они получали по двадцать пять — тридцать пять марок в неделю. Поляков заставляли носить нашивки с желтой буквой «П», но от бельгийцев и французов этого не требовали. Никакой разницы между украинцами и русскими здесь не делалось — и с теми и с другими обращались одинаково. И бельгийцы, и чехи, и французы, и итальянцы относились к нам очень хорошо и давали нам то одно, то другое. Поляки держались в стороне. Итальянцы с тоской говорили о макаронах.

Мы встречались с другими девушками в уборной и здесь болтали, болтали на ломаном немецком языке. Как-то одна из итальянок сказала мне: «Вам даже еще хуже, чем нам. Говорят, с вами обращаются так плохо потому, что вы коммунистки. Но, уверяю вас, мы гораздо больше коммунистки, чем вы. Давайте споем „Интернационал“». И здесь же, в уборной, мы с ней тихо запели «Интернационал», каждая на своем языке.

Однажды мы даже пригрозили объявить голодовку: еда стала совсем скверной, и у нас началась цинга; руки у нас распухали до самого плеча, брови стали выпадать, волосы секлись...

Во время воздушных налетов нас загоняли в большой оцементированный подвал и закрывали дверь с наружной стороны на замок. Немцы отправлялись в свое убежище. При первых же звуках сигнала воздушной тревоги «шефы», как их называли, неслись к нам, размахивая хлыстами, и гнали в подвал. Мне пришлось пережить семь или восемь крупных налетов. Одна большая бомба упала поблизости от Ульмского собора, повредила ратушу и разрушила небольшой завод, изготовлявший какие-то металлические трубы. Сто двадцать наших украинцев, работавших там, погибли при этом...

— Ну, а какие отношения у вас сложились с французами?— спросил я.

— Французы относились к нам очень дружески, как настоящие товарищи. Там был один француз, которого я знала. Ему удалось бежать с фабрики. Вечером накануне побега он сказал мне: «В цехе есть укромный уголок возле печки, и я оставляю там для тебя записку — постарайся подобрать ее завтра утром». Наутро я пошла туда, поискала записку и действительно нашла ее; вместе с запиской лежало три плитки шоколада. В записке было написано: «Это все, что у меня есть. Желаю тебе счастья. Я бежал. Надеюсь, меня не поймают». Его не поймали, хотя полиция обыскала всю территорию. Никто из нас не сказал, что нам что-то известно. Между всеми нами — немцами — существовала удивительная солидарность, настоящее чувство товарищества, общая ненависть к фрицам... И сознание, что мы не одиноки, поддерживало нас какое-то время, несмотря ни на что... Но мое здоровье настолько ухудшилось, что мне стало ясно — если только я пробуду здесь еще немного, то заболую и умру. А мне не хотелось умирать. В нашем цехе работал австриец, которого звали Ганс. Он показал мне брошюру о Тельмане и добавил: «Хотя Тельман и немец, он хороший человек». Я возразила, что вряд ли какой-нибудь немец может быть хорошим человеком. Он как-то странно посмотрел на меня, и я на минуту подумала, не провокатор ли он. Потом я сказала: «Боже ты мой, да какое мне в конце концов до всего этого дело? Я хочу уехать отсюда, хочу вернуться домой, а если не уеду, то отравлюсь...» Тогда Ганс шепнул: «Ты меня не выдашь? Вот шесть сигарет,— и он сунул их мне в руку.— Свари их и дай настою постоять час, а затем выпей его. Он подействует тебе на сердце, и тебя, может быть, отправят домой. Только смотри меня не выдавай». Я сделала, как он сказал, но здоровье у меня было такое плохое, что желудок отказался принять это варево, и меня вырвало. Я сообщила Гансу о случившемся, и он дал мне еще шесть сигарет, посоветовав попытаться снова. На этот раз все обошлось благополучно. У меня началось страшное сердцебиение, и я впала в полное изнеможение. Бывали минуты, когда мне казалось, что я умираю. Меня положили в больницу и трижды делали рентген. Врачи решили, что сердце у меня настолько плохое, что я либо скоро умру, либо на всю жизнь останусь инвалидом. Поэтому они дали

мне свидетельство, разрешающее вернуться на Украину. Но, прежде чем это случилось, я пролежала два месяца и пять дней в больнице. Здесь мне кое-как залечили руки, которые были в ужасном состоянии. В больнице меня навещало много людей, в том числе одна девушка из Греции и две сербские девушки — они были, пожалуй, самыми лучшими из всех. Вообще-то сербы и чехи были там всех лучше, но и французы тоже были хорошие. Взять хотя бы Анри, который бежал и оставил мне три плитки шоколада, — он был настоящий коммунист. Да и все иностранцы в Германии были очень порядочные люди, и мы находили с ними общий язык, а с немцами никогда... Нет, это, пожалуй, не совсем верно; я знала там двух порядочных немок. Одна из них была девушка по имени Фрида. Она знала обо всем, что происходит в мире, гораздо больше, чем я. Я не знала ничего — за исключением того, что слышала от нее. Это она рассказывала мне о ходе войны в СССР, о том, где теперь Красная Армия. Она страшно разволновалась, когда немцев остановили в Сталинграде. Мне казалось, что она агент, работающий на две стороны. Она делала вид, что работает на фашистов, однако являлась одновременно работником Народного фронта. Она часто разговаривала со мной и предупреждала меня (сказав, чтобы я в свою очередь предупредила других девушек), что каждая украинка, которая будет уличена в близости к какому-нибудь французу или другому иностранцу, подлежит расстрелу. Фрида была славная девушка. Была там еще и другая девушка, Амалия, — ее я знала не так хорошо. Но позднее я слышала, что гестапо расстреляло и Фриду и Амалию.

В конце концов Галина вернулась в Умань, проделав снова мучительный двухмесячный путь. К этому времени физически она стала совсем развалиной и пролежала три месяца в постели в доме у приютивших ее людей.

Немецкие пленные, которых я видел в районе Умани, представляли собой очень пеструю массу. Все они горько сетовали на то, что попали в плен, когда большая часть немецких войск ушла уже за Южный Буг. Австрийцы кричали, что они «совсем не такие, как немцы», хотя тот, с которым мне довелось разговаривать, был воспитан явно в духе фашистских традиций. Нашелся

и весьма оптимистически настроенный немец, дезертир. Он завел себе украинскую подружку, и та спрятала его, когда немцы стали отходить из Умани. Сейчас он надеялся, что русские, быть может, разрешат ему обосноваться на Украине. Это такая чудесная страна, говорил он, и он так предан своей фрейлейн. Однако, несмотря на то что те немецкие солдаты, которых я видел, и были подавлены понесенными ими на Украине поражениями, растрянны и, конечно, расстроены тем, что попали в плен и что перспектива скорого возвращения в Германию стала для них теперь весьма маловероятной, многие из них все еще не утратили боевого духа. Они все еще на что-то надеялись — на что именно, они и сами не знали. Выходцы из Рейнской области выражали свои чувства определеннее других. Налеты союзной авиации вызывали в них скорее негодование, чем уныние. Мне вспоминается один сержант, некий Вилли Ершаген из Ремшейда на Рейне. Город был вдребезги разбомблен; но жена Ершагена и родители его все же продолжали жить среди развалин. Его жена работала на сталелитейном заводе и не имела ни малейшего намерения уезжать в какой бы то ни было другой район Германии. «Повсюду будет то же самое, так что я могу с таким же успехом остаться здесь», — написала она ему недавно.

И она, и сам Вилли, и другие люди в Германии лелеяли одну заветную мечту — о «фергельтунге» (возмездии). Фюрер обещал им отомстить Англии, но их терпение приходило к концу, и теперь в Западной Германии говорили: «Где же все-таки это оружие?» Налеты самолетов-снарядов ФАУ-1 на Лондон начались несколько позже.

По мере того как немцев гнали все дальше за пределы Украины, песни, которые распевал вермахт, стали звучать все более и более минорно. Все эти частушки были на один лад, хотя у каждого полка был как будто свой собственный вариант. Вот некоторые из таких вариантов:

Нема курка, нема яйка,
До свидання, хозяйка!
Нема пива, нема вина,
До свидання, Україна!
Нема курка, нема брот,
До свидання, Белгород!

Нема курка, нема суп,
До свиданья, Кременчуг!

Все это распевалось на какой-то причудливой тарбарщине, смеси из немецкого, ломаного русского и ломаного украинского языков. Подобных частушек существовало множество. Но в более общем виде горькое разочарование и досада немцев нашли выражение в следующих строках, известных каждому немецкому солдату:

Все прошло, миновало, все навеки прощай,
Три года в России — и никс понимай.

Победа

...Девятое мая 1945 года в Москве было незабываемым днем. Мне еще не приходилось видеть в Москве, чтобы так искренне и непосредственно выражали свою радость два, а может быть, и три миллиона людей, заполнивших в тот вечер Красную площадь, набережные Москвы-реки и улицу Горького на всем ее протяжении до Белорусского вокзала. Люди танцевали и пели на улицах; солдат и офицеров обнимали и целовали. Возле американского посольства толпа кричала «Ура Рузвельту!» (хотя он и умер за месяц до этого)¹. Люди были счастливы. На какое-то время Москва отбросила всякую сдержанность. Такого эффектного фейерверка, как в тот вечер, мне еще не доводилось видеть...

Берлин в июне 1945 года

Это было совсем не похоже на Берлин. Вокруг виллы росли кусты жасмина, и сад был напоен их сильным, сладким ароматом. На деревьях щебетали птицы, а в конце залитой солнцем аллеи виднелась ярко-голубая гладь озера Ванзее.

«Хорошо жили, паразиты», — сказал русский парень, часовой у ворот виллы. Это был юноша лет 19—20, с

¹ Перед зданием английского посольства, находившимся на другом берегу Москвы-реки, на некотором расстоянии от места массовых гуляний, состоялись лишь небольшие дружественные демонстрации.

пушком на подбородке, краснощекий, со смеющимися голубыми глазами. На гимнастерке защитного цвета у него были медали «За оборону Сталинграда» и «За отвагу». «Хорошо жили, паразиты,— повторил он.— В Восточной Пруссии у них были огромные имения, а в городах, которые не сожгли или не разбомбили к чертям, много красивых домов. А полюбуйте на эти дачи! Зачем же они напали на нас, если им так хорошо жилось?»

Эта мысль особенно занимала солдат Красной Армии в то первое лето в Германии. Признаки «западного» процветания не произвели на них ошеломляющего впечатления, их просто возмущало, что эти «богатые» немцы хотели завоевать Россию.

«А подумайте, сколько они убили наших ребят,— продолжал часовой.— Под Берлином было жарко. Некоторые немецкие юнцы прямо с ума посходили: некоторые бросались на наши танки со своими «фаустпатронами» и немало их подбили. А девчонки бросали из окон ручные гранаты. Теперь-то все они присмирели. А между прочим, среди немцев есть неплохие люди. Конечно, они напуганы, потому-то они такие вежливые. Я, знаете, потерял по пути сюда многих своих товарищей, и никто не мог быть уверен, что доберется живым до Берлина. Сейчас-то мне хорошо. У нас четверых своя моторка, и вечерами мы катаемся по озеру. Здесь несколько соединяющихся между собой озер, так что на лодке можно проехать много километров. Неплохое тут местечко, как вы считаете? Немцев сейчас сюда не пускают. Оно называется Венденшлосс».

«Паразит», которому принадлежала вилла, был, как видно, важной птицей в местной организации нацистской партии. У меня в спальне еще лежали немецкие книги, преимущественно нацистская литература: «Майн кампф», сборник речей Геринга и его биография с множеством идиллических фотографий этой скотины. Все книги были подношениями местного комитета нацистской партии.

Венденшлосс был отгорожен от остального Берлина. В большой вилле на берегу жил маршал Жуков, и 5 июня в яхт-клубе состоялось, по выражению газет, «большая межсоюзническая церемония». Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Делаттр де Тассиньи сели вокруг большого, крытого зеленым сукном стола и подписали Декларацию о поражении Германии и о взятии на себя верховной власти правительствами четырех союзных

держав, а также соглашение о создании Контрольного Совета.

Во время церемонии в Венденшлоссе я беседовал с маршалом Соколовским, которого видел последний раз в трудные дни 1941 года. Я напомнил ему, как за две недели до генерального наступления немцев на Москву он доказывал, что Красная Армия постепенно изматывает немецкую армию. Он радостно улыбнулся, сказав, что помнит встречу с представителями прессы в Вязьме...

Ни один человек, знакомый с нацистской Германией и переживший войну — во Франции в 1940 году, в Англии во время «битвы за Англию» и налетов германской авиации на Лондон и в СССР все остальные ее годы, — не мог не испытать чувства злорадства при виде Берлина. Столица гитлеровского «тысячелетнего рейха» почти полностью превратилась в груды развалин. На всей бесконечной Франкфуртер-аллее уцелело только одно здание, в котором теперь разместился комендант Берлина. Александерплац, Унтер-ден-Линден, Фридрихштрассе, Вильгельмштрассе, затем Потсдамерплац, Клейстштрассе, Тауэнтцинштрассе и расположенная за ними Курфюрстендам (лишь на последней сохранилось несколько зданий) — все эти знакомые места была разрушены. На пустырях Вильгельмштрассе, где стояло полуразрушенное здание гитлеровской имперской канцелярии, теперь витали лишь тени: тени миллионов людей, вопивших «Хайль Гитлер!» в день, когда он стал канцлером, тени отрядов СА, которые в нескончаемом факельном шествии маршировали мимо своего фюрера.

Но теперь Германия уже не маршировала: она пришла к концу пути. Среди развалин Вильгельмштрассе царила тишина, нигде не было видно ни души, и только из разрушенных домов тянуло трупным запахом. Издаваемая по советской лицензии немецкая газета «Теглихе рундшау» печатала фотоснимки с изображением развалин Берлина, напоминая, как Гитлер говорил в 1935 году: «Через десять лет Берлин станет неузнаваем»...

...В те дни в Берлине были тысячи советских солдат. На развалинах рейхстага, где много дней шли кровопролитные бои, на колоннах разбитых Бранденбургских

ворот, на пьедесталах Колонны победы, памятника Бисмарку, поваленной конной статуи кайзера Вильгельма I были нацарапаны, написаны карандашом или краской тысячи русских имен: *«Сидоров из Тамбова»* или *«Иванов прошел от Сталинграда»*, *«Михайлов, бывший фрицев под Курском»*, *«Петров прошел от Ленинграда до Берлина»* и т. д. В Тиргартене, вокруг рейхстага, были могилы советских солдат, а на главных улицах, особенно на более оживленных и менее разрушенных улицах восточного Берлина, повсюду виднелись плакаты: *«Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается»...*

Пристли, Джон Бойнтон (р. в 1894 г.) — прозаик, драматург, эссеист, публицист, литературный и театральный критик; патриарх английской литературы. В годы второй мировой войны регулярно выступал по радио Би-би-си в программе «Послесловие» (тексты выступлений собраны в книге «Слушала вся Англия: Радиовыступления Дж. Б. Пристли военных лет», 1968). Выступления внесли существенный вклад в укрепление морального духа нации. Пристли приветствовал создание антигитлеровской коалиции, написал сценарий документального фильма «Наш русский союзник». В 1945 году вместе с женой посетил СССР; итогом посещения явилась книга «Поездка в Россию» (1946), гонорар за которую был передан автором в фонд Общества по развитию культурных связей с Советским Союзом.

В творчестве Пристли богато представлены жанры социально-психологического, сатирического, нравоописательного, авантюрного и фантастического романа. Ряд его значительных романов переведен и издан в СССР — «Улица Ангела» (1930), «Герой-чудотворец» (1933), «Затмение в Гретли» (1942), «Дневной свет в субботу» (1943), «Трое в новых костюмах» (1945), «Дженни Вильерс» (1947), «31 июня» (1961), «Сэр Майкл и сэр Джордж» (1964). Хорошо известны пьесы Пристли, остро ставящие нравственные проблемы, критикующие показную мораль буржуа: «Опасный поворот» (1932), «Ракитовая роща» (1933), «Время и семья Конвей» (1937), «Визит инспектора» (1945) и др. Одна из лучших эссеистских книг Пристли, «Английское» (1973), посвящена размышлениям об английской самобытности, запечатленной в национальном характере, пейзаже, образе жизни страны и народа.

Отрывки из книги «Поездка в Россию» в переводе В. Ашкенази публиковались в журнале «Иностранная литература» (1967, № 5), позднее перепечатывались в изданиях: Я видел будущее. Кн. 2. — М.: Прогресс, 1977; Глазами друзей. — М.: Художественная литература, 1982.

Настоящий текст также воспроизводит журнальную публикацию с уточненным переводом.

ПОЕЗДКА В РОССИЮ

(Отрывок из книги)

Сталинград

Самолет пошел на посадку. Я протер маленький иллюминатор и увидел за крылом огромную коричневую степь, таявшую в голубой дали. Потом мне показалось, что кто-то бросил на коричневый ковер блестящую серую ленту. Я понял, что это Волга, река, которая является не только величайшей рекой России, но и чем-то большим — ее сокровищем, ее символом, ее судьбой;

именно здесь, на Волге, фашисты были остановлены и затем потерпели сокрушительное поражение.

Ландшафт накренился, вдалеке замелькали разрушенные здания. Мы приземлились в Сталинграде, там, где произошел перелом в ходе войны. Но аэродром, оказавшийся огромным неровным полем, был, очевидно, довольно далеко от города, который скрылся теперь из виду. Навстречу нам бросился энергичный, похожий на валлийца, человек с широким сияющим лицом. Это был помощник комиссара. Ни на минуту не умолкая, он усадил нас в машину, и мы затряслись по ухабам разбитой дороги на Сталинград, до которого предстояло проехать несколько миль.

По обочинам все еще лежали останки сбитых фашистских самолетов, сожженных танков и бронемашин, автомобилей, хотя наш гид сказал, что огромное количество этого лома уже пошло на переплавку. Наконец мы сделали поворот и выехали на главную дорогу. «Сталинград!» — сияя, воскликнул наш спутник и указал рукой туда, где на много миль тянулись развалины.

Сталинград — огромный речной порт и один из трех самых длинных городов мира: он тянется по берегу Волги почти на пятьдесят миль. Когда мы его увидели, он был похож на двадцатикратно увеличенный Ипр¹.

Пока машина пробиралась среди руин, наш новый знакомый указывал нам то на одну, то на другую груду развалин. Здесь был технологический институт, там — городская больница, школа и так далее. Повсюду виднелись страшного вида жилища, сооруженные из расплюснутых бензиновых баков и тому подобных материалов. Их обитатели выходили и улыбались нам. Однако было ясно, что до прихода захватчиков здесь стоял большой красивый город. Мы словно стали персонажами фильма по роману Уэллса «Облик грядущего».

Наконец мы приехали в наскоро сооруженную гостиницу «Интурист». Завтракать было уже поздно, а обедать еще рано. Мы не без труда втиснулись со своими чемоданами в крошечный, но сверкавший чистотой и аккуратно прибранный номер, где гудела огромная печка и стояли две кровати, обеденный стол и стулья. Гор-

¹ И п р — бельгийский город, в районе которого во время первой мировой войны произошел ряд крупных сражений. (Прим. переводчика)

нические, приветливые хорошенькие девушки, светловолосые, но с широкими, типично славянскими лицами, бросали на нас любопытные взгляды. После Кавказа с его удивительными и загадочными жителями мы словно вернулись домой — что-то в этих сталинградцах, русских с головы до пят, напомнило нам наши родные края — моей жене Уэльс, а мне — север Англии. Если это кому-нибудь кажется странным, я тут ничего не могу поделать. Мы одновременно почувствовали это и за обедом одновременно сказали об этом друг другу.

Я не собираюсь подробно рассказывать знаменитую историю Сталинграда, но я должен напомнить вам о том, что здесь произошло, чтобы вы могли понять, с каким чувством мы осматривали город.

В результате отчаянных боев армия Паулюса овладела всем городом, кроме узкого сегмента (мы видели его) вдоль реки, через которую Красная Армия получала подкрепление и боеприпасы. Подтянув сюда большие резервы, русские форсировали реку выше и ниже города, перерезая пути, по которым к фашистам шло пополнение, и в конце концов окружили армии, осаждавшие город. Дважды Паулюс получал ультиматум о капитуляции и отклонял его, потому что Гитлер посылал ему безумные приказы продолжать борьбу. Наконец, Красная Армия сосредоточенным огнем артиллерии и ракетных минометов пробила оборону противника, и ошеломленный Паулюс сдался. Это было начало того конца фашизма, который мы сами видели в Берлине. А в этом русском городе, в 1200 милях от Берлина, был, можно сказать, подписан смертный приговор фашизму.

Самые яростные бои, как вы, вероятно, помните, шли на территории огромного сталеплавильного завода «Красный Октябрь», где нам удалось побывать. Здесь сражались за каждый квадратный метр. Часть завода еще восстанавливается, но большинство печей и прокатных станов уже выпускают продукцию; на заводе очень много женщин, которые часто выполняют не только обычную, но и довольно сложную работу, требующую высокой квалификации.

Я написал небольшую книгу о жизни английских женщин во время войны и знал, каким тяжелым трудом должны были заниматься очень многие из них; поэтому я не был поражен тем, что приходится делать женщинам в России... Тем не менее я не могу видеть, как женщина поднимает тяжести или делает что-нибудь в

этом роде. Правда, в России очень внимательно относятся к работающим на заводах женщинам, когда они собираются стать матерями,— это мы замечали повсюду. Но вряд ли матерям, будущим матерям или даже потенциальным матерям следует заниматься тяжелым физическим трудом, и я надеюсь, что, когда мужчины демобилизуются из Красной Армии и период восстановления будет закончен (это колоссальная задача для русских), мужчины заменят большую часть этих женщин и дадут им более легкую работу. Я думаю, что этого можно ожидать, поскольку сейчас в Советском Союзе семье и семейной жизни уделяется особое внимание.

Пока еще с семейной жизнью в России, по общему признанию, связано немало трудностей, особенно в среде научных работников и высококвалифицированных рабочих, так как бывает, что муж работает в одном месте, а жена занимает столь же важную должность в другом, как это часто случалось и у нас во время войны. Конечно, когда условия жизни станут легче, это положение изменится.

В капиталистических странах, особенно в Америке, сексу придают чрезмерное значение, используя его, с одной стороны, в коммерческих целях, а с другой стороны — как наркотик. Но советские молодые люди, за которыми я с большим интересом наблюдал всюду, где мне пришлось побывать, показались мне освежающе нормальными, сильными и нежными, а атмосфера, в которой происходит их половое развитие,— здоровой. Я считаю это одним из весьма существенных, хотя и наименее известных завоеваний советской системы.

В тот вечер в Сталинграде нам представилась возможность увидеть, как отдыхают молодые рабочие. Мы пришли в профсоюзный клуб завода «Красный Октябрь». Этот клуб, как и многие окружавшие его дома рабочих, был уже восстановлен, и я не удивлюсь, если окажется, что его восстанавливали в первую очередь, а жилые дома — во вторую. В этом заключается разница между англосаксонской и русской точкой зрения. Мы думаем о городе в первую очередь как о скоплении жилых домов и поэтому сосредоточиваемся на жилищном строительстве. Но русский — некоторые из них настойчиво подчеркивали это — заботится прежде всего о сооружении общественных зданий. Конечно, он не стал бы возражать против собственного дома вместо одной или двух комнат, но раньше он хочет построить боль-

шой клуб, университет или технологический институт, оперный и драматический театры — он хочет общественной жизни раньше личной. И мы должны всегда учитывать это различие.

В клубе «Красного Октября» все было в полном разгаре. Нас пригласили туда главным образом послушать «джаз», как здесь называют легкую музыку. Но перед «джазом» мы успели немного пройтись по клубу. Я побывал в зале, где юноши и девушки, которым не было еще двадцати лет, репетировали что-то вроде цыганских таборных песен и танцев. В этот момент они очень напоминали английскую танцующую и поющую молодежь: семеро из десяти были робки и неловки, двое — потрясающе самоуверенны, а десятый по-настоящему талантлив. Словно я находился в каком-то молодежном клубе у себя дома, а не в далеком Сталинграде.

«Джаз» представлял собой танцевальный оркестр, состоявший из элегантно одетых музыкантов, под руководством маленького быстрого весельчака, чьи шутки публика встречала с большим энтузиазмом. В перерывах между музыкальными номерами выступали красивые волжанки. Оркестр играл превосходно, русские — прирожденные музыканты, но это американизированное развлечение было по уровню гораздо ниже традиционных местных песен и танцев. Я расспросил об этом оркестре и об этих девушках и узнал, что все они — участники заводской самодеятельности, которые добились таких успехов, что скоро станут признанными профессионалами. Какие бы ограничения ни существовали в советской жизни, вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что любой талант имеет здесь полную возможность реализации и развития.

Поздно вечером мы добрались до наскоро сооруженного помещения городского Совета, где нас ожидали местные руководители, готовые ответить на наши вопросы о восстановлении разрушенного города. (Полночь для советского государственного служащего такое же хорошее время, как и любое другое время суток.) Под конец беседы нас повели в небольшую комнату, блестящую от золота, — в ней были собраны подарки городу Сталинграду — золотые щиты, памятные доски и свитки из Франции, Норвегии, Эфиопии и других стран. Мы видели там Меч Почета, подаренный городу королем Георгом, и ощутили странное волнение, глядя на этот шедевр английских ювелиров и кузнецов и созна-

вая, что все наши мысли и чувства так чудесно выражены в ажурном золоте и сверкающей стали.

На следующее утро мы должны были встать рано, чтобы успеть на самолет, улетающий в Москву. Мы прогуляли несколько минут возле гостиницы, пока наши чемоданы укладывали в машину. На углу в нескольких ярдах от нас стоял немецкий военнопленный с повязкой, на которой было написано «*trusty*» (заключенный, заслуживший определенные привилегии своим образцовым поведением). Он стоял один и курил сигарету. Сейчас по всей России оборванные остатки вермахта восстанавливают небольшую часть того, что они разрушили. Вид у них мрачный и понурый, это — явно не самые трудолюбивые рабочие в мире; но выглядят они вполне здоровыми. Здесь находился один из них, без всякой охраны, с драгоценной сигаретой во рту, — и все же он и ему подобные вели себя как взбесившиеся садисты, грабя, разрушая и убивая на всем пространстве от Балтийского до Черного моря. Русских можно назвать несговорчивыми, но они не злопамятны и не мстительны.

Последнее, что мы увидели, когда самолет начал разбег, было широкое сияющее лицо маленького помощника коменданта, в котором уэльсский энтузиазм сочетался с йоркширской прямоотой. Он и такие, как он, помогли спасти мир, сражаясь за каждый камень Сталинграда. И я верю, что теперь они восстановят его так, как того заслуживает этот великий город.



Ральф ПАРКЕР

Паркер, Ральф (1907—1964) — публицист, журналист, литературный критик. Родился в состоятельной семье. Закончил Кембриджский университет. В 1934—1939 годах работал корреспондентом ряда британских газет в странах Восточной и Юго-Восточной Европы. С 1941 по 1945 год был московским корреспондентом газеты «Нью-Йорк таймс» и английской «Таймс», с которыми порвал в 1945 году. Паркер уделял много сил и энергии делу борьбы за мир и разоблачению поджигателей войны. Он избрал Советский Союз местом постоянного жительства, в последние годы широко переводил на английский язык произведения современных ему советских писателей. Умер в Москве.

Наиболее значительные издания сочинений Паркера — книги публицистической прозы «Московский корреспондент» (1949) и «Заговор против мира» (1949), сборник очерков и статей «Советский Союз продлил мне молодость» (1966; посмертная публикация).

Очерк «Город открытых сердец» был опубликован в переводе А. Александрова и Г. Крутикова в журнале «Москва» (1959, № 3) и дается по этому изданию.

Здесь перепечатывается также очерк Р. Паркера «Разговор с Гербертом Уэллсом», бросающий свет на настроения писателя и его отношение к Советскому Союзу в годы второй мировой войны. Текст очерка в переводе В. М. Скотт дается по изданию: *Паркер, Ральф. Советский Союз продлил мне молодость.* — М.: Прогресс, 1966.

ГОРОД ОТКРЫТЫХ СЕРДЕЦ

Горячие споры молодежи о жизни и искусстве у подножия памятника Маяковскому; автобусы, пришедшие из далекого Лондона, на площади Свердлова; глаза, обращенные к вечернему небу хотя бы для одного взгляда на спутник; бурные аплодисменты в консерватории юному таланту из Техаса; старички-пенсионеры, кормящие лебедей на Чистых прудах; строгие, чистые контуры новых зданий Юго-Западного района; толпы экскурсантов в Кремле — такова для меня Москва сегодня.

Но город этот я помню и совсем иным.

Семнадцать лет назад редактор одной лондонской газеты предложил мне место военного корреспондента в Советском Союзе.

— По-моему, вы приживетесь в Москве, — сказал он и с кривой улыбкой добавил: — Если только доберетесь до нее вовремя...

Разговор этот происходил в дни войны, в сентябре 1941 года.

Я принял предложение.

Сын зажиточного бизнесмена из Ланкашира, я принадлежу к поколению, достаточно старому, чтобы помнить Россию в роли союзника Великобритании в первой мировой войне. Моя мать работала сестрой милосердия в военном госпитале в маленьком курортном городке, в котором я родился и рос. Иногда она брала меня с собой в госпиталь, и я присаживался у постелей раненых, чтобы послушать их рассказы о войне.

Слово «Россия» возникало в этих рассказах часто. И все, что относилось к этому слову, окутывалось в моих глазах дымкой таинственности, за которой я едва мог разглядеть огромное число плохо одетых, отчаянно сражающихся людей. А над этой расплывчатой людской массой нависли устрашающие, отталкивающие очертания двуглавого орла, с которым я познакомился еще по русским маркам в моем детском альбоме.

Я был слишком молод, чтобы сразу понять значимость 1917 года. Позже мне пришлось об этом глубоко сожалеть.

В университете я то и дело сталкивался с молодыми людьми, для которых Октябрьская революция была поворотным пунктом в истории человечества. Для них свержение самодержавия рабочим классом было утверждением их веры в Человека, в его способность создать новое общество, в котором люди смогут жить в мире, навсегда покончив с жадным и жестоким расточительством богатств природы и продуктов человеческого труда. Многие аспиранты и молодые научные работники видели в Октябрьской революции открытие необъятных возможностей применения науки к наиболее рациональной перестройке человеческого общества.

Английский писатель Ч. П. Сноу, рисуя образ одного из своих героев, так описывал мировоззрение этих молодых интеллигентов начала двадцатых годов:

«С абсолютной искренностью и от всего сердца он верил в то, что человек может стать лучше, что лучше может стать и весь мир, что оковы прошлого, угроза виновности исчезнут, дав нам возможность жить счастливо в свободном мире... Это было время, когда сам воздух, которым мы дышим, казалось, был насыщен надеждами. Это было время великих и удивительных надежд».

Я родился слишком поздно. Может быть, поэтому мне казалось, что меня лишили этого чувства надежды. Ко времени, когда я сам стал студентом, многие из радуж-

ных надежд, порожденных в Западной Европе Октябрьской революцией, были уже развеяны. В Великобритании, как и во многих других странах, прочно утвердился старый порядок. Литература, которую мы, студенты, жадно читали, — ранние романы Эриха Марии Ремарка, Ричарда Олдингтона, пьесы Эрнста Толлера, поэзия Т. С. Элиота, произведения Джойса, Жюльетты Кафки и Лоуренса — уже содержала мало веры в способность человека к совершенствованию.

И все же от тех в Кембридже, кто был старше меня, я воспринял их чаяния и мечты, а также их любопытство ко всему, что касалось Советского Союза, хотя в те годы остро ощущался недостаток достоверных сведений о нем.

Трудно преувеличить наше невежество в отношении СССР в те годы, тридцать лет назад. Насколько помню, впервые мне удалось услышать рассказ очевидца о жизни в Советской России, когда мне минуло двадцать пять лет; а к этому времени я уже порядком поездил по Европе. Почему-то у нас считалось само собой разумеющимся, что Россия, которую мы знали по страницам Толстого, Тургенева, Достоевского, по пьесам Чехова и Андреева, полностью перестала существовать после 1917 года. Но что возникло на ее месте — об этом мы не имели ни малейшего представления.

Как вдруг в конце двадцатых годов — первые выдающиеся во всех отношениях кинофильмы... Они произвели в Англии впечатление разорвавшейся бомбы. Ни одно событие в области культуры не повлияло так глубоко на студентов моего поколения, как показ в клубах, обществах кинематографии и в небольших прогрессивных кинотеатрах фильмов «Броненосец „Потемкин”» Эйзенштейна, «Мать», «Конец Санкт-Петербурга» и «Потомок Чингиз-хана» Пудовкина. Мы поняли, что революционные массы, являющиеся подлинными героями этих фильмов, решительно изменяли мир, действовали с безграничной энергией и решимостью для утверждения своей власти, ради глубочайшей любви к простому человеку. Это придавало Октябрьской революции в наших глазах совершенно иное значение, возрождало наши надежды, в то время как тени продолжали сгущаться.

Вопреки всему, до нас стало доходить все больше сведений об успехах советских людей в строительстве новой жизни. В Англии появился журнал «СССР на

стройке». В нем содержались убедительные доказательства того, что период исканий в истории молодого революционного государства сменился периодом грандиозного планового развития в промышленности и сельском хозяйстве. И еще раз кино сыграло важную роль. Такие фильмы, как «Турксиб», «Путевка в жизнь», давали возможность заглянуть в мир, где работа была для всех, тогда как в нашей собственной стране на мостовых у бирж труда стояли толпы безработных, когда английские рабочие, голодные, изможденные, шли из оцепеневших городов промышленного Севера требовать от правительства работы и хлеба...

На смену моему полному невежеству в отношении Советской России пришло жгучее любопытство, желание увидеть своими глазами новое рабочее государство на Востоке. Это желание подогревалось участием СССР во Всемирной выставке 1937 года в Париже, сообщениями о советских достижениях в изучении Арктики, стратосферы, в области рекордных полетов на дальность. Все это в тридцатые годы разжигало воображение английской молодежи.

Так что, приняв предложение редактора газеты, я осуществлял свою давнюю мечту.

С того военного 1941 года я вот уже семнадцать лет живу в Москве. Мне пришлось жить и работать во многих городах мира, но ни в одном из них я не жил так долго, как в столице Советского Союза. Многое я узнал о Москве и москвичах за эти годы; здесь, в этих беглых заметках, я расскажу лишь о некоторых эпизодах.

Дыхание будущего

Декабрь 1941 года. Победа над гитлеровцами под Москвой... По-видимому, это она повлияла на меня так, что я стал интересоваться будущим столицы. Не правда ли, москвичи, это так естественно? Но надо иметь в виду, что мне пришлось говорить «прощай» многим городам и делать это с таким чувством, что у них нет будущего.

Еще до того как я приехал в Москву, мне приходилось слышать о том, как несколько десятков километров берегов Москвы-реки и Яузы были одеты в гранит и чугун; о том, как в Москве выросли огромные кварталы домов для рабочих, массами пришедших в столи-

цу в годы первой и второй пятилеток. Иностранцы, посещавшие Москву в довоенные годы, возвращались домой с рассказами о наступлении, которое вели на город архитекторы и строители: чуть ли не за ночь исчезали целые районы деревянных домишек; одновременно воздвигались четыре моста через Москву-реку; большие здания со всеми их жителями передвигались на катках на другие места...

Война приостановила все это созидание с внезапностью лопнувшей часовой пружины. Москва оголилась. Но нагота города уже носила в себе черты будущего. На истомленном лице столицы я уже мог заметить новое, говорившее о том, что я приехал жить в город, который станет совсем отличным от других городов мира.

Меня сперва трогали до боли речи москвичей о будущем их города, речи, которые дышали уверенностью и страстью. Правда, позже я привык к этому типичному для людей, живущих в обществе, полном динамики, выражению своих чувств. Даже в дни побед острое сознание того, что дались они тяжелой ценой, было каким-то особенным. Людей печалили не только потери в человеческих жизнях и общественном достоянии. Их печалило еще и сознание того, как много упущено из-за войны, как много можно было бы создать еще материальных и культурных ценностей, не случись эта война.

Однажды, весной 1942 года, мой сосед, молодой пехотинец, потерявший правую руку в боях за Москву, постучался ко мне и сказал:

— Хочу показать вам, чем я занимался до войны. (Андрей работал в архитектурной мастерской.)

Следующие несколько дней мы провели в разъездах по всему городу.

Я приехал в Москву с самыми туманными представлениями о Кремле, Красной площади, фасаде Большого театра и... ни о чем больше. Мой спутник научил меня видеть Москву его глазами, глазами архитектора и коренного москвича.

Переполненный до отказа, подпрыгивающий на стыках вагон «Аннушки» провез нас по кольцу. Мы прошли почти бесконечное Садовое кольцо, на котором новобранцы топтали последний снег. Мы шагали по лабиринту мощенных булыжником переулков между Арбатом и улицей Кропоткина и то и дело останавливались, чтобы полюбоваться редкой красотой архитектуры на-

чала XIX века, отличающейся в Москве особой прелестью, благородством и выразительностью.

То и дело Андрей указывал мне на полюбившиеся ему пейзажи и уголки города.

Вот Птичий рынок, на котором энтузиасты, любители тропических рыбок, собирались по воскресеньям даже в самое тяжелое время войны. Вот то самое место на улице Калинина, с которого золоченые купола над зубчатыми стенами Кремля кажутся чудесными шарами, готовыми взмыть в небесную голубизну... А melancholic львы с физиономиями подлинно английских аристократов, взгромоздившиеся на столбы ворот Музея Революции! А сквер напротив Большого театра!..

Надо сказать, что у Андрея не было никакого вкуса к тоске по старине. Его привязанности относились к будущему Москвы. С его помощью я научился смотреть на Москву как на город, в котором новые, широченные планы социалистической жизни прокладывают себе дорогу по хаотическому наследию прошлого.

— Подобно Риму Москва не сразу строилась, а испортили ее за несколько десятков лет,— заметил однажды Андрей, когда мы проходили мимо какого-то убогого сооружения XX века.— Ничего, мы все поставим на свое место...

И я научился понимать величие замысла социалистического города, вдохновлявшего архитекторов в 1935 году при составлении плана Большой Москвы,— города, в котором улицы, идущие в радиальном направлении, уже застроены новыми жилыми домами, а бараки тридцатых годов уступили место зданиям, более достойным строителей первой в мире социалистической столицы. Я мечтал о городе, который, уважая памятники древности, воздвигнет на новых площадях и скверах новые памятники своим лучшим людям; о горде с тенистыми от деревьев улицами и дворами, в которых люди могут отдохнуть после трудового дня; о городе фонтанов и уютных кафе на тротуарах.

Более того, я ждал дня, когда новый центр Москвы станет местом великих встреч для народов всех стран мира.

Таким образом, первое, что я стал разделять с москвичами, была их надежда.

Вскоре я узнал еще кое-что, чего не видел ни в одном городе других стран. До удивления большое число людей, встреченных мною в Москве, оказывались уро-

женцами других мест. Тем не менее все они смотрели на город как на что-то свое собственное, усыновленное ими. И это, право же, было куда более естественно, чем поведение, скажем, манчестерских бизнесменов-богачей. Те не проявляли ни малейшего интереса к судьбам своего города, хотя он и служил источником их доходов.

«Откуда у москвичей такой интерес к будущему своего города?— думал я.— Оттого, что они строили его своими собственными руками?»

Как-то я побывал на одном из крупных предприятий на окраине Москвы. Это было в декабре 1941 года. Цех, в который я пришел, не отапливался и плохо освещался. На старых станках, увезенных бог знает какими усилиями из-под носа у немцев из городов западной части России, люди день и ночь делали части для запрудивших двор поврежденных танков. После ремонта танки прямо из цеха шли на фронт.

Рабочий, с которым я разговаривал, оказался цыганом. Он долго скитался по балканской земле, пока в 1932 году не пришел в Москву наниматься в чернорабочие. Он рыл котлован фундамента того самого цеха, в котором мы разговаривали, возводил его стены, крыл крышу. Затем получил работу в самом цехе. Ему дали там специальность, и он начал учиться на курсах по подготовке в институт. Занятий не прервала даже война с ее тринадцатичасовым рабочим днем.

— Я москвич,— сказал он со страстью.— Я строил этот завод!

Все еще размышляя об этом цыгане, я попал вечером на сборище сотрудников посольств и военных миссий стран Запада. В тех кругах на Советский Союз смотрели в тогдашние времена через очки российского прошлого. Эксперты по России, полуэксперты и квазиэксперты в поисках объяснений советского патриотизма перелистывали страницы «Войны и мира», исторических исследований Хатхаузена и Валишевского, мемуаров маркиза де Кюстина... Много говорили тогда о «традиционном многотерпении и упорстве русского крестьянина», о «русской способности страдать» и т. д. и т. п. От двадцати пяти лет Советской власти отмахивались, как от случайного эпизода в многовековой русской истории. И, вне всякого сомнения, здесь вынашивалось немало тайных, но напрасных надежд насчет иного будущего страны.

Слушая болтовню о всяческих впечатлениях и наблюдениях, цитаты и передержки из цитат, предсказания самые смелые и самые робкие, я невольно думал о людях, работавших в промороженном цехе для того, чтобы скорей отремонтировать танки и послать их на защиту Москвы. Что, действительно на эти сверхчеловеческие усилия их толкала мистическая вера в землю предков? Не возникла ли преданность моего цыгана своему заводу из простого, примитивного инстинкта? Или, может быть, это просто неясная дань тому, что для него, рабочего, значит сегодняшняя, а скорее, завтрашняя Москва?..

В таком настроении я не мог устоять, чтобы не повторить собравшимся парадокс, услышанный мною незадолго до этого из уст русского человека, большую часть жизни проводшего на царской службе.

С Алексеем Алексеевичем Игнатьевым я познакомился в Куйбышеве в дни недолгой эвакуации. Говоря от души, я решил пойти к нему по тем же самым мотивам, которые принуждали моих друзей-дипломатов копаться в российском прошлом ради того, чтобы пролить луч света на ее настоящее. Я полагал, что этот представитель бывшего правящего класса, аристократ, бывший гвардейский офицер, дипломат даст авторитетнейшие свидетельские показания насчет «врожденных свойств русской души».

Первым моим впечатлением об Алексее Алексеевиче были его достоинство и бесконечная учтивость. Его внешность — высокого, широкоплечего человека в военной форме, безупречно подтянутого, — заставляла выглядеть нас неуклюжими, а комнату перенаселенной гостиницы жалкой и неопрятной. Его узкое лицо патриция с густыми бровями над прекрасными глазами было полно такого достоинства, что становилось ясным — передо мной был человек, еще ни разу не позволивший себя унижить. И, прочтя позже его мемуары, я не удивился, что он с честью перенес все испытания эмиграции.

Алексей Алексеевич с большим терпением выслушал меня. Только когда я повторил свои недоношенные теории насчет российской способности к страданиям и сопротивлению, в глазах у него замелькали смешливые искорки, выдававшие его подлинные чувства. Но пришел момент, когда он уже не мог сдержаться. Хлопнув большой ладонью по столу так, что стаканы и бутылки заплясали, он оборвал меня одним только словом: «Че-

пуха!» — и таким громким, что его, наверно, было слышно на другом берегу Волги.

Затем, по-видимому немного смутясь, он отвел меня в сторону и со своей огромной высоты задушевно сказал:

— Если вам необходимо объяснение силы советских людей, то ищите его в их будущем, а не в прошлом.

Может быть, я уделил чересчур много внимания этим взглядам в будущее, которые так отличали Москву в военное время и которые составляют столь заметную черту москвичей и ныне? Может быть, советский читатель воспримет это как нечто совершенно естественное, совсем не заслуживающее внимания? Но для меня, родившегося и выросшего в Западной Европе, такое постоянное устремление вперед явилось чем-то совершенно новым.

Вспоминается, как американский журналист Линкольн Стеффенс, впервые посетив много лет назад Москву, воскликнул: «Я увидел будущее, оно работает!» Сегодня советские люди могут с гордостью сказать: «Мы уже шагнули в будущее, и оно прекрасно».

Даже кратковременное пребывание в Москве заставляет наблюдательного человека ощутить психологические изменения, которые происходят в обществе, живущем в движении к коммунизму. Стремление не только работать по-коммунистически, но и жить по-коммунистически, отбросить все наносное и приросшее, окалину и шлак,— это стремление уже живет в Москве. Достаточно посмотреть на то, как создаются бригады коммунистического труда, на взволнованность, с какой родители, педагоги, студенты участвуют в реформе народного образования, как все с большей непримиримостью относятся москвичи к остаткам уродливых привычек и пережитков прошлого.

Москва — первая в мире столица социализма — готовится к прыжку в будущее, готовится стать первым в мире городом коммунизма.

Встречи с друзьями

Москвичи, при первом столкновении с ними, могут показаться иностранцу несколько необщительными, сдержанными. Но стоит только им увидеть в нем друга, да еще такого, с которым стряслась беда, как его встретят

с такой душевностью, с такой человечностью, что он никогда этого не забудет. Он может приехать в этот город одиноким, еще не оправившимся после тяжелой утраты, обозленным жестокостью судьбы, и жители Москвы — даже те из них, кого постигло несчастье и кто обременен своими собственными невзгодами, — всегда утешат и подбодрят его. Нигде великая река духовной щедрости человека не разливается так широко, как в Москве.

Не скрою, было время, когда двери официальных учреждений захлопывались передо мной. С этим в конце концов иностранному журналисту приходилось сталкиваться не только в Москве. Но двери моих друзей всегда были открыты для меня — иногда, правда, всего лишь приоткрыты, но никогда не заперты на ключ или засов.

А случалось и так, что некоторые двери распахивались самым неожиданным образом.

Однажды в воскресный жаркий летний день я решил совершить прогулку по каналу имени Москвы. Что может быть приятнее, чем провести несколько часов на воде, походить по высокой траве меж берез и елей на берегу водохранилища около Хлебникова, а может быть, даже и искупаться.

Я поехал вместе с маленькой девочкой, которая до этого еще ни разу в своей жизни не каталась на пароходе. А ведь речной трамвай — какой-никакой, а тоже корабль!

Она повязала голову платочком, на котором старшая сестра вышила парусную лодку, положила в кармашек шерстяной кофточки немного печенья — «кормить чаек». Ей, очевидно, казалось, что мы отправляемся в океан.

На пристань мы приехали как раз вовремя. У кассы я приподнял девочку, чтобы она могла получить удовольствие «сама» купить билет для нашего «путешествия».

Мы уже почти поднялись по трапу, когда я случайно услышал, как двое из членов команды обменялись несколькими фразами, из которых я мог уловить слова «иностранец» и «нельзя», — слова, ставшие за время «холодной войны», увы, слишком знакомыми.

Но в тот момент я ничего не видел, кроме черных как смоль глазенок, утонувших в аквамарине слез, и маленькой ручонки, судорожно сжимавшей съехавший

на худенькое плечико платочек с вышитой на нем парусной лодкой.

И в это мгновение я услышал звонкий детский голос, раздавшийся с капитанского мостика:

— Ле-на-а! Раф Артурыч!..

У девочки как будто начали расправляться крылышки. Она радостно замахала ручонками:

— Коля!

Колина голова нырнула куда-то и исчезла за барьером, но через минуту он уже вновь появился на трапе с капитаном, который, как оказалось, был его отцом.

Опять началось какое-то перешептывание.

— Пожалуйста,— сказал матрос и, проверив наши билеты, пропустил нас на пароход.

— Спасибо, товарищ офицер!— сказал я Коле.

Мальчик вытянулся и с победным видом, счастливый и сияющий, отдал мне честь.

И когда мы проходили на корму к свободной скамейке, все вокруг понимающе улыбались нам. Мир, мол, не без добрых людей.

Оказалось, что Лена и Коля ходили в один детский сад. Коля как-то заболел, у него было малокровие. Лена принесла ему два лимона, которые в то время в Москве было очень трудно достать.

— Кто тебе их дал?— спросил ее Коля.

— Раф Артурыч. Он иностранец, иностранный корреспондент,— объяснила ему Лена.

Мы чудесно провели это воскресенье на канале, гуляли и даже купались. Ничто уже не могло омрачить день, который начался такой блестящей победой.

Но это еще не конец рассказа.

Колин отец сейчас первый помощник капитана на большом пароходе, на котором каждое лето вниз и вверх по Волге ездят иностранные туристы.

А Коля? В прошлом году во время Первомайского парада его можно было увидеть среди курсантов-отличников Высшего военно-морского училища, проходивших торжественным маршем по Красной площади.

Но раз уж речь зашла о дверях, закрытых и открытых, мне хотелось бы рассказать еще историю о маленьком Саше.

Когда Саша был еще совсем малышом, лет десяти, не больше, он однажды заметил, как какой-то дяденька, который ему показался похожим на иностранца, сто-

ял перед афишей и что-то записывал в маленькую записную книжечку.

Не знаю, какие мысли пробежали в этот момент в Сашиной голове, но, поскольку Саша был мальчик наблюдательный, смывленный и бдительный, он побежал к одному из своих приятелей по классу посоветоваться. Через некоторое время Саша вернулся и, подойдя к странному незнакомцу, спросил у него, который час. Услышав ответ, в котором нельзя было не уловить явно-го иностранного акцента, мальчуган отошел с серьезным видом, а затем быстро побежал в направлении Покровских ворот.

Иностранец, который к этому времени успел установить, что в следующем представлении «Бахчисарайского фонтана» танцует Уланова, вернулся за свой рабочий стол. Каково же было его удивление, когда спустя полчаса, открыв на звонок дверь, он увидел на пороге своей квартиры маленького мальчика в сопровождении двух милиционеров. Недоразумение, конечно, быстро выяснилось, и все было улажено ко всеобщему удовлетворению.

Недоволен остался только Саша. Но не навсегда.

И у этой истории, как и у многих других, начало которых относится к тому времени, счастливый конец.

Около трех лет назад по переулку, где я живу, прокатилась волна увлечения марками. Примерно в течение получаса после того, как в соседней школе кончала заниматься первая смена, звонок на двери моей квартиры звенел не переставая, и за каждым звонком следовали просьбы: дать, если есть, марки. Марки, марки!..

В конце концов я заключил с юными филателистами деловое соглашение. Я согласен менять иностранные марки на детские рисунки. Если рисунки окажутся достаточно хорошими, мы на будущий год летом организуем во дворе выставку.

Это сократило число являвшихся ко мне коллекционеров примерно до двенадцати. А у меня накопилась целая кипа рисунков, в которых мальчишки (коллекционирование марок является в Москве, по-видимому, исключительно мужским занятием) выражали свои стремления и мечты: они рисовали межпланетные корабли и аэронавтов в шлемах, деревья, зеленеющие вокруг нашего заброшенного двора, первомайскую демонстрацию — колонны демонстрантов, несущих бесчисленное количество плакатов с надписью: «Миру — мир»...

А затем наступило какое-то очередное увлечение, и спрос на марки прекратился так же внезапно, как и возник.

Но однажды снова прозвенел звонок, и мальчишеский голос спросил:

— У вас есть марки?

Я открыл дверь и увидел... Сашу.

Не знаю, показалось ли это мне или действительно он держал себя так, будто извинялся за что-то.

Я дал ему посмотреть имевшиеся у меня тогда иностранные марки. Он выбрал отличную индонезийскую марку, а затем, пошарив у себя в кармане, достал и вручил мне значок с изображением Ленина.

— Мой папа носил его, когда был комсомольцем, — сказал Саша. — Может быть, вам он тоже понравится.

Я знал, что это был очень дорогой подарок, и поблагодарил его.

Но Саша не собирался еще уходить. Он осматривал некоторое время мою комнату и вдруг выпалил:

— Вы не могли бы мне помочь? Я очень хочу переписываться с каким-нибудь английским мальчиком...

В Москве всегда найдутся двери, открытые для иностранца, который действительно хочет узнать, что составляет силу русского характера. И как часто какая-нибудь случайная встреча приводит к долголетней дружбе!

Живя в Москве, я быстро усвоил прекрасный московский обычай: в воскресные дни, взяв с собой немного еды в «авоську», сесть на электричку и уехать за город, в лес. Москвичи даже не понимают, как им повезло, что в непосредственной близости от города сохранился нетронутый пояс зеленых пригородов, до которых так легко добраться. Но надо надеяться, что они никогда не допустят, чтобы этот пояс был обезображен беспорядочной застройкой, как это случилось вокруг многих городов Западной Европы и Америки.

В одно из таких воскресений, после долгой прогулки по лесу неподалеку от Кучино, мы нашли местечко, которое показалось мне идеальным дачным поселком в лесу. Там мы разговорились с Федором Михайловичем — владельцем одной из дач, расположенной в глубине небольшого участка, с тщательно обработанными грядками клубники.

В то время, почти десять лет назад, Федор Михайлович работал на одном из московских сталелитейных

заводов, принадлежавшем до революции иностранной компании. Он был из той, ныне уже немногочисленной и с каждым годом уменьшающейся, категории советских рабочих, которые на себе испытали капиталистическую эксплуатацию.

Мальчиком тринадцати лет приехал Федор из рязанской деревни в Москву в поисках работы. Их было девять братьев и сестер, и летом, когда запасы хлеба подходили к концу, отец посылал трех или четырех сыновей в город зарабатывать себе на жизнь. Если урожай был хороший, парням писали, чтобы они на зиму возвращались домой. Осенью 1903 года Федя, который был старшим из четырех братьев, работавших чернорабочими на кирпичном заводе в Марьиной роще и живших там же в бараках, вынужден был остаться в городе, в то время как его братья отправились пешком в обратный путь.

Прошло двадцать лет, прежде чем Федору Михайловичу удалось вновь повидать свою родную деревню. Но к тому времени он был уже сталелитейщиком, отцом, большевиком с пятилетним партийным стажем.

Когда мы познакомились, Федор Михайлович уже в течение многих лет занимал должность старшего мастера. От долгих часов напряженной работы во время войны в почти невыносимой жаре плавильного цеха здоровье его несколько пошатнулось, и я подозревал, что у него начинает сдавать сердце. Вспоминаю, что в статье, которую я написал о нем год или два спустя после знакомства, когда имя Федора Михайловича было упомянуто на первой странице «Правды» в числе других московских рабочих, награжденных орденом Ленина, я обрисовал его как пожилого рабочего, собирающегося уходить на пенсию.

И я уже рисовал себе эту идиллию: на закате своих лет старый рабочий, живя в дачном поселке, ухаживая за фруктовыми деревьями и овощными грядками, делится воспоминаниями со своими соседями... Но я не учел крепкого московского характера этого человека, не разглядел той черты его натуры, которая, как я позднее понял, является типичной для труженика-коммуниста: страсть передавать младшему поколению свое мастерство, свой опыт, профессиональные знания, накопленные за многие годы работы. Отец полковника авиации и двух студенток, Федор Михайлович не меньше, чем ими, гордился и своими заводскими «детьми». Я помню, как

в воскресенье вечером, в то время как его гости дремали под деревьями после плотного обеда, он, пренебрегая запретами докторов, переодевался в рабочую одежду и направлялся через лес к станции, чтобы успеть на поезд, не опоздать к ночной смене. «Мне сегодня нужно там быть»,— говорил Федор Михайлович в таких случаях в ответ на уговоры беспокоившейся за него жены. И он называл фамилию какого-нибудь из своих учеников, которому в первый раз была поручена ответственная плавка и которому может понадобится совет старого мастера.

На несколько лет я потерял с ним связь. В одно из воскресений я решил, что пора восстановить наше знакомство, и отправился в поселок. Я был уверен, что старый рабочий, конечно, ушел на пенсию. Ему уже перевалило за шестьдесят.

Но опять оказалось, что я ошибся.

Я застал всю семью в сборе. Они сидели на веранде. Два чемодана, крепко перевязанных веревками, стояли возле дверей.

— Привет англичанину,— встретил меня старый приятель и, улыбнувшись, спросил:— А вы не хотите со мной?

— Так вы наконец решили все-таки взять отпуск?— сказал я.— Куда вы едете? В Сочи?

— В Сочи? Я еду в Корею.

Оказалось, что на заводе бросили клич: кто хочет помочь корейцам восстановить разрушенные во время войны сталелитейные заводы, обучить рабочих? И Федор Михайлович вызвался поехать. «Вы больше во мне не нуждаетесь,— упорно твердил он.— Молодежь сама управится».

Когда я прощался, старый рабочий дал мне книжечку. Она была напечатана на китайском языке.

— Методы моей работы,— пояснил мне Федор Михайлович.

Все, кто возвращается через Москву из поездок по тем странам Дальнего Востока, где народы завоевали свободу, часто рассказывают о горячей признательности, с какой говорят люди о советских специалистах, помогающих им на первых этапах индустриализации. Слушая эти рассказы, я всегда вспоминаю старого московского рабочего, который отказался от заслуженного отдыха, чтобы поехать в далекую страну передать другим свой опыт производства стали.

...В начале 1943 года ко мне в номер гостиницы «Метрополь» шумно вошел какой-то незнакомый человек и сказал:

— Я Пудовкин. У нас с вами есть общие знакомые.

Я увидел перед собой высокого мужчину атлетического сложения, с загрубевшей кожей и подвижным лицом, на котором выделялись глаза, светившиеся подкупающей искренностью.

Когда мы впервые встретились, Пудовкину было пятьдесят лет. Но мне он показался молодым, очень молодым, и это впечатление сохранилось у меня до самой его смерти, которая наступила так внезапно через десять лет после нашего знакомства. Несмотря на то что Пудовкин всегда был очень загружен работой, я никогда не видел его усталым. Казалось, он весь горит каким-то внутренним огнем. Простой, прямой, без излишнего самокопания, он с готовностью и энтузиазмом отдавался самым различным увлечениям, самой разнообразной деятельности. Читал ли Пудовкин публичную лекцию о творчестве Чарли Чаплина, писал ли статью о наследии Станиславского, делился ли своими впечатлениями о «Моисее» Микеланджело, которого видел во время поездки в Рим, председательствовал ли на фестивале английских фильмов во время войны в Москве, давал ли ответы шестнадцатилетнему парнишке, полюбившему астрономию, выступал ли на конференции в защиту мира, — он всегда оставался искренним, полным энтузиазма. Я не знаю другого такого человека, который обладал бы такой же силой энтузиазма и мог бы так легко заразить им своих слушателей, шла ли речь о «Записках Пиквикского клуба» — книге, с которой он не расставался, или о геохимических теориях Вернадского, или об освободительной борьбе колониальных народов Востока...

Вместе с тем ему была свойственна необычайная скромность, тем более замечательная в человеке, чей исключительный талант выделял его в любом обществе. Послушав Пудовкина, можно было подумать, что ему ничего не известно о том огромном влиянии, какое оказало его творчество на мировую кинематографию. Он непрестанно пересматривал свои теории, которые давным-давно вошли в свод основных правил для работников кинематографии любой страны. «Неужели это я писал?» — говорил он, чрезвычайно удивленный, слушая выдержки из того, что было им написано. Казалось, этот

человек неустанно самообновлялся. До самых последних дней своей жизни он готов был предпринять любой эксперимент. Если что-нибудь оказывалось не так, он не убивался по этому поводу. Если же все оказывалось как нужно,— ликовал.

На его непосредственность, искренность, неподдельное дружелюбие нельзя было не ответить самой теплой привязанностью. Невозможно было не почувствовать, как в присутствии этого человека буквально сбрасываешь с себя пяток-другой лет. И никто не мог наперед угадать, чем может закончиться прогулка или разговор с Пудовкиным.

Помню случай, который произошел на конференции во Вроцлаве. Пудовкину и одному английскому представителю поручили написать проект резолюции. Увлеченные горячим спором, они ходили вокруг большого бассейна в парке перед зданием, в котором находился ресторан, обслуживавший конференцию. Времени было мало, и мы с нетерпением ждали согласованного текста резолюции.

Вдруг мы увидели, что Пудовкин положил на землю свою папку и бросился бежать. Другой автор резолюции, человек довольно грузный, также положил свою папку и побежал за ним. Расстояние вокруг бассейна было не менее четырехсот метров. Пудовкин, который сдал нормы на значок «Готов к труду и обороне», возглавлял бег, далеко оторвавшись от противника, но мы заметили, что время от времени он поглядывал через плечо, чтобы определить, можно ли не увеличивать темп бега.

Перед финишем оба участника соревнования сделали рывок и закончили дистанцию разгоряченные, под приветственные возгласы зрителей, одобрительно размахивавших своими платками. И, еще не успев поднять папки с земли, оба делегата пришли к соглашению. Может быть, у них уже просто не хватило дыхания продолжать спор.

Широкая натура — можно сказать про Пудовкина, употребляя известное выражение. Но в применении к нему это отнюдь не означает не критической, либеральной всеприемлемости. Он был человеком глубоких чувств и не растрачивал их на сентиментальность, а направлял на то, чтобы, изобразив социальную несправедливость, восстать против нее, чтобы, нарисовав несправедливость империалистических войн, выразить

свое возмущение, чтобы, показав несправедливость колониализма, протестовать против него. Ему нравились англичане, но вряд ли найдется более беспощадно правдивый портрет представителя британской империи, чем тот, который дал Пудовкин в своем «Потомке Чингиз-хана». Он восхищался культурными и научными достижениями английского народа, но мне редко доводилось наблюдать, чтобы человек был так потрясен и возмущен, как Пудовкин, после того как он увидел своими глазами, до какой нищеты довело индийский народ британское владычество.

В Пудовкине я видел настоящего интеллигента-коммуниста. Партия многое значила для него. Жизнь Ленина для него всегда была примером, и я никогда не забуду, как светились его глаза, когда он рассказывал мне различные эпизоды, свидетельствовавшие о мудрости ленинских решений в трудные минуты революции. Это были простые истории, вдохновлявшие его в работе.

Я твердо убежден, что именно чувство кровной связи с партией помогало Пудовкину направлять всю свою энергию, весь неисчерпаемый энтузиазм на создание картин, которых требовала современность. И этим я вовсе не хочу сказать, что он как-то приспособливал свой талант и занимался простым иллюстрированием линии партии в какой бы то ни было период. Нет, на всех его картинах лежала печать его яркой индивидуальности, но глубокое осознание самим Пудовкиным задач и долга интеллигента-коммуниста придавало подлинную партийность лучшим его фильмам, перебрасывавшим мост в будущее, к которому двигался его народ. Пудовкинский «Потомок Чингиз-хана» до сих пор не утратил своего значения для всемирной борьбы против империализма, хотя конкретные эпизоды этого фильма, сделанного более тридцати лет назад, относятся к дальнему прошлому. А разве его «Жуковский» не предсказал того будущего советской науки, когда ее превосходство признал весь весь мир? И разве его последний фильм «Возвращение Василия Бортникова» не возвещал о наступлении такого времени, когда проблемы человеческих отношений займут более значительное место в произведениях советского искусства?

Как это ни парадоксально звучит, но именно Пудовкину, гению советского кино, я обязан своим интересом к советской науке. Его собственный интерес к науке был таким же горячим, как и его интерес к ис-

кусству. Мало что доставляло ему такое удовольствие, как взять у меня последний номер английского научного журнала «Нейчер». Возвращая его, он всегда говорил то об электронных счетно-вычислительных машинах, то о явлениях в космическом пространстве, то о проблемах астроботаники, то еще о каких-нибудь подобных вопросах, и говорил об этом с живостью, которая всегда воскрешала во мне мое первое впечатление о нем как об очень молодом человеке. В разговорах с ним я узнавал идеи ученых-марксистов, которых знал еще в Кембридже тридцать лет назад, ибо Пудовкин, как и они, объединял прогресс науки с идеей мира во всем мире.

— Задача всемирного движения за мир, — не раз говорил он, — заключается в том, чтобы убедить общественное мнение, особенно в старых капиталистических странах Запада, обязанных своими владениями и богатствами главным образом войнам, что сегодня война — это анахронизм. И это задача прежде всего ученых. Это они должны заставить людей понять, что война ведет к гибели человечества, а не к процветанию. Пусть люди назовут меня чудаком, пусть говорят, что мое место на Луне. Но, может быть, именно в процессе завоевания мирового пространства, в сотрудничестве в масштабах Вселенной поймет наконец человеческий разум, насколько бесплодна война. Империализм в космическом пространстве? Здравый смысл не может не возмутиться при одной мысли об этом!

Жаль, что этому человеку не довелось увидеть спутник.

Десятое открытие Москвы

Когда смотришь на Москву глазами других, как будто заново — в третий, пятый, десятый раз — ее для себя открываешь. Особенно теперь, когда город стал большим туристским центром.

Одного из приезжих иностранцев поражает стремительность, динамичность московской жизни («Куда ни посмотришь, все спешат куда-то!»), и, когда глядишь на толпы прохожих, заполняющих тротуары, на огромные потоки грузовиков, с грохотом проезжающих по Садовому кольцу, невольно говоришь сам себе: «Да, этот турист прав. Москва выглядит целеустремленной, по-деловому кипучей». Другой, побывав здесь три-че-

тыре года назад и приехав снова, заявляет, что «москвичи выглядят гораздо более веселыми и менее утомленными», и, когда идешь прогуляться в парк или заходишь посидеть в кафе, говоришь сам себе: «Это действительно так».

Одного английского политического деятеля поразила «удивительная невинность» развлечений и танцев, которые происходили на площади под окнами гостиницы «Националь», и я невольно вспомнил, какое неприятное впечатление осталось у меня от непристойного поведения молодых шведских «стиляг», парней и девиц, которое мне пришлось наблюдать в прошлом году в парках в центре Стокгольма.

Американка, не скрывавшая своего, в общем, враждебного отношения к Советскому Союзу, заметила: «Повседневная жизнь москвичей отмечена вежливостью и даже строгостью. Никто не разговаривает слишком громко или с преувеличенной жестикуляцией... Есть какое-то изящество манер, которое тем более привлекательно, что за ним не чувствуется никаких раз и навсегда принятых норм или правил...»

Узнаете ли вы себя в этом описании, товарищи москвичи?

Одна моя индийская приятельница, прочитавшая перед приездом в Москву ряд статей о якобы «безобразном поведении московской молодежи», выразила свое удивление тем, что, как оказалось, «молодые люди здесь не напиваются, ведут себя дисциплинированно и осторожно, но уж никак не безобразно, а скорее наоборот».

Что ж, с этим мнением можно согласиться, но только с оговорками.

Осторожность? Можно ли отнести это слово к моему приятелю Алеше, который по окончании школы приехал в экспедицию на Крайний Север, провел там два года в геологической партии и только после этого сурового курса закалки характера пошел держать вступительные экзамены в университет, экзамены, которые он, кстати сказать, блестяще выдержал, и заняться тем, что его больше всего интересовало, а именно — восточными языками...

А те юноши и девушки, которые поехали из Москвы на покорение целинных земель казахских и алтайских степей, ясно представляли себе, какие трудности их там ожидали?

Нет, дорогой мой индийский друг, сколько бы ни было доброжелательности в том, что вы хотели сказать, вы не правы. И как жаль, что вас не было в Москве в июне, чтобы провести вечер с выпускниками школ, которые, держась под руки, широкими шеренгами идут по Красной площади, — девушки в легких шелковых платьях, излишне заботливо поправляющие свои первые взрослые прически, мальчики, еще неокрепшим баском подтягивающие песни, которые поет молодежь, отмечая свое прощанье со школой! Да, они не танцуют рок-н-ролл на улицах, не освистывают прохожих, но только очень нечуткий человек может не заметить их оптимизма.

В прошлом году были дни, когда число иностранных туристов в Москве превышало пять тысяч. Что привлекает этих людей в Москву? Многое. Ведь и они тоже изменились за последние годы. Было время, когда поездка в Москву из любой западной страны рассматривалась как вызов официальной политике. Даже сегодня правое руководство некоторых английских профсоюзов очень холодно относится к инициативе рядовых членов союза, которые выражают желание присоединиться к делегациям, направляющимся в Москву. И не далее как в 1957 году английское министерство иностранных дел отговаривало многие молодежные организации от отправки делегаций на VI Всемирный фестиваль молодежи в столице СССР.

Теперь Москва входит в обычный туристский маршрут.

— Это же очень здорово, что я побываю в Москве и смогу рассказать об этом своим друзьям на родине! — говорил мне один американец, гражданский инженер из Далласа, штат Техас, с которым мы вместе ехали в Москву летом прошлого года.

— Неужели в Техасе так интересуются Москвой? — спросил его я.

— Да, особенно после того, как Ван Клайберн из нашего штата получил первую премию на московском конкурсе, — отвечал он. — Можно сказать, что после этого события в Техасе разглядели наконец на карте, где находится Москва.

Бизнесмен из Нью-Йорка приехал в Москву на собственной машине с женой и двумя дочерьми, которым нет еще двадцати лет. Они провели целый месяц, путешествуя в автомобиле по Советскому Союзу. И вот он

рассказывает мне, что считает путешествия одной из важнейших сторон образования своих дочерей. В прошлом году они были в Италии, где осматривали музеи и картинные галереи; за год до этого ездили во Францию и Голландию. А теперь приехали в СССР. Одна из дочерей каждый день в течение двух часов пишет дневник. И для нее каждая деталь жизни Советского Союза полна особого значения.

Англичанка, владелица магазина, приезжает с рекомендательным письмом от одного нашего общего знакомого. Она откалывается от туристской группы, приходит ко мне и сидит у меня на кухне, подробно расспрашивая о жизни в Москве. Не показал бы я ей кухню, если можно? Не свожу ли я ее в продовольственный магазин? К портнихе? А как насчет малолетних преступников — проблема ли это для Москвы? И я знаю, что каждое слово, которое я скажу ей, будет в точности повторено: все, что она увидит, она опишет во всех подробностях своим знакомым в Лондоне, когда вернется домой.

Глаза всего мира буквально прикованы сегодня к Москве, и глаза эти испытующие, всегда критические, а иногда враждебные. Впечатления, которые иностранный турист увозит отсюда с собой на родину и делится там со своими друзьями, возникают не только в результате посещения метро, Кремля и Оружейной палаты или Всесоюзной выставки, но также и от прогулки по улице Горького, от случайного посещения кафе, от поездки на такси. И если, паче чаяния, во время поездки по городу дорогу ему пересечет пьяный, бредущий, шатаясь, домой, весь испачканный и громко ругающийся, или попавшееся ему такси будет полно окурков, или он заметит, что его пытались грубо обсчитать в кафе, — можете быть уверены, что эти недостойные и нетипичные случаи не останутся в тайне, он обязательно о них расскажет.

В другой стране турист мог бы посмотреть на это сквозь пальцы. В жизни других городов он привык мириться даже с такими отвратительными социальными явлениями, как нищество, проституция, трущобы, ограничения для цветных; там это нечто вполне обычное, то что он ожидает встретить... Если он человек справедливый, настроен честно, то воздаст Москве должное за то, что она избавилась от подобных вещей. Он не сможет не признать той исключительной черты Москвы,

что люди, которые строят этот город и живут в нем, ведут непримиримую борьбу против позорных явлений старой жизни, от которой они отказались.

Может быть, нужно на некоторое время уехать из Москвы, чтобы понять, что она означает для всего мира...

Во время этого путешествия я еще раз убедился в том, какое место занимает Москва в чаяниях простых людей... Мы были в Гималаях, в Дарджилинге, старом горном городке, центре возделывания чая. Казалось, что отсюда, от этих увенчанных храмом хребтов огромных склонов, спадающих к раскаленным равнинам Бенгалии, так неизмеримо далеко до Москвы, что туда не дойдет наш слабый человеческий голос. И нам стало немного грустно в ту ночь, когда мы представили себе Красную площадь в ее парадном уборе, с ее свежеразмеченной брусчаткой, со знаменами, взвивающимися огненным костром над серым камнем Лобного места, с золотыми стрелками спасских курантов, приближающимися к двенадцати.

Рано утром Первого мая нас разбудили три индийца. Они представились как делегаты профсоюза работников чайных плантаций.

— Мы слышали, вы из Москвы, — с любезной учтивостью обратился к нам один из них. — Мы пришли узнать, не хотели бы вы пойти сегодня утром с нами на демонстрацию. Мы были бы очень рады, если бы наши московские гости были в этот день с нами.

Местом сбора выбрали сад возле длинного черного деревянного дома, прилепившегося к крутому обрыву, как гнездо ласточки. Большинство участников были рослые непальские женщины-работницы с чайных плантаций, спускавшихся по горным склонам широкими террасами. И когда мы пришли и нас познакомили с ними, мы еще раз убедились в волшебной силе слова «Москва».

Демонстранты прошли с красным флагом мимо здания государственного технического училища, мимо буддийского монастыря, где одетые в желтое монахи наблюдали за нашим шествием, мимо клуба плантаторов, членами которого были когда-то исключительно хозяева-европейцы. Когда по пыли и жаре демонстрация поворачивала к базару Дарджилинга, я мысленно представил себе, как вдоль улиц, сходящихся к Красной площади, рабочие Москвы несут трепещущие знамена,

лозунги и красочные транспаранты, веточки с только что распустившейся нежной весенней листвой и шуршащие бумажные цветы.

— Москва тоже — красный флаг? — спросил меня какой-то шагавший рядом человек небольшого роста, указывая на голову колонны.

Я кивнул в ответ.

Он улыбнулся, сверкнув белыми зубами:

— Москва, Москва...

Кто решил бы отрицать, что демонстрация на пыльной гималайской дороге была частицей той, которая наполняла в тот майский день своей праздничностью и весельем советскую столицу?!

Я вернулся в Москву с более глубоким пониманием того, что означает этот город для народов Азии.

В Москве все должно быть прекрасно

В одной из палат Боткинской больницы, пораженный смертельным недугом, лежал старый художник. Он приехал издалека, из-за океана, надеясь вылечиться в Москве. Его приятели и сам он считали, что если есть на свете доктора, которые могут спасти или по крайней мере продлить его жизнь, то они должны быть в столице Советского Союза. И каждый день отвоеванной жизни семидесятилетнего художника-революционера был настоящим подарком всему миру.

Незадолго до того как я пошел навестить его в больницу, мне позвонил наш общий друг и сказал:

— Передайте ему, пожалуйста, мягкий карандаш и небольшой отрывной блокнот, совсем маленький блокнот, который он мог бы прятать в руке так, чтобы доктор этого не заметил.

Когда сестра оставила нас наедине, я передал художнику карандаш и блокнот. В обмен он дал мне такой же блокнот и попросил передать его нашему общему знакомому. Листки блокнота, величиной всего в несколько квадратных сантиметров, были покрыты небольшими зарисовками русских людей, наброски с которых художник делал тайком из окна или сидя на скамейке в саду больницы, куда его иногда выносили. Портреты эти были нарисованы с огромной любовью. Не многие художники нашего времени отдают так мно-

го таланта изображению простых людей. Кроме того, он хорошо знал Москву и москвичей, так как впервые посетил Советский Союз вскоре после революции.

Мы говорили о современном состоянии советской живописи. Этот вопрос всегда вызывает споры среди друзей и среди недоброжелателей Советского Союза.

— Может быть, вы хотите сказать, что предпочитаете вот это? — резко оборвал меня художник, ткнув пальцем в одну из страниц французского журнала с репродукциями картин последних выставок во французских салонах. — Взгляните только на это! Что выражают эти рисунки и скульптуры, кроме страха, цинизма, отчужденности художника от всякой реальности, кроме разложения и смерти? Это так мелко, так ничемно...

— Согласен, — сказал я. — И я предпочитаю вот это. — Я постучал пальцем по блокноту с рисунками, которые он передал мне. — Только вы могли увидеть русских такими, и я бы узнал вашу руку в любом из этих рисунков.

— Произведения, которые отрицают жизнь, сами обречены на смерть, — продолжал рассуждать вслух художник. — Художник, который работает главным образом для частного коллекционера, рискует стать жертвой личного вкуса одного человека; и чем галантливее художник, тем в большей степени он оказывается в зависимости от прихоти богача. А в социалистической стране у художника неограниченный творческий простор. Я видел, какие образцы прекрасного, какие величественные зрелища создают советские люди во время демонстраций, на спортивных парадах...

В таком городе, каким является Москва, художник располагает самыми широкими возможностями в выборе места для своего произведения. В конечном счете, весь город в его распоряжении. А истинное место для произведений искусства, утверждающих силу жизни, — на стенах общественных учреждений, клубов, на стадионах, на улицах... Искусство — это не лекарство, которое можно прописывать людям гомеопатическими дозами — через цветные репродукции в популярных журналах, в музеях и картинных галереях. Искусство должно быть с людьми всегда, везде и всюду. Я глубоко верю в советское искусство, потому что глубоко верю в советский народ. Настанет время, когда люди потребуют такого искусства, которое стало бы неотделимой

частью их быта. Да, такое время придет. А пока разрешите мне рассказать вам одну историю. Когда я приехал сюда впервые, много лет назад, я посетил один заводской клуб. В те дни он помещался не бог весть в каком здании. Но мне очень хотелось внести свою лепту в строительство молодого революционного общества, и я вызвался нарисовать картину на стенах этого клуба. Рабочие были мне очень благодарны, но предложения моего не приняли. «Послушайте, товарищ художник, — сказал мне один из них, — это всего-навсего временное здание. Приезжайте к нам через несколько лет. К тому времени мы построим настоящий Дворец культуры. Тогда, если захотите, можете разрисовать хоть все стены».

Старый художник откинулся на подушки. Он утомился. Я сунул в карман блокнот с рисунками и вызвал звонком сестру.

А через несколько дней художник попросил докторов:

— Пожалуйста, прервите лечение на несколько дней и дайте мне возможность посмотреть первомайскую демонстрацию.

30 апреля Диего Риверу перевели из Боткинской больницы в гостиницу, в номер с балконом, откуда через Манежную площадь и далее через узкий Исторический проезд открывался вид на Красную площадь, Мавзолей и купола Василия Блаженного. Это было ближайшее к Красной площади место, куда можно было поместить больного художника.

Все время, пока длилась демонстрация, он сидел в кресле, обложенный подушками, укрыв ноги пледом, и делал наброски этого грандиозного шествия московских трудящихся, бурлящим потоком вливавшихся на Красную площадь. Шли люди, плечо к плечу, могучие, неисчислимы. Густел лес знамен. Народ все прибывал и прибывал бесконечной рекою, грозившей вытеснить из берегов бескрайнее море, наполнявшее Красную площадь. Было такое впечатление, будто здесь собралась сегодня вся Москва...

Я был у Риверы в тот же день вечером. На лице его легко можно было прочесть напряжение и усталость, но глаза сверкали отражением виденного днем. У него рождался замысел новой картины.

Эта картина, завершенная в Мексике, была одной из последних работ Диего Риверы. Я думаю, ему хоте-

лось нарисовать ее на одной из стен какого-нибудь здания, может быть, даже того Дворца культуры, который стоит теперь на месте старого заводского клуба, куда его приглашали когда-то приехать.

За день до смерти Диего Ривера попросил перенести его в мастерскую. До последней минуты жизни рука его не расставалась с карандашом, и последняя картина, написанная им, изображает московского мальчишку в треухе, прижавшего к груди маленькую модель спутника.

Станет ли Москва такой, какой ее мечтал видеть Ривера? Даст ли миру первая социалистическая столица великолепные образцы монументального искусства?

Москва перестраивается настолько быстро, что не придется долго ждать ответа на этот вопрос. Вряд ли где-нибудь есть еще такие возможности, как в Москве. Никакой частный землевладелец не может помешать осуществлению генерального плана реконструкции города, никакая частная фирма не может обезобразить силуэт города немислимыми рекламами. Здесь незачем сносить исторические здания только потому, что земля под ними поднялась в цене, нет нужды жертвовать красотой вида в угоду жадному к наживе спекулянту-застройщику.

Огромный интерес жителей Москвы к будущему своего города можно наблюдать всякий раз, когда начинается общественное обсуждение или выставка планов и проектов новых памятников и зданий. Достаточно посетить агитпункт во время выборов в местные Советы, чтобы убедиться, как близко к сердцу принимают москвичи планы гражданского строительства в городе. И мне кажется, что за последние годы городские власти стали больше считаться с общественным мнением по этому вопросу. И может быть, уже настало время, когда заинтересованность населения в дальнейшем улучшении внешнего облика Москвы должна выразиться в создании постоянных «художественных советов» — органов, в которые входили бы активные общественники, чье мнение необходимо обязательно учитывать при решении всех вопросов, касающихся эстетических сторон московского быта?

Помнится оживленная дискуссия по вопросу об оформлении Москвы к VI Всемирному фестивалю молодежи. Обмен мнениями, предложениями, рекоменда-

циями между учителями и родителями; писателями и читателями, редакциями газет и подписчиками; даже между работниками магазинов и покупателями. Это — характерная черта советской жизни, к которой долго живущий в Москве иностранец так привыкает, что замечает ее исключительность только тогда, когда выезжает в другие страны и не находит ее там.

Не пришло ли время, чтобы нечто подобное делалось и в отношении эстетических вопросов, чтобы вышли на арену и заговорили поборники красоты Москвы! Будущее Москвы слишком дорого и не должно находиться в руках одних только административных органов. Глаза всего мира пристально устремлены на Москву, они наблюдают за тем, как хозяева своей собственной судьбы отстраивают свою столицу. И когда новый сверкающий город будет построен, они посмотрят на него со всей придирчивостью, стремясь оценить его замысел и понять обоснованность этого замысла.

Легко понять и простить недостатки довоенного строительства в Москве, когда не хватало высококачественных строительных материалов и квалифицированных строительных рабочих. Можно найти веские причины, объясняющие, почему после победы над фашизмом воображение москвичей захватили замыслы сооружения высотных гигантов. Но неужели при постройке тех сравнительно недавно появившихся зданий, архитектура которых не соответствует их назначению; учитывались современные вкусы московской общественности? Мне, в частности, трудно представить себе, чтобы, например, московским научным работникам — людям, занятым наиболее передовыми исследованиями в мире, по-настоящему нравился клуб их Дома отдыха в Моженке, построенный в тяжеловесном, помпезном стиле псевдоампира, строительными методами, которые представляются теперь совершенно устарелыми.

Год или два назад в Библиотеке имени Ленина была организована выставка прикладного искусства. Многие из выставленных экспонатов, надо признаться, отражали мещанские вкусы нэповских времен — периода, образцы которого, можно подумать, имеют просто гипнотизирующее влияние на многих художников, работающих по стеклу и керамике. Но большинство посетителей по достоинству оценило простую, хорошо оформленную мебель, выставленную училищами Строгановского училища, и выделило в своих отзывах некоторые

другие экспонаты, отличающиеся ясными современными линиями.

И действительно, можно ли удивляться, что московская общественность отвергает вульгарность, мещанство во всех областях изящного и прикладного искусства? Народ, положивший так много труда, чтобы построить социалистическое общество, совершивший великие, неслыханные дотоле подвиги, заслуживший, чтобы все у него было невиданного, непревзойденного качества, требует, чтобы его новый мир, новые дома, в которых живут люди, сады, в которых они отдыхают, предметы домашнего обихода, которыми они постоянно пользуются, были бы радостными, яркими, прекрасными.

Было время — вряд ли кто станет его отрицать, — когда забвение эстетических принципов можно было извинить срочностью планов, требовавших прежде всего увеличения количества продукции, когда разговоры о вкусе и красоте в быту казались несовременными. Но теперь Москва вступила в новый период своего развития!

У меня есть старый друг, который в молодости был одним из наиболее талантливых работников ювелирных мастерских Фаберже в Санкт-Петербурге. В четырнадцать лет он был уже мастером этой прославившейся на весь мир фирмы и гордился своим заработком — четыре рубля в день.

Началась первая мировая война, и Георгий Иванович, как и тысячи других, был брошен в кровопролитную бойню. После революции он служил в Красной гвардии, боролся в рядах Чапаевской дивизии, стал членом Коммунистической партии. Многие годы своей жизни этот искусный мастер, может быть, один из лучших ювелиров Советского Союза, отдавал весь свой талант и всю свою энергию партийной и советской работе. Прошли десятилетия социалистического строительства, прежде чем Георгий Иванович смог снова вернуться к своей первой любви — прикладному искусству. Сейчас он озабочен увеличением производства предметов народного искусства и их распространением. Он обладает не только огромным опытом работы в петербургских мастерских, но и глубоким знанием творчества талантливого советского народа. Его учили делать замысловатые золотые изделия для богачей; теперь же он отправляется в Якутию, чтобы посмотреть, как де-

даст вышивки бригадир оленеводческого колхоза, едет в Кировскую область, чтобы проверить работу молодой ученицы, продолжающей местную традицию искусной раскраски глиняных статуэток, спешит в Гжель, чтобы помочь повысить художественный уровень рабочих керамических мастерских.

Москва достигла такого уровня развития, когда талант, вкус и опыт подобных людей могут стать существенным вкладом в социалистическое строительство. Сквозь годы борьбы они пронесли непомеркшей свою мечту о городе прекрасного. Теперь пришло такое время, когда Москва не имеет больше права прощать недооценки эстетических проблем, — быстрый рост столицы ставит их на каждом шагу.

Неповторимое очарование

Чем же стала Москва для меня, пожилого англичанина, глубоко привязанного к своей родной стране, но тем не менее питающего родственные чувства к городу, в котором он провел более половины своей творческой жизни?

Я уже говорил о вдохновляющем влиянии жизни в городе, чей внешний облик непрестанно и быстро меняется. Того, кто провел послевоенные годы в советской столице, не может не волновать разворачивающаяся в ней строительная битва, его не может не восхищать настойчивость, с которой проводится в жизнь генеральный план, ему не может быть непонятно воодушевление строителей новых жилых кварталов. Можно критиковать отдельные детали, существующие еще недостатки в качестве строительства, сожалеть о бесполезных затратах и дорогостоящих излишествах, но нельзя отрицать грандиозности замысла, темпов и решимости, с которыми он осуществляется.

Каждый раз, когда я слышу какие-либо критические замечания насчет здания университета на Ленинских горах, я вспоминаю молодого армянского камнереза, которого встретил пять или шесть лет назад, когда велись последние работы по отделке мраморных панелей вестибюля. Этот невысокий широкоплечий юноша подошел к нам, едва окончив работу, прямо в спецовке, его лицо и руки были покрыты густым слоем тонкой каменной пыли. Он рассказал, что основы своей про-

фессии перенял у отца и деда в родной деревне в Армени, а затем приехал в Москву учиться на курсах при строительном техникуме. Жил он рядом со строительной площадкой, в тесно заселенном бараке, построенном для строителей университета. Среднюю школу окончил, занимаясь по вечерам.

В этот день он только что получил известие, что его приняли на филологический факультет университета, где он собирался изучать немецкий язык. Подобно многим другим московским рабочим, он был немного поэтом и даже имел удовольствие читать свои стихи в московских газетах. Для таких молодых людей, а их немало, университет был действительно родным, и этот факт представляется мне бесконечно более важным, чем вопрос об архитектурном стиле здания университета.

Я спросил этого будущего молодого студента, что он намерен делать после того, как окончит университет.

— Возможно, буду преподавать, — сказал он, — но в душе я всегда останусь строителем. Я трудился на строительном фронте, который действительно является фронтом в наши мирные дни. И я всегда буду держать себя в готовности по первому требованию вернуться на этот фронт.

Несмотря на все поразительно быстрые изменения, которые произошли и происходят в Москве, она сохраняет какое-то неповторимое очарование, какие-то неизменные черты, которые не могут не тронуть сердце. Есть один всё преобразующий «строитель», который изменяет вид города еще быстрее, чем бригады Мостроя. Это — зима. С каким неисчерпаемым разнообразием выполняет она свою работу! То снежные хлопья, медленно и задумчиво кружась, нежно стелются на мостовую, подобно пушистым перьям, то снежинки бывают мельче муки самого тонкого помола и летят в поземке маленькими колкими вихрями. Бывают зимние дни с вечерами, решенными в черно-белых тонах, мягких, как набросок углем. А иногда просыпаешься утром и видишь вдруг город, залитый ярким, ослепительным светом, в котором все детали — деревья, одетые в иней, вытаращенные круглые глаза окон под крышами старых домов, каждый прутик в метле, которой дворничиха подметает мостовую, — вырисовываются с поразительной четкостью. И если в такое утро все же ощущаешь

тяжесть навалившихся лет, то самое лучшее — взять лопату и приняться за расчистку снега. Очень быстро снова чувствуешь себя точно так же, как в те дни, когда строил замки из песка где-то на берегах Англии...

А звуки московской зимы, когда сухой холодный воздух становится гулким и отзывчивым, каким никогда не бывает воздух Лондона и Праги! Стоишь у Москвы-реки под звездным небом, смотришь на мосты с их волшебными арками и на сказочные очертания Кремля, и напряженный слух, кажется, различает каждое, даже самое слабое звучание: и глухие удары сапог часовых, когда они идут на пост у Мавзолея, и ход часов на Спасской башне или вдруг резкий треск ветки, не выдержавшей мороза.

Особой красоты исполнена Москва зимой. Она повсюду — и в могучей поступи облаков, раздувшихся под тяжестью снега, и в блеске льда и куполов церквей, и в звоне ручейков оттепели...

Не знаю, прав ли я, или мне только кажется, что москвичи сейчас более чутки к красоте жизни и искусству, отражающему эту красоту, чем, скажем, в недалеком прошлом? Я присутствовал на дискуссиях по вопросам современной литературы, советской и иностранной, в заводских литературных кружках и публичных библиотеках, и уровень литературного вкуса оказался тут значительно выше того, какой можно наблюдать в подобной аудитории в моей собственной стране. Интерес к книгам и чтению в Москве вызывает зависть во всем мире. Книги с отзывами посетителей на выставках Москвы свидетельствуют о живом и серьезном интересе и к живописи. Некоторые из моих друзей, участвовавшие в выставке современного английского реалистического искусства, говорили мне, что уровень критических замечаний относительно их произведений, высказанных неизвестными посетителями в книге отзывов, был значительно выше тех, которые они когда-либо получали за границей, и более чем с лихвой компенсировал несколько холодный прием, который оказали им в печати советские профессиональные критики-искусствоведы.

Молодежь Москвы глубоко заинтересована в том, чтобы город, который они строят, и жизнь, которая будет протекать в нем, были поистине прекрасны. Мечта человечества о социализме всегда связывалась с меч-

той о прекрасном. Возмущение против уродства было одним из основных источников социалистических мыслей и действий в Англии.

«Истинная трагедия Англии, — писал Дж. Х. Лоуренс, — как мне кажется, заключается в ее трагическом уродстве. Природа страны так прекрасна, а все созданное в Англии человеком так отвратительно... Именно уродство подорвало в XIX веке дух человека. Величайшее преступление, совершенное классами тугого кошелька и покровителями промышленности в продажное викторианское время, заключалось в том, что труженики были обречены на уродливое, уродливое и еще раз уродливое существование. Все вокруг было убогое, грязное, бесформенное и уродливое; уродливые идеалы, уродливая религия, уродливые надежды, уродливые мечты, уродливая любовь, уродливая мебель, уродливая одежда, уродливые жилища, уродливые отношения между рабочим и предпринимателем. Человеческая душа нуждается в истинной красоте, может быть, больше, чем в хлебе».

Самым точным мерилom понимания человеком красоты является то, как он разбирается в поэзии. Москва с честью выдерживает эту проверку: нигде в мире не найти таких тонких ценителей стихов, как в Москве.

Никогда в огромном зале лектория в Политехническом музее не бывает так захватывающе интересно, как в те дни, когда какой-нибудь поэт читает здесь свои произведения. И там вы всегда найдете то чувство контакта между поэтом и аудиторией, которое я лично считаю очень верным показателем духа сегодняшней Москвы.

Я пришел в этот зал совсем недавно, когда советская молодежь собралась послушать советских и итальянских поэтов, читавших свои стихи и переводы. И снова зал был набит до отказа, люди сидели в проходах, на ступеньках. В зале чувствовался тот же живой интерес, то же понимание прекрасного, та же чуткая реакция на остроумие и тонкость читавшихся стихов, какие я наблюдал и прежде. Трудно представить себе более высокую дань признательности живому поэту. И один из итальянских гостей со всей искренностью сказал, что из трехдневных споров с советскими поэтами он никак не мог понять, почему они являются столь яркими поборниками оптимизма, а здесь он за один вечер разгадал

загадку. Любой поэт стал бы оптимистом, если бы у него была такая аудитория, как советская, — аудитория, подобная той, которая была представлена в зале Политехнического музея сотнями юношей и девушек.

Я сидел среди этих молодых москвичей, заполнивших все ряды огромного амфитеатра, и наблюдал за ними. Я следил за их выразительными лицами, отражавшими точность восприятия и тонкость понимания стихов, слушал, как они вздыхали или посмеивались соответственно замыслу поэта, и, видя их чуткость к поэзии, чувствовал себя очень близко к самому сердцу Москвы. Человеческие лица никогда не бывают столь выразительными, как тогда, когда люди слушают музыку или стихи.

Все это люди, думал я, которых Москва растила в годы лишений и мужества. В детстве, которое прошло в дни войны, они узнали такие трудности, такую жестокость и нелепость жизни, что это могло бы огрубить души и не таких нежных существ. И все же Москва, никогда не пряча их от суровой правды жизни, сумела привить им гуманные идеи человеческого благородства и братства людей. В такую войну могло бы вырасти поколение зверей. Но молодежь Москвы стремится отнюдь не к насилию над своим собратом-человеком, а к возможно более чутким отношениям с ним.

Москва приучила этих людей к дисциплинированности и воспитала в них чувство коллективизма, и в то же время она научила их, что нельзя жить чужими представлениями и отказываться от умения мыслить самостоятельно. Некоторые из них получили образование в самых лучших в мире институтах, стали учеными, и Москва научила их понимать, что призвание ученого состоит не в том, чтобы вооружить человека новыми разрушительными средствами для запугивания мира, а в том, чтобы избавить человека от постоянной опасности заболеваний, стихийных бедствий и обеспечить ему все необходимое для жизни. Наука, как и искусство, должна помогать всем совершенствоваться и изменять природу человека.

Многие из них уедут в различные части страны, далеко от Москвы. А кое-кто, может быть, даже поедет за пределы своей родины, но не как колонизатор, захватчик земель, эксплуататор, а как посланец Моск-

вы, — поедет, чтобы передать ее опыт и технические достижения.

На этом вечере был один момент, когда все присутствующие, несмотря на разницу вкусов и жизненного опыта, поднялись и зааплодировали как один. Это произошло, когда сицилийский поэт-рабочий, прочитав стихи, полные гнева и сострадания к людям, заявил, что он коммунист. Сердца молодых людей в едином порыве устремились к поэту. И нельзя было себе представить более яркой демонстрации духа интернациональной солидарности, столь свойственного Москве — Москве, которая так гостеприимно встречает прогрессивных людей со всех концов мира, распахивая перед ними свои улицы и дома, Москве, откуда они уезжают неизменно вдохновленные, даже если провели лишь несколько часов у неугасимого огня революции.

1959

РАЗГОВОР С ГЕРБЕРТОМ УЭЛЛСОМ

Для моего поколения Герберт Уэллс уже не был таким великим человеком, каким он представлялся нашим отцам. Может быть, нетерпимость юности мешала нам воздать ему должное как великому популяризатору научных истин и исторических фактов. Но растущий пессимизм писателя, возникший, по-видимому, из-за плохого здоровья, лишал его великой силы властителя дум поколения тридцатых годов, которое училось борьбе с фашизмом.

Но все-таки в свои лучшие годы Герберт Уэллс был единственным писателем, который умел обобщать факты современной жизни. Я не сомневаюсь, что, будь он жив и обладай он теми качествами, которые были присущи ему в лучшие годы, он сумел бы понять, что собой представляет сейчас Советский Союз. Я думаю также, что он одобрил бы и то, что будет сделано в Советском Союзе. Он был слишком умен, слишком опытен, чтобы ошибиться дважды.

Уэллс никогда не являлся хорошим слушателем. Он никому не давал возможности говорить. Но был случай, когда я видел Уэллса, готового слушать. Я приехал в Лондон из Советского Союза в 1943 году. Приезжие из России были редкими гостями в те дни, и я был одним

из тех, кто мог рассказать о великой борьбе, которую вели советские люди. Я мог рассказать о самой Москве и о сражениях, которые уже в то время стали легендарными.

Не пробыв в Лондоне и нескольких дней, я получил приглашение посетить Уэллса. Он сразу же задал мне множество вопросов: и о положении на советско-германском фронте — битва на Курской дуге была тогда у всех на устах, — и о моральном состоянии советских людей, и о продовольственном положении СССР. Для меня стало ясно, что это был пессимист. Но мой рассказ, а особенно мои впечатления о Сталинграде, вызвал его интерес.

— Удивительно, исключительно! — восклицал он время от времени.

Однако в конце концов его скептицизм победил, потому что, когда я поднялся, чтобы уйти, писатель сказал, покачивая своей большой головой:

— А что будет потом, когда кончится война? Россия вновь превратится в разоренную страну, измученную и, может быть, деморализованную. Возврат к ранним двадцатым годам — снова туда, откуда начали.

По мере того, как ему в голову приходили воспоминания, он все более оживлялся и снова становился Уэллсом, который написал книгу «Россия во мгле».

Уэллс умер в 1946 году. Что бы я мог сейчас рассказать ему, будь он жив, о тринадцати годах необычайного послевоенного развития Советского Союза?

На него всегда производили впечатление факты, которые свидетельствовали об экономической жизни государства. Поэтому я сообщил бы ему, что ныне Советский Союз производит стали около 60 миллионов тонн в год, угля — свыше 500 миллионов тонн, нефти — свыше 120 миллионов тонн и электричества — более 230 миллиардов киловатт-часов.

Я бы сообщил ему, что в огромный поток электроэнергии вносят свой вклад электростанции, работающие на атомной энергии. И я бы описал ему прохладный молчаливый зал первой в мире атомной электростанции, где в глубоком, выложенном бетоном помещении работает реактор и приручаются ядерные силы.

Это заставило бы нас заговорить о науке. И я верю, что воображение писателя смягчилось бы, когда я показал бы ему достижения кибернетики, счетно-решающие и другие сложные машины. Я рассказал бы

ему и о том, как труд людей выполняют электронные машины.

Я постарался бы описать Уэллсу целеустремленных юношей и девушек, которые заполняют Московский планетарий, чтобы заглянуть в космос, в который он проник только как автор фантастических романов, но тайны которого советские исследователи стараются разгадать. И я, конечно, указал бы автору «Войны миров», что ни один из этих молодых людей не думает о космосе как о предполагаемом поле битвы, что в Советском Союзе все уверены, что социалистическая наука всегда будет служить человеку.

Признаюсь, мне было бы трудно описать людей, добившихся таких грандиозных успехов, людей, чья земля была превращена после войны в руины. Дело в том, что советские люди очень быстро изменяются в процессе труда. Их привычки и взгляды на жизнь, их отношения к товарищам тоже меняются. Легче описать отличительные черты прошлого, чем заглянуть в будущее. Самые нормы мышления и поведения не могут быть разрушены, как избы на Ленинских горах при строительстве университета. Только наивный человек думает, что коммунизм можно осуществить лишь в результате выполнения огромной строительной программы и расширения промышленности.

Но в умах советских людей уже заложены искорки будущего, так же как в лампы, освещающие московские улицы, часть энергии дает атомная электростанция. В некоторых местах эти искорки сверкают особенно ярко. В новых народных университетах культуры, где трудящиеся в свободное время повышают свои знания, учатся понимать искусство. Каждый человек чувствует, что ему предоставляется все больше возможностей участвовать в управлении государством. Как-то в Кремлевском театре молодые актеры ставили пьесу А. Зака и И. Кузнецова «Два цвета» — пьесу, которая призывает людей бороться с пережитками прошлого. На читательских конференциях, в заводских клубах и районных библиотеках выступают простые люди, которые понимают современные проблемы куда лучше, чем некоторые писатели. При обсуждении памятников и проектов новых зданий они отказываются от устаревших форм. На своих митингах советские люди выражают глубокую солидарность с угнетенными народами Аф-

рики. Трудно найти других людей, в которых бы так зримо была заложена частица будущего!

Я не думаю, что Уэллс отрицал бы сейчас наличие этой светлой искорки. И хотя униженность далеко не была ему свойственна, он не был бы оскорблен, узнав, что он выведен в роли Сомневающегося в пьесе Н. Погодина «Кремлевские куранты», поставленной на сцене МХАТа. Он бы помахал рукой и повторил то, что говорил мне, когда я покидал его в 1943 году:

— Передайте привет советским людям!

Апрель 1959 года

Темпест, Питер (1924—1984) — поэт, переводчик, публицист. Автор поэтического сборника «Первые стихи» (1957); многочисленных переводов из поэзии народов СССР (А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев, С. А. Есенин, Р. Гамзатов, Д. Кугультинов и др.) и болгарской поэзии (Х. Смирненский, И. Вазов, Н. Вапцаров, Г. Джагаров; «Антология болгарской поэзии» — 1980) на английский язык, ряда статей; очерков, репортажей, публиковавшихся в советской и зарубежной печати. Долгие годы жил и работал в Советском Союзе: Умер в Москве.

Статья «Начало новой эры» была опубликована на русском языке к 45-летию Великой Октябрьской социалистической революции в журнале «Иностранная литература» (1962, № 1), в редакцию которого была передана в рукописи. Текст дается по этому изданию.

НАЧАЛО НОВОЙ ЭРЫ

Отдел, где продавались географические глобусы, был закрыт, и я вышел из магазина с пустыми руками. Мне надо было приобрести глобус для двух моих малышей, еще дошкольников. «Но зачем им глобус? Ведь они слишком малы», — недоумевала одна моя хорошая знакомая, много лет проработавшая учительницей.

Я объяснил ей, что глобус мне нужен для того, чтобы легче отвечать на вопросы детей относительно спутников и орбит, воздушной атмосферы и полетов ракет вокруг земного шара; помимо того, с глобусом проще удовлетворить и их любопытство насчет причин смены дня и ночи, насчет северного и южного полюсов.

— Да, — сказала моя приятельница. — Когда я училась в школе, земля была плоской, и мы ползали по материкам, как улитки.

Я хорошо помню ту карту, которую во время урока вешал на классную доску наш учитель географии: весь мир был показан на этой карте в Меркаторовой проекции¹, а земли Британской империи окрашены ярким цветом.

Проекция Меркатора, подобно кривому зеркалу, увеличивала территории северных и южных широт так, что Ньюфаундленд и Фолклендские острова казались крупнейшими форпостами Британии... За все время, пока я учился в школе, лишь один-единственный урок был посвящен географии Советского Союза.

¹ Общепринятая картографическая проекция.

Но стоит только взглянуть на вращающийся глобус, и вы увидите страны и континенты в их истинных пропорциях — Китай, Индию, огромную Африку и Южную Америку, где светлое солнце освобождения народов поднимается над горизонтом.

Раскинувшийся на широких пространствах Европы и Азии, хорошо виден Советский Союз: там сорок пять лет назад искра социалистической революции, высеченная Лениным и большевиками, разгорелась в мощное пламя и породила советскую державу — этот маяк, который светит и будет светить в бесконечной череде веков всем странам и континентам.

В нищей России, где лучина была главным средством освещения, Ленин сказал, что победа коммунизма неизбежна, что она есть Советская власть плюс электрификация всей страны.

Большой друг советского народа в ту революционную пору, американский коммунист Джон Рид 1 января 1919 года писал:

«После целого года существования Советской власти все еще модно называть восстание большевиков «авантюрой». Да, то была авантюра, и притом одна из поразительнейших авантур, на какие когда-либо осмеливалось человечество, — авантюра трудящихся масс, бурей ворвавшихся в историю и все поставивших на карту ради удовлетворения своих насущных и великих стремлений».

Об этих исполненных гордой уверенности словах Джона Рида я размышлял несколько месяцев назад, когда видел улыбающееся, энергичное, молодое лицо чудесного американца на экране московского телевизора: демонстрировалась полузабытая кинохроника, где Джон Рид был заснят на Втором конгрессе Коминтерна.

«Мир, хлеб, земля!» Этот клич, брошенный Лениным, мудрым и вдохновенным стратегом коммунизма, тронул — как трогает и теперь — самые глубокие струны в сердцах всех трудящихся.

Мир между народами, конец бессмысленному кровопролитию и гибели наших братьев!

Хлеб — чтобы не горели голодным блеском прекрасные человеческие глаза; чтобы крепили мускулы и работал мозг, чтобы мужчины и женщины могли трудиться, любить и строить светлую жизнь!

Земля — тому, что возделывает ее и собирает ее плоды, тому, кто кормится ею, а не тешит свою алчность!

«Мир, хлеб, земля!» Этот клич, брошенный опытными, преданными своему делу, дисциплинированными революционерами, учениками Маркса и Ленина, выдвинул на авансцену истории угнетенные массы России, которым суждено было сделать первый смелый и широкий шаг, вступить в новую эру — эру социализма и коммунизма.

«Революции — праздник угнетенных и эксплуатируемых, — говорил Ленин. — Никогда масса народа не способна выступать таким активным творцом новых общественных порядков, как во время революции. В такие времена народ способен на чудеса...»

Уильям Фостер вспоминает, что в Соединенных Штатах, этой цитадели капитализма, события великой русской революции вызвали среди народных масс высочайший подъем боевого духа. «Наконец-то рабочим удалось смести со своего пути все укрепления ненавистной капиталистической системы и открыть дорогу к социализму... Рабочие на многотысячных митингах в американских городах с жадностью ловили сообщения о первой рабочей республике и громом аплодисментов отзывались на каждое упоминание о большевиках и их великом вожде Ленине».

Выдающийся лидер социалистов Юджин Дебс заявлял: «Я — большевик, большевик с головы до ног, и я горжусь этим. День победы народа наступил».

В начале 1918 года в Англии, пишет Уильям Галлахер, шотландские рабочие верфей и заводов на Клайде, воодушевленные Октябрьской революцией, настаивали на том, чтобы первомайская демонстрация в Глазго была проведена в рабочее время. «Большинство официальных руководителей старого тред-юниона выступило против этого: рабочие, говорили они, не выйдут на демонстрацию. Нет, рабочие выйдут, отвечали мы. Решение было принято, и рабочие провели крупнейшую первомайскую демонстрацию, какую когда-либо видел Глазго. Мы направили с демонстрации самый сердечный братский привет молодой социалистической республике, которой тогда было всего шесть месяцев».

Молодая социалистическая республика как магнит притягивала взоры рабочих всех стран, вызывала у

трудящихся любовь и восхищение, вселяла в них надежду.

Немало людей, годами боровшихся за это светлое будущее, побывало в ту пору в России. Приехавший из Америки радикал Линкольн Стеффенс сказал так: «Я видел будущее, оно побеждает». В Москву в начале 1920 года приехал английский социалист Джордж Ленсбери. Он приехал в Россию уже пожилым, шестидесяти лет, только для того, чтобы «взглянуть в глаза людям, совершившим революцию». По возвращении на родину Ленсбери писал: «Русскому народу предстоит пройти большой и трудный путь, прежде чем он добьется своей цели. Он испытает еще немало страданий, прольет немало крови и пота. И однако я уверен, что этот молодой могучий народ положит начало новой жизни».

В день своего рождения, когда Джорджу Ленсбери минул шестьдесят один год, он встретился с Лениным. «Я сидел напротив человека, который был центральной фигурой величайшей революции в мире... Его энтузиазм, его горячее слово вдохнули в солдат сознание того, что они сражаются не только за Россию, но и за все человечество».

За все человечество... В течение многих лет после Октября 1917 года правители старого мира делали все, что могли, чтобы скрыть от человечества достижения русских рабочих и крестьян, строивших социализм, их усилия и жертвы в суровой борьбе, когда Россия одна противостояла вражескому миру.

Ныне я вспоминаю, как школьником с волнением читал приключенческие рассказы, где были выведены мрачные фигуры заговорщиков с длинными бородами, в высоких русских сапогах, со взрывчаткой за пазухой,— это были «большевики». Я вспоминаю также комика в богатом мюзик-холле, его излюбленная шутка заключалась в том, что он вытаскивал совершенно расстроенную скрипку и объявлял: «А сейчас я исполню вам партию из симфонии «Пятилетний план»!»

Как это было непохоже на то, что я увидел, впервые столкнувшись с коммунистами, с жизнью и культурой советского народа! Помню, первого коммуниста я встретил еще в школьные годы, в Бредфорде, в маленькой комнате, выходившей окнами на шумную Сортонроуд, где находилась шерстяная фабрика. Эта комнат-

ка представляла собой не что иное, как книжную лавку «Прогрессивная книга». Она ничем не напоминала те книжные магазины, в которых мне доводилось бывать раньше: книги и брошюры стопками громоздились на полках и стульях, стены были увешаны плакатами и знаменами. Человека, который распоряжался в этом помещении, я видел не больше минуты — он вошел в лавку, предложил мне оглядеться и чувствовать себя как дома, а сам потихоньку удалился в смежную комнату и принялся за работу. Я выбрал себе брошюру, положил на стол шестипенсовую монету и пошел домой пить чай и набираться мудрости...

Советскую музыку я впервые услышал, когда смотрел кинокартину из колхозной жизни. Этот фильм показывали на собрании общества «Россия сегодня», я купил туда билет у одного школьного товарища. С каким воодушевлением говорили там ораторы! И как жизнерадостны и воодушевлены были русские, первые русские, которых я видел — пока еще на экране. Правда, на некоторых из них действительно были высокие русские сапоги! Но я как сейчас вижу их открытые, сердечные улыбки...

Каждая годовщина Октября, отмечаемая в Советском Союзе массовыми демонстрациями, отмечалась — конечно более скромным образом, но с не меньшим энтузиазмом — рабочими и в других странах.

В 1926 году углекопы Чопвелла на севере Англии вышли на своем профсоюзном знамени серп и молот, портреты Маркса, Энгельса, Ленина и лозунг: «*Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*». 1926 год — год Всеобщей забастовки; советские рабочие прислали тогда английским шахтерам миллион фунтов стерлингов, — это проявление пролетарской солидарности никогда не будет забыто. Историческое знамя с портретами Маркса, Энгельса, Ленина находится теперь в Советском Союзе: оно было подарено профсоюзу советских шахтеров несколько лет назад в знак крепкой, нерушимой дружбы.

В годы второй мировой войны эти дружественные чувства охватили широкие массы английского народа, который воочию видел, как Красная Армия нанесла решающий удар фашистским насильникам и штурмом взяла цитадель нацистов — Берлин.

В пламени войны родились новые социалистические государства Европы и Азии, и Октябрь стал об-

щим праздником растущей семьи социалистических наций.

В послевоенные годы многие бывшие колониальные и полуколониальные народы завоевали национальную независимость и установили дружеские, все более крепнущие отношения с социалистическими странами.

Нынешней осенью героический народ Алжира провозгласил свою независимость и образовал республику; эта победа была достигнута в борьбе с французскими колониалистами, которые многие годы с чудовищной жестокостью вели грязную войну.

Как радостно держать в руках глобус, словно земной шар! Но насколько радостней смотреть на него, зная, что все новые страны получают новые имена — получают свободу! И когда вы поворачиваете глобус, притрагиваясь к нему пальцами, вы словно притрагиваетесь к этим новым странам надежды, посылая им свой горячий дружеский привет.

Путь к счастью человечества труден, суров и неровен. И газеты и радио каждое утро подробно сообщают нам о злободневных событиях — мир живет в атмосфере постоянных тревог, мобилизации, угроз и реваншистских речей. Подобно скале, олицетворяющей спокойствие, силу и уверенность, стоит в этом море тревог Советский Союз — оплот передового человечества.

Все нормальные люди хотят жить в мире, мир необходим нам, как воздух, которым мы дышим...

Ныне в Организации Объединенных Наций именно Советский Союз является выразителем и поборником тех «насуточных и великих стремлений», о которых писал Джон Рид. Советский Союз призывает осудить пропаганду превентивной ядерной войны как «несовместимую с честью и совестью человечества», осудить всякие разговоры о реваншистском пересмотре государственных границ в Европе, установленных после второй мировой войны.

Советский Союз призывает Генеральную Ассамблею Объединенных Наций осудить любое применение силы против народов, вступивших на путь освобождения и независимого развития, призывает все государства объявить пропаганду войны «тягчайшим преступлением против мира и человечества», преступлением, которое должно сурово караться...

А сколько волнующих событий в самом Советском Союзе, на его бескрайних просторах, где никогда не заходит солнце! Как горд я тем, что живу теперь в Москве, что у меня московский адрес! Каждое утро я, подобно всем москвичам, иду покупать молоко и вкусные московские булки для своих ребятишек, которые говорят по-русски так же свободно и легко, как щебечут птицы в московских парках. Лифтерша приветствует их всякий раз, как они входят или выходят из дома поиграть с ласковыми и милыми русскими детьми. Да, я живу в Советском Союзе и своими собственными глазами вижу, как живут советские люди, знаю их мысли, их мечты. Эти простосердечные, умные и добрые люди с приветливыми лицами обладают самой светлой, самой оптимистической программой, которая уже сегодня претворяется в жизнь! Что означает эта программа — Программа Коммунистической партии Советского Союза — для каждого человека? Хорошее питание, хороший отдых, хорошие квартиры для всех семей, чудесные дворцы для детей. Но разве только это? Коммунизм откроет пути к осуществлению самых смелых проектов, к таким победам человеческого разума, при мысли о которых захватывает дыхание. Коммунизм в буквальном смысле слова делает доступным человеку и Луну, и звезды...

Этим летом мы слышали голоса двух членов семьи космонавтов — семьи пока столь небольшой, что можно пересчитать ее по пальцам. Николаев и Попович, подобно своим предшественникам Гагарину и Титову, говорили нам о нашей планете. Взмыв в небо и оторвавшись от Земли, они смотрели на нее через иллюминаторы своих чудо-кораблей — родная голубая планета приковывала к себе их мысли.

«Как чудесна, как замечательно красива наша Земля! — говорили космонавты. — Любуясь с космических высот земными просторами, мы думали о том, что гений человека должен постоянно стремиться к одной цели — сделать нашу голубую планету еще лучше, еще прекраснее. Мы думали о мире и счастье всех народов. Мы говорили об этом, обращаясь по радио с приветствиями к народам континентов. Мы знаем, что вы слышали нас!»

В те героические августовские дни и вечера мы сидели в семейном кругу, прильнув к телевизору. Мы беспокоились за героев, мы следили за их небесным марафонским бегом — и как же мы были счастливы, когда они

благополучно возвратились на Землю! Каждое слово их посланий трогало нас до глубины души. Да, мы слышали вас, дорогие Андреян и Павел!

Тот образ неделимой, мирной Земли, который вам виделся,— это воодушевляющая перспектива, которую вижу и я и которую, как мне хочется думать, видят и мои малыши, когда я поворачиваю обыкновенный — нет, совсем не обыкновенный, а единственный в своем роде, изумительный глобус в эту сорок пятую годовщину Октября.

1962

Силлитоу, Алан (р. в 1928 г.) — писатель. Родился в промышленном городе Ноттингеме в рабочей семье, рано начал трудовую жизнь. Известность Силлитоу принесла повесть «Субботний вечер, воскресное утро» (1958), воссоздавшая условия жизни и внутренний облик молодого английского рабочего в условиях «государства всеобщего благосостояния», раскрывшая истоки его неудовлетворенности действительностью и стихийного бунтарства. В романе «Ключ от двери» (1961), вобравшем опыт службы автора в частях британской колониальной армии в Малайе, показан рост классового самосознания среди рядового состава под влиянием несправедливой войны. Психологическим проблемам современного рабочего, отчуждаемого от плодов своего труда, посвящена дилогия «Смерть Уильяма Постерса» (1965) и «Дерево в огне» (1967). Перу Силлитоу принадлежат яркие социально-психологические и нравоописательные новеллы, составившие сборники «Одиноким бегун» (1959), «Дочь старьевщика» (1963), «Газман, ступай домой!» (1968), «Мужчины, женщины и дети» (1974). Многие рассказы Силлитоу, «Ключ от двери» и сатирическая стилизация в духе «плутовского» романа «Начало жизни» (1970) переведены на русский и на языки народов СССР. На протяжении 1970-х годов в творчестве писателя наметился некоторый отход от социально-критической тематики, а в мировоззрении возобладали консервативные тенденции.

Силлитоу несколько раз бывал в Советском Союзе. Впечатления от поездок легли в основу книги очерков «Дорога на Волгоград» (1964) и сборника стихотворений «Любовь в окрестностях Воронежа» (1968). Фрагменты из книги были опубликованы на русском языке: Силлитоу, Алан. Дорога на Волгоград/Перевод с английского Н. Дехтеревой. — М.: Правда. Библиотека «Огонек», 1964. Текст дается по этому изданию.

ДОРОГА НА ВОЛГОГРАД

Путь к Москве

Рванувшись из темной мути дождя, «комета» под острым углом взвилась к серому брюху тучи. Внизу лондонский аэропорт разворачивался в город, населенный машинами: узор из туннелей, мостов, двойной ленты рельсов, автобусных станций. Оттуда, где небо было ясным, снижались самолеты, скользили по взлетно-посадочной полосе, грохотом сотрясая диспетчерскую вышку. Я захватил с собой две бутылки виски и бутылку джина.

В тучах еще мелькали просветы, где поворачивались улицы и поля, но самолет уже ворвался в клубы тумана; они потекли за окнами, и оттого, казалось, задрожал под ногами пол. В последний случайный просвет

глянули квадратики полей — ровный ряд почтовых марок, будто землю упаковали и приготовили к отправке неведомо куда.

Я впервые лечу в таком большом самолете, да еще в реактивном. Завтрак на высоте семи миль теперь дело обычное, но, может быть, такая высота мешает вкусовым ощущениям — во всяком случае, он мне не понравился. Меня клонило ко сну, но ничего не получалось, я все таращил глаза на серовато-песочные улицы Копенгагена внизу. С такой высоты трудно определить, над каким именно городом пролетаешь. Южный край Швеции мы срезали, как кончик сигары. Даже нелегко отличить море от суши. Песок на дне казался землей, то рыжей, то желтой, то коричневой — всех оттенков до темно-серого.

Побережье Советского Союза. Небо ясное и солнечное, земля совершенно ровная, это даже не карта, а аккуратный чертеж, расстеленный на слегка покатом столе земного шара: ровные линии железных дорог, медленно ползущие ленты рек, отчетливые, но не очень прямые дороги.

Рижский залив остался позади. Плоская равнина — Латвия. В час делаем пятьсот миль. Монотонное чередование серых и желтоватых пятен — они мелькают, сливаясь в одно, и я не могу решить, какой цвет преобладает. Трудно определить, что это за пятна, — при первой возможности надо будет спросить или почитать об этом. Я разворачиваю карты: оказывается, мы пронеслись над железной дорогой Варшава — Ленинград, прямой как стрела.

Кажется, будто земля внизу покрыта мелким, светлым, блестящим песком. Песок, песок, песок... Но ведь это же не может быть песок! Сахара сюда не доходит. Чем ближе к России, тем песка меньше. Самолет летит в необъятном круге небесного горизонта — движущаяся точка в голубой опрокинутой чаше Галактики. А края ее желтые или цвета горчицы — как в Египте. Погода в Москве ясная, говорит пилот, но температура ниже нуля. Я откладываю карты, озадаченный цветом земли. Что же это все-таки такое? Вода? Нет. Снег? Слишком неровно лежит, только местами. Так что же это? Самые темные пятна — это, должно быть, леса.

Самолет набрал слишком уж большую высоту, ничего не разглядишь. Дневная, неясная луна смстрит на нас с северо-восточной стороны горизонта — ненавязчи-

вый глаз в далеком небе, внезапно вами замеченный и похожий на обрывок светлой промокательной бумаги.

Я все же думаю, что этот песок внизу на самом деле снег. Горизонт в розовато-голубых тонах — небесное лето. Справа дорога, по которой Наполеон шел на Москву. И немцы тоже огнем прокладывали себе путь вперед. А до них — шведы и поляки. Англичане и турки в Крыму. Кто только не терзал эту страну! Земле стало легче теперь, когда мы можем проноситься над ней со скоростью шестьсот миль в час.

Что я чувствую, летя над Россией? Когда мне было двенадцать лет, названия городов и рек, что лежат внизу, были на карте соединены дужками, проведенными карандашом, — это шли в наступление немецкие нацисты. Великие Луки, Ржев, Вязьма, Можайск — один за другим. Черная Смерть подбиралась все ближе к Москве. А потом вихрь Красного Мщения оттеснил, уничтожил германские полчища.

Союз советских писателей пригласил меня приехать на месяц в СССР, побывать всюду, где мне захочется, посмотреть все, что меня интересует. Путешествие мое началось с Танжера. Оттуда — паромом до Гибралтара. И затем три дня на сверкающем океанском лайнере, следовавшем из Австралии. С нами был маленький ребенок, поэтому мы ехали первым классом. Было досадно: оказалось, на всем пароходе это — наискучнейшее место. В ресторане специально переодевшиеся к обеду врачи и колониальные чиновники возмущенно косились на мою трикотажную рубашку — а может быть, их оскорбляло отсутствие галстука, — но мой аппетит от их взглядов не страдал. В салонах царила мертвая тишина. Как-то вечером я забрел в третий класс, где австралийцы — мужчины, женщины — пили пиво, танцевали, перекидывались шутками. Из всех проведенных на пароходе вечеров этот был самый приятный.

Когда я возвращался к себе в каюту, меня остановил стюард:

— Тут ведь первый класс!

— Знаю, — сказал я и пошел дальше.

— Вы поняли... сэр? — крикнул он мне вслед, очевидно, испугавшись, не сделал ли промаха.

Я ему не ответил.

В Москве

По всей Москве прошлое вырывают с корнем, как гнилые зубы. Куда ни глянешь — краны, бульдозеры, тракторы, грузовики. И на месте деревянных домов растут кварталы новых.

Я взял с собой в дорогу «Бедекер», путеводитель по России, изданный в 1914 году: книжка интересная, но практически бесполезная. Когда я был в Испании, я часто прибегал к помощи «Бедекера» такого же давнего года издания, и там он мне помогал значительно больше. У меня была с собой также грамматика русского языка, компас и английские крупномасштабные карты тех мест, которые я предполагал посетить. Я хотел ездить по незнакомой стране, как заправский путешественник прежних времен, — опираясь на топографию. На этих картах, выпущенных военным министерством, было напечатано обращение: в случае, если пользующиеся этими картами заметят какие-либо пропуски, убедительная просьба сделать соответствующие пометки и переслать карту непосредственно начальнику Военного топографического ведомства. Количество пропусков и ошибок было настолько велико, что карты эти могли пригодиться разве только в качестве книжных оберток. В одних случаях важные населенные пункты оказывались на двадцать миль в сторону от указанного места, некоторые крупные города вовсе не были нанесены на карту, не говоря уж о плотинах, мостах, водохранилищах и дорогах.

...С крутого склона Ленинских гор я смотрю на Москву. Над широко раскинувшимся городом главенствуют семь высотных зданий.

А сам город под снегом и оттого кажется приземистым, хотя в нем множество кварталов десятиэтажных зданий. Я стою у парапета, ветер стегает меня по лицу, рвет на мне плащ, выжимает из глаз слезы. Я в новом районе, расходящемся от меня во все стороны: высокие жилые дома стоят вдоль прямых бульваров, которые сливаются с территорией университета. Сюда будут переведены из центра правительственные учреждения. Население Москвы уже превысило шесть миллионов.

Небо почти молочно-белое, словно это зеркало, отражающее огромную снежную пелену внизу. Лондон гнет своей теснотой, задавлен транспортом и рекламой. Москва открыта всем ветрам, даже в самую худшую

погоду она светлее Лондона и как-то ближе к жизни и к небу. Москва ближе и к земле — и москвичи тоже. Бог уже не может наложить на них свою лапу. Странно видеть огромный город, в котором почти нет церквей. Без религии людям легче, свободнее, лучше работается. Здесь царит атмосфера спокойствия, потому что все стремятся к единой, общей цели, а не вступают в конкуренцию один с другим. Русские энергично и настойчиво создают новый духовный и материальный мир: они называют это «строительством коммунизма». Когда я хожу у кремлевских стен, сердце у меня колотится при виде красного флага, который свободно плещется на ветру.

Москва — город рабочего класса. Она напоминает мне о моей юности, когда я работал на производстве. Жизнь моя тогда проходила у машин. Запах машинного масла, вращение деталей на токарном станке... Здесь все дышит трудом, общей целью: рабочий класс ведет наступление на природу.

Сталинград

Я уложил чемодан, взял такси и поехал на Внуковский аэродром.

Вдоль шоссе миля за милей тянутся корпуса новых, только что построенных домов. Здесь на всех выездах из столицы в небо поднимаются десятки кранов — строятся все новые дома. Кажется, будто подъезжаешь к огромному речному порту.

На аэродроме много народа, ждут самолетов во все концы Советского Союза: русские пользуются самолетами так же широко, как англичане автобусами. Самые разные люди покупают билеты, сдают багаж, едят в ресторане и буфете: рабочие, крестьянки, солдаты и офицеры, какой-то человек сугубо интеллигентной внешности — должно быть, ученый, отправляющийся на целину. Как только мы оказались в воздухе, он углубился в толстый политический журнал с убористым шрифтом.

Среди ожидающих группа моряков. Толстые бушлаты плотно застегнуты на пуговицы. У каждого в ясных глазах фанатическая приверженность идее, взгляд бесшабашно смелый, уверенный. Такими, наверное, представлял себе Ленин матросов революции, когда пушки крейсера «Аврора» ударили по Зимнему дворцу в Петрограде.

Час спустя я увидел длинную серую излучину Волги, на которой стоит Сталинград. Карта, последние два года висевшая на стене у меня в кабинете, вдруг ожила. Я смотрел на нее из окна самолета — она превратилась в бурую, лиловатую землю с пятнами и полосами апрельского снега; наступающей весне справиться с ним так же трудно, как трудно было советским дивизиям справиться с немецкими войсками, окруженными здесь в 1943 году. Это было двадцать лет назад, а теперь город отстроен заново, и в нем шестьсот тысяч жителей. Он растянулся на пятьдесят миль по правому берегу Волги.

В течение пяти лет после решающей битвы за Сталинград люди жили в подвалах, землянках, шалашах, палатках, в наспех сколоченных бараках и терпели злые зимние стужи и палящий летний зной. Прежде всего начали восстанавливать заводы, за ними — культурные и административные учреждения и больницы. И только после этого — жилые дома. В таком порядке планировался и заново отстраивался город, обновлялось все, вплоть до канализации. Это строительство еще не завершено: каждый год требуется десяток новых школ, потому что растет рождаемость, и приток детей в новый город все увеличивается.

Улицы широки — поразительно, невероятно широки. По обеим сторонам — ряды домов серо-желтого цвета, а посередине — скверы, бульвары. Деревья молодые, им всего десять лет, зимой это тонкие, редко стоящие голые стволы, но с началом весны ветви одеваются пышной листвой. Все заводы по берегу Волги гудят, извергают дым, неустанно вырабатывают продукцию.

Немцы написали и, вероятно, напишут еще сотни книг о Сталинграде, и везде они упорно называют разгром своих войск под Сталинградом «бедствием». Определение это у них в ходу, вероятно, потому, что в Западной Германии на русских все еще смотрят как на людей «низшей расы». Но поражения на Западном фронте в первой мировой войне, я полагаю, именуются «поражениями» потому, что немцы терпели их от англичан, французов и американцев. Когда немцев разбивают в пух и прах русские, это именуется не поражением, а бедствием, и немецкие историки усердно изыскивают его причины. Герлитц объясняет разгром немецкой армии под Сталинградом плохим руководством, зимой, растянутостью коммуникаций и тем обстоятельством,

что ее разделили и половину перебросили к Кавказу. А что такое была, по мнению Герлитца, 62-я Сибирская армия — призрачный туман? Современная политическая ситуация и требования официальной пропаганды всегда будут приводить к искажениям фактов и подробностей в любой книге о вторжении немцев в Советский Союз. Герлиц, кстати, замечает, что германская армия, во всяком случае, получила *coup de grâce*¹ не под Сталинградом, а в крупном танковом сражении под Курском в апреле 1943 года. Существуют самые странные мнения. Диксон и Хейльбронн, эти великие знатски коммунистической партизанской войны, по-видимому, считают, что немцы справились бы с партизанами за линией фронта, если бы лучше обращались с русским населением!

Я вдруг почувствовал, что Сталинград — центр всего мира. Именно здесь разрешался конечный конфликт между добром и злом. И последняя битва большевистской революции происходила здесь, и, может, это — место последнего решительного столкновения двух миров, поворотный пункт в истории человечества, в борьбе между разумом и мракобесием, наукой и варварством. Это все отвлеченные понятия, абстрактные термины, а было так: текла Волга, на воде пылала нефть, пыль и копоть смешивались с дымом пожарищ... По реке взад и вперед сновали лодки, прорываясь сквозь завесу артиллерийского огня, в котором людям невозможно было остаться живыми, и все-таки они остались живы...

Я побывал в различных районах города. Макеты танковых башен отмечают линию фронта, которую держал Чуйков в октябре и ноябре: плацдарм глубиной в две сотни ярдов. В новом городе танки поставлены во многих местах. Последний узкий плацдарм русских занимал площадь в шесть квадратных миль, эти позиции держала 62-я Сибирская армия. Единственные развалины, сохранившиеся в новом городе, оставлены как памятник сражений. Это большой завод, который немцам не удалось сровнять с землей. Он пробит, продырявлен, усеян следами пуль и, однако, выдержал все пять месяцев осады. Кирпичи, из которых он сложен, когда-то чистые и красного цвета, теперь, рядом с новыми домами, построенными из песчаника, кажутся цвета застывшей крови — такими сделали их огонь и время. В дни

¹ Последний, добивающий удар (франц.).

сражений тут помещался штаб дивизии. Задняя стена здания выходит к самому берегу. В этом воскресшем городе оно кажется странным и одиноким — все живое как будто чурается его. Неподалеку, на площади Ленина, шумно играла детвора, и это заставило еще острее ощущать зону безмолвия вокруг израненного шрапнелью обломка войны. Из всех сталинградских памятников этот больше всех внушает трепет. Даже чайки с Волги избегают пролетать над крышей старого завода. Само назначение — напоминать о войне — обособляет его от всего живого. Так он будет стоять, пока сам не рухнет или не рассыплется в прах, потому что исчезнет смысл его существования.

Второе уцелевшее в боях здание — «дом сержанта Павлова». Дом восстановлен полностью в своем довоенном виде. Он находился за линией фронта и в течение пятидесяти восьми дней был в окружении, поэтому в штабе дивизии на заводе не знали, кто руководит его защитой. В неразберихе после боя, когда дом освободили, сержант Павлов исчез, и его удалось разыскать лишь двадцать лет спустя. И другие оставшиеся в живых защитники дома были собраны вместе. Среди них грузины, русские, евреи, украинцы, татары, белорусы — та «смесь» различных национальностей Советского Союза, которые разгромили «чистокровных» нацистов, пытавшихся стереть их с лица земли. Четырехэтажный дом, как и все новые здания города, серо-желтого цвета, под стать лежащим вокруг степям в пору ранней весны: с воздуха Сталинград разглядеть не так просто. Дом снова заселен жильцами. Важные, самоуверенные голуби воркуют на его карнизах и у водосточных труб. Из окна верхнего этажа выглянула миловидная женщина и без удивления смотрит на стоящую на мостовой группу экскурсантов, которые глядят вверх на дом. Молодой парень, из-за сильного ветра одетый почти по-зимнему, выводит на дорогу свой мопед и мчится по направлению к дымящимся трубам завода «Красный Октябрь». Говорят, сержант Павлов работает теперь в подмосковном совхозе. Дом, который он защищал, стоил немцам больших людских потерь, чем взятие Парижа.

Отголоски войны в Сталинграде почти не чувствуются. Но есть еще одно памятное место: Мамаев курган. Это незастроенный холм между центром города и северо-восточными заводскими районами. Захватив холм, немцы могли обстреливать волжскую переправу прямой

наводкой. Мамаев курган несколько раз переходил из рук в руки, но в конце концов остался у немцев. За него велись кровопролитные сражения... Прошло десять лет, прежде чем там вновь выросла трава.

Я побывал в Планетарии. Это подарок Сталинграду от Германской Демократической Республики. Сталинградцы считают дар этот как нельзя более уместным и говорят о нем с легкой усмешкой. В Планетарии демонстрируются документальные фильмы о сражениях. Самый лучший из них — о соединении 19 ноября двух советских армий, когда завершилось окружение немецких войск.

Первые кадры — необъятная снежная степь. Слева появляется советская пехота, она медленно продвигается вперед. Справа тоже шагают пехотинцы, и так же медленно. Те, что слева, ускоряют шаг, несмотря на автоматы, гранаты, тяжелое зимнее обмундирование. Теперь и пехотинцы справа идут быстрее, вот они бегут навстречу друг другу. Некоторые на ходу падают в снег, поднимаются, бегут снова. Машут руками. Слышны хрипловатые выкрики, гулко отдающиеся в морозном воздухе. Кажется, им надо еще долго бежать, чтобы встретиться, но вот двое уже сгребли друг дружку в мощном медвежьем объятии. Некоторые стреляют из автоматов в свинцовое небо. Один, не добежав, упал и сидит, не в силах подняться после долгого бега. Солдат из встречной группы помогает ему встать, и они обнимаются. Камера панорамирует: обе группы соединились в единое целое, замкнув крепкую цепь, которую немцам не суждено было разорвать.

Немцы, мастера брать противника «в клещи», попали в собственную западню — огромную, неумолимую западню.

Волгоград

Я иду к Волге, стою на набережной. Прохожих почти нет, лишь изредка показывается возвращающаяся домой пара. Нет, что-то не так, чего-то не хватает — это чувство гложет меня. Я не знаю, куда мне пойти, я как беспокойный путешественник, которому надо все сразу, который жаждет романтических приключений в чужом ночном городе. Будь я в Испании, Франции, Марокко, даже в Москве, я бы сейчас расхаживал по узким оживленным улочкам, полным народа. Но здесь, в Волгогра-

де, этот час считается уже поздним, улицы необъятно широки, и по прихоти истории здесь нет старого города, где можно было бы побродить, нет зловонных тупичков, озаренных светом человеческой нищеты, какие находишь в Испании или Марокко. Волгоград, вероятно, самый современный город на всей земле.

По одной из широченных улиц мчится машина. Северо-восточный ветер несет с собой сухой, холодный запах степи, будто зима залегла там, как зверь в огромной берлоге. Далеко на противоположном отлогом берегу вытянулись длинной полосой полночные огни Красной Слободки. Ни один катер не движется в ту сторону. Слободку называли «красной» за ее роль в революции и последовавшей затем гражданской войне. Восстания всегда начинаются с предместий — это закономерно.

Вместе с ветром сеет апрельский дождик, и я иду к себе в гостиницу. По дороге останавливаюсь у памятника войны, грею руки над неугасимым огнем, пылающим посреди пятиконечной бетонной звезды. Это живое пламя, загоревшееся в двадцатую годовщину Сталинградской битвы, питается природным газом и будет гореть вечно. На торжественном открытии памятника он был зажжен током электростанции в Волжске, в двенадцати милях от Сталинграда. Из окон своего номера я вижу, как люди останавливаются и пристально смотрят на пылающий огонь. Днем и ночью всегда кто-то не спускает с него глаз, не просто вспоминая погибших и трагические события войны, но, словно застыв, ошеломленный потрясающими масштабами катастрофы.

Мне хорошо в Волгограде, я мог бы жить здесь месяцы. Я писал бы книгу, смотрел бы на Волгу, плавал бы в ней, съездил бы на речном трамвае в Красную Слободку, познакомился бы с многими людьми. Сильнее, чем Москва, меня будоражит этот город, стоящий среди необозримых просторов, недоступных воображению. Здесь обосновалось много молодежи, она стекалась сюда со всех концов страны, чтобы участвовать в небывалом в истории воскрешении города. На заводах грохот и жара, но там, где люди живут, воздух такой свежий, будто здесь, на берегу великой русской реки, самый лучший на свете климат. Как говорит Курцио Малапарте, Волга такая же европейская река, как Сена, Рейн, Висла или Темза. Волга берет свое начало в Европе и длиннее всех четырех, вместе взятых.

Волгоград — город молодежи. Вырвавшись из праха и развалин, он жаждет веселья. Интересно, посмел ли хоть раз кто-либо из местных «стиляг» поднимать шум на улице Мира?

Холод, ветер, небо обложено тучами, и пыль — Царицын всегда слыл пыльным городом. Сталинград одолевал жаркий, сухой ветер из Казахстана, но в Волгограде его задерживают пояса зеленых насаждений, они останавливают и ослабляют силу ветра, несущего пыль. Они кажутся прямыми линиями, если смотреть на них с высоты двадцати тысяч футов. Но для степного ветра все же открытого пространства хватает — ему есть где разгуляться: у меня от него потрескались губы. Почва в этих краях светлая, песчаная, напоминает пустынные земли на юге Испании, только тут земля покорена, обработана и родит больше. Восемь дюймов осадков в год ценны тем, что эта цифра неизменна.

В нескольких милях к северо-востоку стоит гидроэлектростанция. Наша машина проехала всю центральную улицу длинного города, миновала пригород, поселки. Металлургический завод «Красный Октябрь» — лес кирпичных труб. На заводе трудятся шестнадцать тысяч рабочих. Он растянулся по берегу Волги, а дальше от берега на возвышенности расположились кварталы домов, где живут рабочие. Я видел кварталы домов, где живут рабочие. Я осмотрел завод, видел весь процесс плавки стали, превращение ее в полосы и бруски. Я глядел сквозь маленькие стеклянные окна в расплавленное чрево печей — температура их настолько высока, что трудно заставить себя даже приблизиться к их закрытым дверям.

Недавно одну из печей демонтировали, и под самым ее фундаментом, где бушевало яростное пламя, обнаружили неразорвавшуюся фугасную бомбу. Ее удалось благополучно убрать. Грохот, жара, пыль — непрерывная атака на сырье: расплавить его, отформовать, разрезать. Потом отгрузить всю массу готовой продукции. И все для того, чтобы людям жилось лучше.

Плотина возле Волгограда образовала озеро почти в четыреста миль в длину и десять миль в ширину. На случай бурь выстроены специальные гавани: волжские суда постоянно курсируют между Горьким и Астраханью. Волгоградская электростанция вместе с электро-

станцией на Каме дает четырнадцать миллионов киловатт энергии. По верху плотины проходит шоссе и железная дорога.

Наш гид объяснил нам, как работает электростанция. Даже не имея настоящего образования, приобретаешь немало разнообразных сведений: процесс заводского производства, сеть электропередач, городское планирование, язык, обычаи, новое общественное устройство. Атмосфера в стране особая, совершенно непохожая на все то, что я знал прежде, и мое воображение не в силах было нарисовать мне Лондон, каким он должен был быть в это утро. И память не смогла перекинуть мост от нового к старому. Я видел туманные очертания зданий, утративших форму и цвет. Перед глазами у меня были лишь серые, смутные тени. Я не мог вспомнить привычные звуки, запахи, даже знакомых мне людей. Глядя на север, в прозрачную дымку Волжского моря, я как будто утратил свое прошлое, как будто у меня не было другой жизни до того, как я спустился с неба в Москву всего немногим больше недели назад. И будущее мне рисовалось неясно. Я очутился в несбываемых российских просторах и жил ото дня ко дню. Меня ошеломяло все, что я видел, все было так ново, оно вытесняло из моего сознания остальное. Но дело было еще и в другом. Меня захватила Волга, великая река, дважды прегражденная — природой и человеком: природа останавливает ее сплошной ледяной пеленой, идущей с далекого севера, а человек — бетонной стеной в пять тысяч ярдов.

Прощай, Волгоград! В холле гостиницы писатель Николай Мусин подарил мне книги, открытки с видами города — на память о городе и о людях. Инесса Алексеева, наша переводчица из иностранного отдела городского исполкома, сказала, чтобы мы снесли наши вещи вниз, их поставят в машину.

— Наш багаж уже внизу, — ответил мой спутник. — У нас у каждого только по чемодану.

Она улыбнулась.

— Вы путешествуете, как подобает настоящим мужчинам.

— Есть такой русский обычай: перед дорогой предлагается присесть и немного помолчать, — сказал Мусин.

Мы были в шубах, меховых шапках; курили, болтали. Я пожалел, что не насыпал в жестяную коробку из-

под табака горсть земли с Мамаева кургана — на память о Сталинграде. С минуту мы посидели, помолчали. Затем пошли к ожидавшей нас машине и поехали на аэродром.

Ленинград

Чтобы получить общее представление о незнакомом городе, хорошо впервые прилететь в него самолетом. Финский залив затянут льдом, но ледоколы пробили канал для судов: широкая линия, ведущая к невидимому Кронштадту. Карты, путеводитель и книги о русской революции помогли мне узнать Путиловский завод, Зимний дворец, Исаакиевский собор — все это промелькнуло за какие-то доли секунды, перед тем как самолет пошел на посадку к югу от города.

Гостиница «Астория» роскошна — в моем «Бедекере» она помечена звездочкой: особо рекомендуется. У меня номер с гостиной, ванной и альковом. Я еще никогда так не путешествовал. Телефон, письменный стол, платяной шкаф, диван. Бронзовая статуя с надписью на постаменте: «*Phryné devant ses juges, par Campagne*»¹, — лицо скромное, тело сладострастное. Я сдал в стирку и чистку мои волгоградские вещи. Мне не терпится выйти на улицу. Сегодня утром я умывался водой из Волги, днем я моюсь водой из Невы.

Я иду по Невскому проспекту — длинная, прямая и широкая улица, и хотя дома по обеим ее сторонам достаточно высоки, они каким-то образом не заслоняют небо и высоко плывущие по нему мягкие облака с Финского залива. Толпы народа — субботний вечер, и магазины закрываются поздно. Универмаги, кафе, рестораны, кинотеатры окаймляют главную артерию города с трехмиллионным населением. Балтийские матросы прогуливаются в компании товарищей или со своими подругами. Матросские лица, словно отлитые из стали, красивы грубоватой юношеской красотой. Становится понятно, почему именно моряки были в авангарде революции 1917 года, почему во время последней войны они же составляли ударные батальоны в Сталинграде, Севастополе, Одессе и самом осажденном Ленинграде.

Глядя на высокие ленинградские здания, отражающиеся в каналах, я вспоминаю Амстердам. Центр горо-

¹ Фрина перед судьями, работа Кампани (франц.).

да изрезан каналами, они идут от реки, образуя четыре дуги. Эти каналы помогли большевикам стать хозяевами города в дни Октября. За несколько ночных часов он оказался под большевистским контролем: солдаты, матросы и рабочие захватили каждый мост, вокзалы, телеграф и почту, банки, казармы и электростанции. Во время Октябрьского восстания было убито всего шесть человек. Темнота приглушала шум и гул восстания. Большинство солдат, перешедших на сторону большевиков, оставило окопы после свержения царя в феврале того же года. Сотни тысяч солдат бросали фронт, уходили от нечеловеческих мук, гнусной, бессмысленной бойни. Многие просто разошлись по домам. Другие, оборванные, голодные, с большевистскими листовками и газетами в карманах, добрались до Петрограда. Пока они тут делали революцию, английские солдаты на Западном фронте продолжали умирать тысячами, тупо позволяя гнать себя в кровавое месиво. Простые, малограмотные русские солдаты благодаря большевистской пропаганде и собственному здравому смыслу, который они доказали на деле, проявили более острое политическое чутье, просто-напросто повернувшись к войне спиной и уйдя от нее прочь. Как сказал Ленин, солдаты ногами проголосовали за мир. Генерал Духонин, протестовавший против заключения сепаратного мира, был солдатами расстрелян.

Русские солдаты совершили революцию, они не захотели на веки вечные оставаться покорными царскими подданными. Помимо многого другого, что сделано большевиками, они прежде всего изменили старый порядок. Городское население, составлявшее в 1913 году 18%, к 1959 году увеличилось до 48%. Число крупных городов с населением свыше ста тысяч человек возросло с тридцати трех до ста сорока девяти. В наши дни несколько старомодно сравнивать царскую Россию с Советским Союзом: в конце концов, революция произошла почти полвека назад. Но именно большевики сделали Россию страной техники и шоферов. Когда немцы вторглись в нее в 1941 году, они увидели иную страну, иной народ — совсем не то, что было, когда они воевали с ней двадцать пять лет назад. Русские танки и русские инженеры оказались куда лучше, чем они предполагали, и нередко гораздо лучше немецких. У немцев имелось двадцать два различных типа танков, а у русских — всего лишь два, но как только промышленность была эвакуирована

на Урал, их стали производить в огромных количествах. Русские танки часто вступали в бой непокрашенными, без удобных сидений для экипажа, но в деле показывали себя лучше немецких. Так было даже в самом начале немецкого вторжения. У русских есть сноровка, терпение, даже гениальность, которой обладают народы, слишком долго лишенные возможности реализовать свой научный и технический потенциал. Как раз потому, что реализация эта запоздала, запас сил, вырвавшихся наружу, был особенно мощным. Ленинская политика индустриализации осуществляла давние чаяния народа. Поняв, что большевизм — единственное, что может сделать их мечту явью, русские люди отдали ему всю свою энергию и отвагу.

Чтобы принять машину, надо было прежде всего отделаться от бога. Это очень кстати вспомнить сейчас на улицах Ленинграда, столицы Красной Европы, пострадавшей больше любого другого города во имя революции. Я цитирую путеводитель Карла Бедекера, этот беспристрастный сборник сведений о России 1914 года:

«Характер русских сложился не только под влиянием многих веков гнета феодального деспотизма, но и под влиянием дремучих, непроходимых лесов, скудной почвы, сурового климата и в особенности вынужденного бездействия в долгие зимы. Они угрюмы и замкнуты, упрямо держатся старых обычаев, беззаветно преданы царю, церкви и помещикам. Легко подчиняются дисциплине, почему из них выходят отличные солдаты, но мало способны к инициативе и самостоятельному мышлению. Таким образом, средний русский — это оплот экономической инерции и политической реакции. Даже русские интеллигенты, в общем, пассивны и глухи к требованиям реальной жизни. В той или иной степени все они жертвы воображения и темперамента, что подчас приводит к душевной депрессии или, напротив, к бурному эмоциональному взрыву. В этом объяснение недостаточной организованности, беспорядочности, пустой траты времени, которые замечает житель Запада, посетивший Россию.

Низшие классы обречены на ужасающую нищету и лишения. Нищие очень назойливы, особенно возле церквей.

Иностранца поражает, как часто русские осеняют себя крестным знаменем, падают ниц перед каждым

открытыми воротами церкви, в самой церкви целуют пол и священные реликвии.

В каждом доме, и в деревне и в городе, в углу висит икона с негасимой лампадой. Войдя в дом, русский обязательно перекрестится на икону.

Промышленность до сих пор играет значительно меньшую роль по сравнению с сельским хозяйством. Правда, за последнее время правительство предприняло ряд шагов для ее развития, но не хватает отечественного капитала и квалифицированных рабочих».

Все эти обобщения в известной степени показывают, каковы были представления иностранцев о дореволюционной России: слишком много бога и слишком мало машин; слишком много вялости и апатии и никаких общественных интересов; слишком большая бедность, чтобы терпеть ее, и слишком мало надежды выбраться из нищеты. О Советском Союзе существует много предвзятых мнений — вам их высказывают, узнав, что вы собираетесь туда ехать. И начинаешь чувствовать себя корреспондентом, отправляющимся на линию фронта «холодной войны», хотя на самом деле ты всего лишь путешественник и просто хочешь посетить страну, живущую так бурно, такую человеческую и особенно интересную именно тем, что ее общественный порядок совсем не похож на все, тебе известные. Эту необыкновенную человечность русских я ощущал с особенной силой, не только когда думал, что было сделано ими для ее сохранения во время фашистского нашествия, но и когда вспоминал, что русские, чтобы дать каждому человеку возможность стать полноценной личностью, должны были свергнуть империю и стряхнуть с себя феодальную инертность.

Для достижения этой цели была необходима машина, что, в свою очередь, означало необходимость избавиться от бога. Он был сметен большевистской энергией, грузовики и тракторы обгоняли это шатающееся, оборванное пугало, гигантские самолеты пронеслись над ним, его ослепляли огни гидроэлектростанций, атомные ледоколы вскрывали слой за слоем покрытое корою сердце. Машины раздирали недра земли, останавливали течение рек, строили города, мчались к Луне. Бог, быть может, еще не до конца уничтожен, но он остался где-то далеко позади.

Бессмертие — это машина, с ревом пронесшаяся мимо окна, за которым ты лежишь на смертном одре.

Смерть — это тьма, конец, но только для тебя, а не для всех остальных, не для тех, кто остается жить, продолжает строить машины, читать книги при электрическом свете, идущем с электростанций, построенных этими машинами. Коммунист открыл, как жить без бога, и люди, все еще живущие с богом, даже не могут себе представить, какой это огромный шаг вперед. Не могут представить себе это и те, кто не верит в бога, но все же нет-нет да и примется обсуждать возможность его существования. Для коммуниста бог не является предметом спора. Он не ощущает ни необходимости, ни потребности заниматься обсуждением подобной темы. Идея бога была бы разрушительной силой в обществе, основанном на равенстве или стремящемся к равенству. Бог был бы большой помехой в мире социальной техники: как устаревший инструмент или станок, он изъят, выброшен, ржавеет на свалке.

Коммунист может смотреть в голубое небо или на звезды не думая о боге. Так же, как преодолеваются просторы сибирской земли, будут преодолены и небесные просторы; голубое небо (пусть оно бесконечно) должно стать сетью дорог для машин, созданных человеком. Эту же черту — способность жить не думая о боге — я замечал и у английских рабочих. Если бы я спросил какого-нибудь из них: «Ты веришь в бога?» — он бы пробурчал: «Не знаю». И продолжал бы свою работу, как будто тема эта к нему не относится и никакого значения для него не имеет.

Небо все равно будет голубым или темным, веришь ты в бога или нет. Бог не сможет заставить твою машину двигаться быстрее, действовать лучше. Только ты, человек, можешь это. Такая религия разума способна дать большое удовлетворение. Не это ли неведение бога позволило солдатам ленинградского гарнизона оставаться на линии огня и одержать победу над немцами — этим высшим продуктом западной цивилизации, чьи батальоны вошли в Россию с палачами и священниками в своих рядах?

На Неве ломается лед. Из Зимнего дворца я вижу, как реку душат льдины — огромные куски ледяного пласта, кое-где еще покрытые зимней копотью и похожие на уголь. Среди льда белеют обломки досок и бревна: река принесла их сюда с фабрик городской

окраины или из лесов далекой Ладogi. Весенние дни в Ленинграде плывут, как лед на воде, как румяные облака над дальними берегами реки. На том берегу на фоне заводских труб — три серые дымовые трубы крейсера «Аврора»... Во время второй мировой войны, когда немцы осаждали Ленинград, флаг «Авроры» развевался на Адмиралтейском шпиле как эмблема коммунизма и насмехался над немецкими нацистами, которые из своих окопов могли видеть его в бинокль.

Через одиннадцать недель после того, как немцы вторглись в Россию, их орудия уже могли обстреливать город. Он был осажден, и блокада продлилась двадцать месяцев. Гитлер, боясь ленинградских улиц, не хотел впускать туда своих солдат, надеялся быстро взять город измором и заставить сдаться. Ленинград, город Ленина, оттянул на себя большие силы, которые, если бы Гитлер обладал стратегическим чутьем, он должен был бы бросить на Москву. Фанатик с остекленевшими глазами уже разослал приглашения на торжественный банкет в «Астории». Кроме того, он потребовал расстрелять несколько сотен тысяч жителей и разрушить город до основания. Несомненно, это распоряжение было бы выполнено. Даже в приказах по немецкой армии город иначе не именовался, как Петербург, его никогда не называли Ленинградом, так ненавистно было нацистам имя Ленина.

В ту страшную голодную зиму отапливать дома было нечем. В школах в чернильницах замерзали чернила. Учителя умирали. Дети, продолжавшие посещать школу, выжили: многие из тех, кто оставался дома, погибли. То же было и со взрослыми. У тех, кто, едва передвигая ноги, все же аккуратно выходил на работу, посещал собрания, было больше шансов выжить, чем у тех, кто спрятался в своем углу. В коллективе люди сохраняли силу духа. Отбившиеся умирали.

На улицах лежал неубранный снег. В нетопленных домах стены густо покрылись инеем. По карточкам давали полфунта хлеба в день, и это было почти все. В начале блокады педантичные немцы постарались разбомбить продовольственные склады, спалив тысячи тонн продуктов. В самую тяжкую пору голода ежедневно умирало до тридцати тысяч человек. Транспорт в городе был остановлен. Воду доставали прямо из Невы, из прорубей во льду.

Вот отрывок из дневника школьницы, погибшей во время ленинградской блокады:

«Женя умерла 28-го декабря 1941 года, днем в половине первого.

Бабушка умерла 25-го января 1942 года.

Лена умерла 17-го марта 1942 года.

Дядя Леша умер 10-го мая в четыре часа дня.

Савичевы умерли, все умерли».

В Ленинграде каждый встречный, если он достаточно взрослый, расскажет об осаде. Начиная с революции, история России так богата событиями, что их хватило бы на тысячу лет.

Я подозвал такси и сказал по-русски: «К Финляндскому вокзалу!» И вот я у памятника Ленину. Памятник хороший. Многие не так хороши, в особенности тот, что в метро. Ленин зажал в руке кепку, пальто нараспашку, и, несмотря на холодную весну, пиджак тоже распахнут; большой палец левой руки засунут в пройму жилета, правая рука вытянута вперед. Ленин говорит: «Да здравствует социалистическая революция!» Памятник поставлен после ее свершения, и Ленин смотрит твердым, гордым взглядом на свои зримые и незримые дела.

Мне показали Смольный. Из комнаты в комнату ходили группы русских экскурсантов. Вместительное здание когда-то было пансионом для благородных девиц, а в 1917 году в нем помещался революционный штаб.

...Меня поразила простота обстановки. В комнате, где происходили совещания, на стене в рамке наскоро набросанная рукой Ленина записка о советском контроле. Рядом висит карта Петрограда с нанесенным на ней оперативным планом Октябрьского восстания, который был разработан Военным комитетом. На плане помечены все стратегические пункты, нанесены идущие от заводов и казарм линии наступления, сходящиеся в центре, у Зимнего дворца. На этот испещренный цветными карандашами план восстания (а действительно были холод и голод, снег, пули, топот бегущих ног, газеты, горячие речи, война и заговоры), на этот сложный план, составленный с предельной простотой, как это было свойственно большевикам того времени, смотрят, безусловно, многие; он висит на стенах и в

Южной Америке, и в Азии. Такого рода карта гипнотизирует — я мог бы часами проследживать сложные пути ее линий.

Русские экскурсанты взглянули на карту лишь мимоходом — для них все это было не ново — и тотчас прошли в личную комнату Ленина и Крупской. Там стоят кушетка и два стула — спартанская обстановка русских политических ссыльных XIX века. Письменный стол, еще какой-то столик, электрическая лампа. Эта же лампа могла быть использована и как керосиновая, так что Ленину не приходилось прерывать работу, если гасло электричество. Гардероб и буфет исчерпывали остальную обстановку. Ленин и Крупская обедали внизу, но иногда Крупская готовила здесь чай.

За перегородкой две армейские койки: Ленина — слева, Крупской — справа. Солдат Жолтищев подарил Крупской крохотное зеркальце — круглое, дюйма полтора в диаметре, в темной деревянной рамке. В нем едва можно разглядеть лицо, настолько мало стеклышко: видишь поочередно нос, один глаз, губы. На обратной стороне зеркала надпись по-английски: «Ниагара — Фоллс, Канада». Каким образом могло оно попасть в руки русского солдата?

В тот вечер, когда я уезжал из Ленинграда, отправляясь в Москву и в Сибирь, солнечный закат заливал город мягким светом. Была середина апреля. Из-за угла показался трамвай, солнечный свет ударил в его стекла, и на мгновение они засверкали, как ряд медных кастрюль. На одной из улиц ребятишки, взобравшись на кучу мелких камней, усердно швыряли их в канал, словно хотели как можно скорее освободиться от этого занятия и съехать на тротуар. Мимо прошел человек, держа на детских помочах двух близнецов в одинаковых красных шапочках и шерстяных рейтузах. Им было года по два, и они рвались вперед и тянули помочи с одинаковой силой. Отец, высокий молодой рабочий в кепке, смеялся, а малыши тащили его вперед.

Мне было грустно покидать Ленинград. Мне было грустно расставаться и с Москвой, и с Волгоградом. В каждом городе, в котором я побывал, после трехдневного знакомства я готов был остаться до конца жизни. Быть может, мне просто хотелось бы навсегда обосноваться в каком-нибудь городе, но это невозможно, потому что я оставил тот, в котором родился, повинуюсь

необъяснимому импульсу, превратившемуся в необходимость, — слишком долго я мечтал об этом.

ТУ-104 взмывает в небо, мчится через черную ночь над Новгородом, поворачивается серебряным носом к Москве, а я сижу в его огромном, слабо освещенном брюхе и перелистываю журнал.

Иркутск и Байкал

Иркутск, как показывает карта, лежит так же далеко на востоке, как Сингапур: от Москвы до него три тысячи миль. А чтобы добраться до Тихого океана у Владивостока, потребуется еще две тысячи миль. Вот это, я понимаю, край!

На Мальорке я встретил техасца, он сказал мне шутя:

— Англия? Если этот островок поднять и забросить в Техас, он затеряется там в каком-нибудь уголке.

Я ему на это ответил:

— Ну а если забросить Техас в Сибирь, он утонет в одной из сибирских рек.

Чтобы пройти столько, сколько этот ТУ-104 отмахивает за полчаса, старому военному транспорту «Рэнчи», на котором в 1947 году я плыл в Сингапур, нужен был целый день. Перелет от Москвы до Иркутска равен перелету через Атлантический океан или через США.

Это была самая короткая ночь в моей жизни. Сутки сокращаются на пять часов, и солнце зажгло небо перед восходом в два часа пятнадцать минут вместо семи часов утра. Внезапно неизвестно откуда через весь горизонт легла раскаленная докрасна полоса. Петропавловск распластался внизу, рассыпался светящимися точками. Сибирские города видны издали за многие мили, они сверкают яркими огнями, освещены всю ночь — электрическая энергия с гидростанций дешева. Красная полоска рассвета сливается с оранжевой, желтой, синей, черной. Внизу чернеет земля в сибирских снегах. Самолет идет на снижение, и все начинают сосать конфетки, чтобы не трещало в ушах, чтобы можно было время от времени различать шум моторов, если уж покажется, что мы просто плывем, уносимые воздушным течением.

Внизу, когда мы приземлились, было темнее. В то утро я видел два рассвета: один — на высоте шести

милей, пасмурный и прекрасный, в приглушенных дымчатых тонах, а другой — когда стоял на земле, только что выйдя из самолета. Полное солнце, круглое и блестящее, как марокканский апельсин, выкатилось на самый конец взлетно-посадочной полосы, будто отдыхая после медленного плеска холодных волн во Владивостоке. Сейчас оно начнет подниматься в небо или, набирая скорость, покатится прямо к нам, к зданию аэровокзала...

День уже в разгаре. Снова летим на высоте шести миль. Омск лежит на полпути через громадную равнину, и полчаса спустя показались горы: перед Иркутском они достигают десяти тысяч футов. Мне следовало заснуть — впереди был еще целый день. Я опускал голову, закрывал глаза, но они открывались сами собой, глядели вовсю и гнали меня к окну — смотреть на бесконечную землю под нами, на темные массивы лесов, расщепленные ленивыми зигзагами широких рек. Транссибирская железная дорога осталась далеко на севере. К югу лежала Монголия, и мы, должно быть, пролетали всего в нескольких милях от нее, но я сидел у противоположного окна и не увидел ее. Самое лучшее место у окна занимал пассажир, сразу же погружившийся в спокойный, крепкий и, казалось, непробудный сон.

Иркутск. Под ногами снова твердая земля, во всяком случае, на несколько дней, а потом опять в небо, как неприкаянный человек-птица. Но наконец-то, наконец-то я в таком месте, куда не падали немецкие бомбы, где вокруг здания, которые не видели немецкие войска, на которые не налагали жадной тевтонской лапы. Европа мне неприятна одним: там повсюду побывали немецкие войска. Наш большущий, славный ТУ-104 приземляется в Свободной Сибири.

Город очень обширен, и в нем живет полмиллиона человек. Главные улицы асфальтированы, вдоль них тянутся каменные многоэтажные дома обычного типа. Но много еще и деревянных домов на немощенных улицах. Я осматриваю город на машине и заезжаю к председателю Географического общества. Мы говорим об Иркутской области, он рассказывает мне о ее настоящих и будущих огромных богатствах. Его слова будто тараны, пробивающие (после немалых и умелых трудов) ворота в эти сокровищницы Советской страны. Иркутская область больше Франции, Бельгии и Голландии, вместе взятых, а это одна из самых маленьких областей

в Сибири, и недра ее, скрытые покровом лесов, битком набиты углем, железной рудой, золотом, солью и слюдой. Географ белокур, с бурятскими чертами лица, и в его глазах, пока он перечисляет чудеса одной только этой сибирской области, загораются огни, словно в покоряемой тайге. На такой большой территории живет всего два миллиона человек, но в области есть золотодобывающая промышленность, лесные, машиностроительные и химические комбинаты. Здесь выращивают хлеб, разводят скот, ловят пушного зверя — добывают «мягкое золото» горностая, соболя и белки. А Байкал и любая из рек, какую ни назови, изобилуют рыбой.

На Ангаре возле Иркутска и в Братске выстроены плотины гидроэлектростанций. Возле них обеих возникли широкие моря. В настоящее время Иркутская область получает такую же сумму капиталовложений, какая предусматривалась по плану первой пятилетки для всего Советского Союза. Предполагается сооружение системы из девяти плотин на реке Лене. Географ широкими движениями рук провел дуги на стенной карте. В 1978 году можно будет одним пароходом, не пересекаясь, добраться от самого сердца Монголии до Темзы. Доехать автобусом, скажем, из Пекина до Улан-Батора и сесть там на пароход. У меня голова пошла кругом. Ведь это безумец, но его безумие стоит иного здравого смысла! В глазах у него светится терпение, в мозгу кипят новые идеи, проекты. Все, о чем он рассказывал, и еще многое сверх того уже осуществляется. Медь и железо, уголь и молоко — сразу и Египет и Бирмингем. Область отдаленная, за нее только что принялись. Но погодите, вы еще увидите, что будет! Сколько они успели бы сделать, если бы не война, если бы не миллионы погибших советских людей! Потери огромны, нельзя о них не горевать, но при мысли о том, какие великие свершения уготованы этой стране, бросает в жар.

В Иркутске, продолжает географ, своя телевизионная студия, а в области сотни тысяч телевизоров. В городе есть три театра, университет, симфонический оркестр, филиал Академии наук. Если уж на то пошло, это же самое можно было бы сказать и о Шеффилде, и о Ноттингеме — городах такой же величины. Но сравнивать промышленные города Англии и Сибири просто нельзя. Темпы роста сибирского города феноменальны. Люди выводят формулы, земля эти формулы поглощает: здесь высевают в почву не зубы дракона, из которых

вырастают вооруженные воины, а мощные электростанции и заводы.

Иркутск расположен удивительно хорошо: он свободно раскинулся по обеим берегам Ангары. Высокие жилые дома, краны там, где идет строительство, порт, заводские трубы... Неподалеку поросшие лиственницей горы, и воздух, свежий и чистый, приятно пощипывает щеки. Ниже плотины река еще покрыта льдом, как, по слухам, и озеро Байкал, до которого от Иркутска сорок миль. Я надел купленную в Гибралтаре теплую морскую куртку.

Наша машина выехала из Иркутска и покатила по дороге, по которой в 1890 году проезжал Чехов. Справа от себя он видел Ангару, а я справа от себя вижу огромное водохранилище — море, как называют его в Иркутске. За морем — высокие горные склоны, черные от густых сосновых лесов, кое-где белеющие пятнами снега, холодные, неприятные и все еще не оправившиеся после долгой свирепой зимы, тяжелой и для человека, и для зверя. Дорога, прямая, узкая, постепенно уходила вверх. Как только достроили плотину, прибрежные деревни, которым грозило затопление, были разобраны по бревнышку и перенесены на более высокое место. Почти у самой дороги несколько деревень: они раскинулись и вширь и вдаль, как все поселения в этом краю громадных просторов и нескончаемых лесов, рек и зим. Летом над водной полосой, протянувшейся на сорок миль между Иркутском и Байкалом, курсирует гидроплан: он мчится, жужжа, в нескольких футах над водой и несет в себе сотню пассажиров. Таким образом, вместо того чтобы часа два-три трястись в автобусе, можно добраться до места за сорок минут. Еще недостает хороших дорог, а они уже становятся ненужными.

От океана Байкал отделен несколькими горными хребтами — до ближайшей соленой воды от него полторы тысячи миль. На всем земном шаре нет другого озера, так же далеко спрятанного в суше, такого глубокого и так заласканного землей. Горы любовно заключили его в свои объятия, питают водой трехсот тридцати рек: каждая капля ее остается в озере на протяжении пятисот лет, прежде чем выскользнуть через единственный выход — реку Ангару.

Дорога сворачивает влево, и перед нами в обе стороны раскинулся Байкал. Сперва он виден неясно. Мы

подъезжаем к самому краю, и если бы вода не была замерзшей, можно было бы подумать, что это Тихий океан, что дорога каким-то образом, словно нитка мимо игольного ушка, прошла мимо Владивостока. Но на озере сплошной неподвижный лед, ровный и крепкий, насколько это возможно определить невооруженным глазом. Вспоминаются пустынные серые пейзажи викторианских гравюр: безлюдно, слева и справа нависли поросшие лесами обрывы, утесы, крутые уступы, тающие в тумане, и лежит озеро, уходящее вдаль на четыреста миль, — если бы взгляд был способен проникнуть в эту даль или если смотреть в ясный день с реактивного самолета. В молочно-белом, слишком низко опустившемся небе широкие голубые провалы. Ощущение пустынности идет от льда, простершегося до подножия далекого холмистого берега. Ровная пелена толстого заснеженного льда покрывает все озеро, самое глубокое озеро мира. Зимой это имеет свои преимущества: пусть стоят пароходы, но зато во все концы по льду разбегаются дороги. Озеро узкое, но в самые суровые зимние месяцы дороги на нем размечаются знаками. Это необходимо, потому что кое-где лед, несмотря на жестокие морозы, не вполне надежен — будто или теплая струя в ветре, или бурный водоворот вниз не дали льду достаточно окрепнуть и прочно затянуть водяную рану.

Деревня на этом берегу озера называется Листвянка, и здесь находится научно-исследовательская станция Академии наук. При ней имеется музей с большим собранием рыб, животных, карт, моделей, книг, диaposитивов — все, относящееся к рождению, жизни и будущему озера. Как и по московскому Музею Революции, и по плотине возле Волгограда, по музею нас водила женщина — у всех этих женщин приятные лица, каждое мило в своем роде. Серьезные, знающие люди. И с чувством юмора, тем более привлекательным, что в них угадывается преданность делу, позволяющая им — но не вам! — пошутить, если какой-либо из экспонатов дает для этого повод.

На берегу под ногами хрустели галька и лед. Над противоположным берегом сгущались тучи.

Вдалеке какой-то человек шел по льду, должно быть, к проруби ловить рыбу или к тюленьим ловушкам. Позади, поднимая шумную возню, играли школьники, и все же было тихо-тихо — вокруг царил такой полный,

безмятежный покой, что душа замирала. Мне вдруг захотелось стать отшельником, поселиться где-нибудь там, высоко над берегом, проводить в одиночестве неделю за неделей, жить в хижине. И ничего бы не надо было, кроме ручки, тетрадей, стола, кровати и кедровой ветки, свисающей с потолка. Пережить так, как подобает человеку, и ясные, голубые морозные дни, и непроглядные метели, и мягкие густые снегопады. Прислушиваться к ветру и всем нутром вбирать в себя и снег, и ветер, и тишину...

Говорят, кто не видел Байкала, тот не видел Сибири. Эта огромная трещина — на карте сна голубая среди темной ржавчины гор — геологический центр Восточной Сибири, и ученые говорят, что узнать тайну ее образования значило бы получить ключ к происхождению всей Сибири и даже Азиатского континента. С гор, окружающих Байкал, берут начало все величайшие реки Сибири: Обь, Лена, Енисей, Амур, Ангара. Расположенный на высоте полутора тысяч футов над уровнем моря, Байкал — это саморегулирующаяся силовая станция, дающая Ангаре, а следовательно и Енисею, мощь, способную осветить множество городов, завертеть колеса множества заводов и фабрик.

Байкал настолько важная веха на сибирской земле, что русские, называя то или иное место, непременно добавляют, что оно расположено «в Забайкалье» или «по эту сторону Байкала». До постройки железнодорожной линии Москва — Владивосток озеро являлось препятствием, бóльшим или меньшим в зависимости от времени года. Сейчас, едешь ли поездом, автомобилем или летишь самолетом, Байкал — это веха, вечный призыв идти вперед, внести свою долю в преодоление пустынности этих краев. Восхищаясь его красотой и девственной нетронутостью, я все же хотел бы увидеть на его дальних берегах, едва приметных даже в разгар ясного дня, цепочки новых городов, а на освободившейся ото льда воде — вереницы прогулочных пароходов и катеров.

Некоторые места за озером превращаются в курорты. Туда ездят отдыхать, разбивают там палатки, ставят деревянные дома, ловят форель, лазают по горам, отправляются в походы, и порой встречаются в тайге научные экспедиции, возвращающиеся из глубины лесов с новыми сведениями о природе и богатстве края.

На ледяном море за деревней — следы зимних дорог и троп. Всё один сплошной лед. Кое-где на нем образо-

вались швы, белые горки — снежные опухоли, и заиндевевшие бугры — быть может, погребальные курганы байкальских осетров, которые живут по три сотни лет.

По льду, теперь не совсем надежному, идет человек. Идет куда-то далеко, пробирается в какую-нибудь деревню на том берегу — этот переход займет у него два дня. А может, он идет дальше, к подножию покрытых снегами гор, или даже еще дальше, туда, в голубые, далекие, самые пустынные на всей земле горы.

Железная дорога на юго-западном берегу лепится по обрыву. Из Листвянки я гляжу на старую дорогу — прежде она была частью главной железной линии, доходящей до Култука. Кажется, будто неимоверно громадная рука рассекла горы, чтобы дать место озеру, и грубо расшвыряла во все стороны землю и камни — такова прибрежная полоса, и строить здесь железнодорожный путь было труднее, и обошелся он дороже тех, что приходилось прокладывать на норвежском побережье. На пятьдесят миль — четыре мили туннелей. А тот берег озера сырой и болотистый, со множеством речек, там пришлось строить свыше двухсот мостов.

Зимой холодная, твердая, кремнистая земля уподобляет себе и воду. Но лед придает ей величие, гордое великолепие, мягкий, зовущий блеск затерянного мира, который предстоит открыть.

Строить на земле таких необъятных просторов, да и вообще на какой бы то ни было земле, — значит побеждать созданное человеком представление о собственной смерти. В этих мыслях нет ничего печального и не может быть здесь, у этих гор, грандиозным силуэтом встающих за Ангарой. Когда люди заполняют вокруг себя пустые пространства, они делают то же, что хочет сделать человек, обнаруживший в себе обширные пустоты невежества. Цивилизация растет, когда желание это становится непреодолимым и одновременно имеются средства для его осуществления.

В нескольких милях от Иркутска построена плотина гидроэлектростанции — гигантская изогнутая стена сдерживает Ангару, которую здесь подталкивает мощное плечо озера Байкал. Это сооружение вырабатывает двенадцать биллионов киловатт энергии — количество, достаточное, чтобы обеспечить двенадцать таких городов, как Иркутск; линии высоковольтных передач несут ее многим промышленным городам вокруг. Прежняя поверхность реки оказалась на глубине ста футов. По

плотине проходят шоссе и железнодорожный путь; если, стоя у железных перил, глядеть вдоль Ангары в сторону Иркутска, можно различить дома, заводы, столбы, краны доков, но сквозь завесу сибирской утренней дымки все кажется неясным и таинственным. Внизу вода зеленая, дальше она голубая. По другую сторону плотины она замерзла, но с приходом весенних дней лед становится прозрачно-белым.

Внутри, в зале, где расположены генераторы, на почетном месте висит портрет Ленина. Г. Дж. Уэллс называл Ленина «кремлевским мечтателем», и многие советские рабочие, с которыми мне приходилось встречаться, с удовольствием напоминали мне об этом. Однако после своего вторичного, в 1934 году, посещения Советского Союза Уэллс все меньше и меньше заговаривал о «мечтательности».

Оборудование для плотины пришло из разных концов страны: турбины — из Харькова, генераторы — из Новосибирска, индукторы — из Ленинграда, распределители — из Узбекистана, контрольные панели — из соседнего Ангарска, краны — из Донецкого бассейна. Я все вижу перед собой лица русских рабочих, прорабов, техников, и они напоминают мне лица рабочих с английских заводов. Почему это производит на меня такое впечатление, что я упоминаю о нем даже здесь?

В номере у меня по белому полю подоконника медленно движется сибирский комар — длинноногий, тонконосый, верткий, хищный. Зиму он провел внутри двойной оконной рамы, окоченел там, но не настолько, чтобы умереть. Питался пылью, плесенью и подобными себе мелкими тварями. Я открыл внутреннюю раму, и он свалился на подоконник, опьянев от комнатного воздуха — теплого, свежего, сулящего жизнь. Ну нет, это тебе не тайга, говорю я ему, не снег и болото, не ледяные реки, сосны, березки и ели, не тигры и косолапые медведи — это теплый подоконник, с которого ты время от времени взлетаешь на несколько дюймов к сконному стеклу. Гидростанция на реке, тут поблизости, доберется до тебя со своими бесчисленными биллионами киловатт: вместе вам в этой стране не ужиться.

Озеро казалось более суровым и таинственным, чем в тот раз, когда я смотрел на него из Листвянки. Монголы называют его Буйкуль, что значит «богатое озеро»,

или даже Делай-нор — «священное озеро». А у бурят оно называется Бай-гал — «жилище, охваченное пламенем». Вдоль тысячи миль его дальних берегов — бухты, дельты, обрывы, острова, которые внушали суеверный страх. Селений там, а особенно к северу, куда не доходит железная дорога, очень мало, и тишину нарушает только гроыхание грома да гул рек, обрушивающих в озеро свои прозрачные струи. Заводы и электростанции нарушат эту тишину и безлюдье.

Слюдянка — город с сорокатысячным населением. Мы зашли в книжный магазин, битком набитый народом, — конец субботнего дня. Суббота — короткий рабочий день, все заводы уже закрыты. Но на мраморном карьере работа продолжается, и мы зашли к директору. Наверное, мы оторвали его от семьи, от домашнего очага, но он встретил нас приветливо и, хотя был уже в праздничном костюме, предложил показать нам карьер. У него лицо умного, степенного заводского рабочего; карие глаза, смуглая кожа, волосы зачесаны назад. Говорил он мало, ограничивался объяснениями устройства механизмов и процессов работы.

К карьере надо было добираться по плоскому дну узкой долины. Темнело. Нависали тучи, дорога была грязная; жидкая красная и белая глина заляпала машину. Влажные, слякотные ветры с озера превратили мраморную пыль в неаппетитное мороженое. Склоны гор казались черными, края туч задевали вершины. Дорога свернула в сторону, узкоколейка с вагонетками скрыла за собой узкую речку. Брызги грязи на ветровом стекле были словно расплюснутые желтые муравьи.

Через полчаса мы оказались возле карьера, высоко в горах, у места слияния двух рек. Гигантские машины на гусеничном ходу отодвинулись от изгрызенного мраморного обрыва, запыхтели и двинулись к своей добыче. Свирепо куснув ее, они отвернулись, будто досадуя, что добыча слишком мала, и с урчанием выплюнули мрамор в поджидавший грузовик. Грузовик отъехал, другой занял его место, и машина снова яростно впилась в мраморный бок горы. В начале разработки карьера сюда приходили поглазеть на машины огромные сибирские медведи.

Я подошел к краю уступа и поглядел вниз. Земля качнулась у меня под ногами. Меня окликнули — стоять тут было опасно. Мрамор многоцветный — розовый с бежевыми прожилками, голубой, белый с голубым —

свадебные и кондитерские тона. Я подобрал несколько обломков, сунул их в карман плаща, чтобы привезти их с собой в Лондон. Шероховатые куски, мрамор мягкий, но тяжелый, сияют и поблескивают наполовину скрытые кристаллы. Я поднимаю еще один обломок и нюхаю его. Даже мокрый, он пахнет только байкальским льдом, ветром и пустынностью только что проложенной сибирской дороги — другими словами, он не пахнет вовсе. Это безлюдье и глухомань наталкивают меня на несуществующие сравнения. Это все равно, что приложить к уху морскую раковину и сказать, что слышишь море. Его не слышно, но должен же ты что-то слышать, пусть только биение собственной крови.

Но прикосновение куска мрамора к моим губам и его воображаемый запах остались для меня символом Байкала и Сибири. В нем было все: кедры, тополя, вишневые сады, ольха, сибирские яблоки; земляника, малина, черника, дикая смородина; чайки, цапли, бакланы; осетр, омуль, хариус и байкальская рыба голомянка, живущая на глубине более двух тысяч футов. От мрамора шел запах снега, лежащего среди деревьев, снега, хлопьями падающего с растопыренных веток, достаточно крепких, чтобы удержать на себе тяжесть значительно большую, чем та, которую они с себя стряхивают.

Нагруженные грузовики спустились в долину, отвозя плиты и глыбы мрамора туда, где его будут дробить.

Я заглянул в желоб, куда сбрасывают мрамор, — широкая щель, похожая на отверстие почтового ящика. Пока мрамор движется вниз, его куски с отчаянным стуком и грохотом ударяются о два толстых стальных листа, которые дрожат, качаются, движутся навстречу друг другу, но не соприкасаются. Посреди желоба во всю его длину тянется, покачиваясь, цепь, чтобы камни в этом широченном «почтовом ящике» не сбивались в кучу и не получалось затора.

Я сошел вниз и увидел, что человек в высоко помещенной кабине сбрасывает мраморную крошку, которую опускают в грузовики; те повезут их в Слюдянку, к ожидающим их там железнодорожным составам. Я стоял среди поворачивающихся во все стороны грузовиков под гремящими цепями машин над ними, среди грузовиков, уже груженных мрамором, — вид у них был устрашающий, когда они двигались прямо на меня.

Я убрался с их дороги, прошел под другой движущейся цепью. Директор карьера крикнул мне, чтобы я был осторожнее, — он не знал, что чувство самосохранения у меня не исчезло и после того, как я перестал работать на заводе. Грохот грузовиков, лязганье цепей, ритмическое содрогание земли под ногами, удары машин о мраморную стену, пляска конвейеров, сортирующих мрамор, преследовали нас всю дорогу, пока мы спускались по извилистой дороге.

Братск

Я в одномоторном биплане АН-2, лечу на высоте одной мили над сибирской тайгой. В тесной кабине нас десять человек, сидим у стенок друг против друга, по пяти в ряд. У двери стоит хорошенькая молоденькая стюардесса, а впереди два пилота следуют через голубые небесные просторы к Братску по невидимым путям, проложенным компасом. Чтобы разглядеть тайгу, я тянусь к маленькому окну, изо всех сил выворачивая шею. И все-таки сидеть мне удобно. Земля внизу кажется необъятнее неба.

Наш курс — северо-северо-запад; до плотины триста шестнадцать миль. Самолет идет со скоростью сто двадцать миль, степенный, надежный, уютный. И все это словно семейный пикник: стюардесса оделяет всех конфетками, и за едой особых разговоров не заводят, как оно и полагается в дисциплинированном семействе. Приятная, неторопливая поездка без всяких приключений.

Самолет качает. Единственные признаки жизни — полосы на заснеженном льду. Но вот я различаю дорогу, она, несомненно, проложена на твердой земле — на мысе или острове: отчетливо видно, как темная лента извивается среди деревьев. Это шоссе, деревья по обеим его сторонам стоят редко. На севере туман в долинах густеет. Под нами разбитый на квадраты большой город. Окутанный дымом, движется поезд.

Мы миновали водное пространство, оно осталось южнее, и снижаемся к ясно различимым берегам сузившейся Ангары. Ее перерезает плотина, удерживая позади себя озеро или море, над которым мы только что пролетели. Длина плотины от берега до берега — пять километров, а высота — триста футов. По гребню ее

движутся цепочкой краны. Сам Братск — жилые кварталы, заводы — почти скрыт туманом.

Самолет описывает круг над лесокомбинатом. По земле раскиданы стволы сосен, словно кто-то рассыпал с десятков спичечных коробков. Но стволы огромны, они коричневые, очищены от веток и готовы для лесопилки. На посадочной площадке стоят три вертолета.

Аэродром — расчищенная среди леса бурая, глинистая площадка, похожая на болото. Шасси дрожит, когда самолет делает крутой поворот, направляясь прямо к огромным круглым лужам. Вдруг он сейчас нырнет по самое брюхо? Нет, не нырнул. С гулом и грохотом он понесся над площадкой, потом протащился по ней и, наконец, встал, по самую ось засадив колеса в воду. В момент приземления мотор взревел, будто треснуло его металлическое легкое; красноватая грязь обрызгала нижнее крыло.

Мы понесли свои чемоданы к аэровокзалу. Нас ждал автобус, совсем новенький. Он двинулся по недостроенной дороге — с буграми, ухабами, рытвинами, грязью — смерть грузовикам. Вдоль дороги их кладбище. А по-дальше, среди высоких сосен, — людское кладбище: небольшой клочок земли и на нем деревянные столбики и ограды — голубые, зеленые, красные. И нигде ни одного креста. Мне это нравится. Ненавижу кресты всех видов: католический, православный, изломанный крест свастики. Крест — безобразный символ, он внушает страх, знаменуя унижение, гонение, отсталость и страдание. А здесь — ни одного креста.

День на славу — ясный, прозрачный, морозный. Двухэтажные деревянные дома вдоль немощенной, обсаженной деревьями улицы покрашены в различные цвета. Как обычно, они поставлены далеко друг от друга. От улицы веет свежестью, будто ее только что выстроили из тех самых деревьев, которые пришлось вырубить, чтобы очистить место для домов. В некоторых из них школы, магазины, клубы. В одном помещается ресторан, куда нас и повели.

Повсюду ребяташки, маленькие толстошекие сибиряки в меховых шубках и шапках, в теплых валенках. Они гикают вдогонку автобусу, машут ему на прощание, отрываясь от футбола или игры в «классы». Некоторые лишь молча, очень внимательно смотрят. И дело не в том, что они еще не привыкли к жизни, вернее, их ошеломляет город, растущий с каждой неделей. Нет,

неверно, это мысль человека, родившегося в маленькой стране. Их живые серые глаза — глаза детишек, но они унаследованы от поколений людей, смотревших в глухую тайгу, или в широкие пыльные степи, или по шести месяцев в году в бескрайние снежные просторы. Из таких людей получаются отличные инженеры.

К нам присоединился американский фотокорреспондент вместе со своим переводчиком, и теперь в новеньком сорокаместном автобусе нас шестеро. Я не слишком обрадовался встрече с человеком, для которого родной язык — английский, и, наверное, американец за время краткого своего пребывания в нашей гостинице составил себе не очень высокое мнение о моей общительности. Все же, обедая за общим круглым столом, мы не разочкались рюмками с водкой.

Водитель, казалось, считал, что дороги еще не изобретены. Гостиница, окруженная редкими деревьями, — в ста ярдах от шоссе. Я полагал, что он остановит машину у обочины, мы вылезем и пойдем дальше пешком. Не тут-то было. Машина перевалила за обочину, сползла по насыпи и затем лихо пронеслась между парой стволов; я не сомневался, что от ее блестящей голубой краски на боках ничего не останется. Но шофер, как видно, проделывал это не в первый раз. Машина подкатила буквально вплотную к цементной плите у входной двери, и благодаря его ловкости нам не пришлось ступать ногами в грязь. У шофера жена и двое ребятишек. Мне думается, он убежден, что работка у него легкая: целый день возить нас, праздных ротозеев. Пока мы осматриваем спортивный зал, школу, плотину, клуб или детский сад, он может подремать за рулем или почитать книжку.

Мы стоим на краю мыса и смотрим на плотину; отсюда она кажется даже еще длиннее, чем на самом деле. День воскресный, поблизости прогуливаются пары. Они целиком поглощены величественным зрелищем — делом своих рук — и не замечают нас. Плотина притягивает к себе взгляды тех, кто вложил в ее создание годы нелегкого, однообразного труда. Теперь они стоят на солнышке, указывают друг другу то на одну, то на другую деталь сооружения.

Внизу, в ущелье шириной с милю, на берегу реки бутылочно-зеленого цвета стоит голый пловец. Вот он нырнул в ледяную воду, поплыл по течению и скрылся из виду. Позади него посреди реки большие и малень-

кие плоские островки, словно бесформенные олады; на некоторых снег. Ниже по течению реки он лежит сплошным покровом, уходящим за горизонт. Пловец был близко от берега, но вылезать не стал. Все его видели, и почти никого он не занимает, все смотрят только на плотину.

Плотина всегда представляет собой внушительное зрелище, если бетонная стена соединяет угрюмые, скалистые берега. Но здесь плотина подавляет берега, они кажутся почти незначительными, она подминает их под себя и разворачивает «фронт» в пять тысяч ярдов. От шоссе и железнодорожного пути на ее верху и до наклонной стены, уходящей в воду, расстояние в триста футов. Общая ее длина — три мили. Я смотрю на бетонную стену, которую к тому же венчает добрый десяток гигантских кранов, и меня пробивает дрожь — особенно потому, что я стою на берегу реки и гляжу на плотину снизу вверх.

Мы движемся, точно муравьи, между ногами кранов и знаем, что внутри этой громадины мощные генераторы вырабатывают несчетные биллионы киловатт, а позади нее — море, которое она сдерживает. Еще никогда не был я так потрясен грандиозностью масштабов. Однажды в Саутгемптоне мне показали океанский лайнер «Куин Мэри». Я видел его прежде на фотографиях, и действительность меня разочаровала, едва я сравнил его с другими, стоявшими вокруг судами. Гибралтар торчал из серого моря, как обыкновенный вмерзший в воду валун, когда в одно январское утро я шел по перешейку, соединяющему его с заснеженной Испанией. Казалось, английские тучи, нависшие над скалой, придавили ее и приплюснули. И соборы оставили меня равнодушным: Кентербери, Пальма, Гранада, Нотр-Дам — ветхие, ничтожные, бесполезные и для меня духовно мертвые.

Я стоял на гребне плотины, смотрел вниз на Ангару, на зеленые и белые острова, на водосливы у обоих ее краев, широко расставленные, будто сильные руки, освободившие эти острова. Я представил себе реку такой, какой она была до постройки плотины. Первые партии строителей, прибывшие сюда в 1955 году, еще видели лис, медведей и лосей. Тогда здесь был поселок с населением в две с половиной тысячи душ. Старый Братск с его бревенчатыми домами был основан в 1631 году у речных порогов, в двадцати пяти милях от теперешней плотины. Он уже давно под водой. Две сторожевые баш-

ни XVII века были разобраны по бревну и снова сложены на высоком месте. Теперь это памятники старины в Новом Братске.

Нужно было расчистить лесные чащи — бульдозеры валили деревья, тракторы вытягивали из земли их корни. Необходимые материалы и продовольствие доставляли из Тайшета по железной дороге, а также на грузовиках по трудным дорогам из Иркутска. Использовали и речной транспорт, и позже стало возможно переправлять грузы самолетами. Новый Братск был официально заложен в 1955 году, а теперь в нем сто семьдесят тысяч жителей.

Вначале одной из очень сложных проблем, которую упомянул каждый, с кем мне здесь пришлось встретиться, были комары. Неистовая, ядовитая мошкара мучила людей, и отделаться от нее удалось только в последние два-три года. Сетки на окнах, сетки вокруг кроватей — ничто не помогало. Стоило лечь спать под сеткой, и комары облепляли ее таким густым, непроницаемым слоем, что можно было задохнуться. Тайгу опрыскивали с самолетов. Из Москвы привозили противокмаринные жидкости и мази. Все было испробовано. Темпы работы на плотине снизились. И тут болота опрыскали каким-то новым химическим составом, и на следующий год комаров не стало. Подлинное бедствие было наконец преодолено. Администратор гостиницы сказал мне:

— Наука по-настоящему чудесна, когда она помогает добиваться таких вот вещей. Обидно, что нам приходится думать также и о возможной войне.

Один из огромных кранов двинулся — каждая его нога была выше меня ростом, — и я отскочил в сторону. Инженеры на плотине в среднем не старше тридцати лет. Главному инженеру — тридцать шесть. Сопровождавший нас инженер быстро чертил схемы в моей записной книжке, объясняя последовательные стадии строительства. Братская плотина — самая большая в мире. Но на Енисее, возле Красноярска, уже строится другая, еще больше этой. Ленин писал, что электрификация переродит Россию, что на почве советского строя она создаст окончательную победу основ коммунизма в нашей стране, основ культурной жизни без эксплуататоров, без капиталистов, без помещиков, без купцов.

Мощь, свет и энергия, и через Братскую плотину — лозунг из огромных букв, он протянулся на целую милю: «Коммунизм — это Советская власть плюс электрифика-

ция всей страны». Он повсюду, этот лозунг, на каждой плотине, на каждом заводе, в залах собраний, — быть может, это несколько однообразно, но здесь, в бескрайних сибирских просторах, он имеет реальное значение.

Эта электростанция, в строительстве которой участвовало сорок тысяч человек, — памятник XX века великим материалистам-атеистам русской революции, памятник идеям равенства XIX века, из которых она родилась. Ночью, когда горят огни, с воздуха плотину видно за сотню миль, и, когда самолет подлетает ближе, первое, что читает глаз, это ленинский лозунг, словно пришипленный громадными кранами, стоящими на гребне плотины.

Мы спустились ниже, почти к самой воде. Из всех водосливов с бешеной скоростью несется вода, над этими водопадами дрожит радуга. Инженер шутит: вот, строили плотину, а выстроили радугу.

— Мальчишкой, — говорю я, — я думал, что только бог умеет делать радуги.

— Ну, как видите, Ленин тоже сумел, — ответил мне инженер.

Я побывал в кабинете заместителя председателя горсовета Василия Рудых. Присутствовал и заведующий отделом народного образования. Рудых рассказал мне, что в Братске во всех домах центральное отопление и двойные рамы и что канализационные трубы приходилось прокладывать под землей на глубине двести футов. Я спросил, что делают здесь люди в долгую зиму. Он улыбнулся:

— Ничего, не скучают. Занимаются зимним спортом — лыжи, коньки. Братское море очень для этого удобно. Кроме того, в городе много красных уголков и клубов, они пользуются большой популярностью. Там люди с общими интересами объединяются в кружки. И, несмотря на морозы, в Братске ясных, солнечных дней больше, чем в Крыму. Может, этим и объясняется низкая смертность в наших краях. Еще Чехов указывал, что сибирский климат очень здоровый. Уже закладывают новую плотину в Усть-Илимской, это в двухстах милях к северу отсюда. Кое-кто, закончив работу в Братске, переходит туда. Там начали прокладывать через тайгу дорогу. Это сопряжено с большими трудностями: дорога тянется через овраги, горы, реки, болота. Когда плотина будет готова, там народу останется мало, только обслуживающий персонал. Промышленного горо-

да вроде Братска строить не станут. Поэтому возникает вопрос: есть ли смысл проводить туда дорогостоящее шоссе? Не заменят ли его вода и воздух? Возможно. Сейчас ведутся опыты с воздушными кораблями, старыми, вышедшими из употребления в тридцатых годах дирижаблями. Они могут пригодиться. Современные газы устраняют опасность взрыва, а перевозка на них тяжелых грузов обходится чрезвычайно дешево. Но дорогу все же продолжают строить. Может, эта идея возрождения дирижаблей будет использована на других строительствах, в необжитой глуши — их у нас впереди еще много. Все, кто работает в Братске, получают ежегодный оплачиваемый отпуск в тридцать шесть рабочих дней вместо обычных двадцати четырех и бесплатный проезд в любой конец Советского Союза для проведения этого отпуска. И в отношении снабжения Братск находится в привилегированном положении. Здесь можно достать то, что не всегда найдешь в Москве. Транспорт хороший. В летнее время поезд на Москву ходит через день, поезд в Красноярск — ежедневно, так же как и самолеты в Иркутск и в Москву. До Иркутска можно добраться и водой, туда ходят пароходы «Сибирь», «Карл Маркс» и «Советская Бессарабия». В городе свыше девяноста школ, в них обучаются двадцать семь тысяч человек: в это число входят и взрослые учащиеся вечерних школ и техникумов. Можете себе представить, сколько нам пришлось потрудиться, начиная с тысяча девятьсот пятидесяти пятого года, чтобы организовать все это. У нас работают полторы тысячи учителей, преподаются два иностранных языка — английский и немецкий. В Братске живут люди пятидесяти различных национальностей. Мы стараемся привлечь к учебе как можно больше народу — это тоже в известной мере ответ на ваш вопрос, чем занимаются люди зимой. Советская система ставит своей целью выявить «рациональное зерно» в каждом индивидууме, как можно лучше реализовать таланты, заложенные в народных массах. Конечно, страна не могла бы развиваться, не будь у нее этих ресурсов, это верно, но одновременно это и наша политическая установка.

...Спустились сумерки. Окно моего номера выходит на Братское море. На западе небо над темнеющим льдом розовое, выше оно цвета меда. Замерзшее море гладкое, голубовато-белое: то как цельное молоко, то как снятое. Когда достроят плотину, большой участок

земли рядом будет затоплен, вода подойдет почти вплотную к саду гостиницы, море поднимется на сотню футов и разольется еще дальше по низинам тайги. Странное это ощущение — чувствовать, что ты находишься в самом сердце Сибири. Братск стоит в далеком краю. Ночь не спешит с приходом.

Гладкий, белый лед все еще ясно виден в неполной ночной тьме. За морем низкие, темные горы и над ними черно-синее небо, лиловато-розовые просветы дают ему глубину. В ночном мраке много оттенков, от синего до черноты эбонита. Из-за моря доносится собачий лай — извечный, везде и всюду раздающийся лай, ломающий тишину и молчание. Сейчас все ужинают кто где: у себя дома, в общежитии, в столовой. А вода все всасывается в плотину, бешено вращает турбины, вырабатывая миллионы киловатт, и затем несется вниз, в непроглядный мрак ночной реки.

В дикую глушь принесли свет. Эти люди пошли войной на природу и оттягали у нее часть ее владений. Они выгнали бога из его логовища, высмеяли его плодотворным трудом и трезвостью ума, ослепили светом более ярким, чем когда-либо давало христианство. Русские говорят «до революции» и «после революции», как в Англии говорят «до» или «после рождества Христова». На самом верху плотины развевается небольшой красный флаг. Удивительная это мысль, что в последней войне на земле победит мир. Сибирь порождает оптимизм.

Мы ходили по городу, утром побывали в двух школах, рабочем клубе и детском саду, а вечером — в техникуме, кинотеатре и драматическом кружке. Солнце пекло, небо поыхало голубым пламенем, и хотя рядом было замерзшее море, я успел загореть больше, чем за целый год в Марокко. В одном классе на уроке английского языка я спросил пятнадцатилетних школьников, кто из английских писателей им особенно нравится. Они назвали Голсуорси, Джеймса Олдриджа, Дж. Пристли, Грэма Грина. Мы вели разговор по-английски. Одна девочка спросила, учатся ли цветные дети в Англии вместе с белыми или отдельно, и я объяснил, что в наших школах нет цветного барьера. Ученики были самых разных национальностей — русские, буряты, армяне, казахи.

Школа, если брать английские стандарты, хорошо оборудована. Образование в стране обязательное. С семилетнего возраста каждый идет в школу и должен окончить восемь классов. После школы они могут идти работать, но их рабочий день всего четыре часа, остальное время они учатся дальше, приобретают квалификацию, становятся токарями, шоферами, механиками или электриками. Я заходил в класс, где мальчики трудились у токарных, фрезерных и сверлильных станков. Такое количество прекрасного оборудования, какое было там, мне приходилось видеть лишь на хороших заводах. На уроках столярного дела к услугам учеников строгальные станки, ленточные и круглые пилы, тиски. В школьной электрической лаборатории я увидел инструменты, названия которых не знаю, в этих вопросах я разбираюсь плохо. Мальчики расспрашивали меня об английских школах такого же типа. Пришлось ответить, что мне о них мало что известно. Я рассказал, какой была школа, когда я был мальчишкой, много лет тому назад, и добавил, что с тех пор многое изменилось.

В Братске мне не попало на глаза ни одной церкви, но факт этот дошел до моего сознания, только когда я вернулся в Лондон. Пока я находился в Братске, я не замечал отсутствия церквей, хотя, может, в городе церковь все же имеется.

На стенах школьных коридоров — «стенгазеты», отпечатанные на пишущей машинке или писанные от руки и пестревшие рисунками самих учеников. Школьные новости, статьи по разным вопросам, отдел корреспонденции, обычно под особым заголовком или чаще — лозунгом.

Они были посвящены дню рождения Ленина, и темой их было «Ленин всегда с нами». Во второй школе я зашел в первый класс, где семилетние малыши сидели за партами и вклеивали в альбомы картинки, относящиеся к жизни и деятельности Ленина. Один из альбомов уже был отмечен как наилучший, и я получил его в подарок. Это толстая книга с плотными листами. На первом золотыми буквами надпись: «Ленин — наш учитель и друг». Внизу цветная картинка: Ленин (очевидно, уже после революции) сидит на скамье в парке. Рядом с ним маленькая девочка держит котенка. Ленин положил ей руку на плечо. Около них стоит мальчик, читая книгу, и они слушают его с живым интересом. В альбоме есть фотографии родителей Ленина, на одном

семейном снимке — Александр, старший брат, повешенный царским правительством как террорист. Смерть его оказала огромное влияние на жизнь Ленина.

Горький писал: «В России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство «спасения души», я не встречал, не знаю человека, который с такой глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастьям, горю, страданию людей... Для меня исключительно велико в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастьям людей, его яркая вера в то, что несчастье не есть неустраняемая основа бытия, а мерзость, которую люди должны и могут отместить прочь от себя».

В доме через дорогу — детский сад. Детей уже накормили и уложили спать. Прежде чем впустить в спальню, меня заставили надеть белый халат и марлевую маску. В комнате для игр у каждого отдельный шкафчик, помеченный рисунком — цветком или животным: читать малыши не умеют. Здесь лепят, строят из кубиков, вырезают из бумаги — обычные занятия. Во дворе детвора карабкается по лесенкам, забирается в фанерные домики, лезет на карусели, играет возле большого деревянного макета спутника, устремленного в небо.

Встав у самого порога длинной комнаты, я едва осмеливаюсь дышать через маску, чтобы нечаянно не разбудить спящих или не занести им из Европы какую-нибудь инфекцию. Кроватки стоят тесными рядами, дети спят в рубашонках. В комнате тепло, некоторые покрыты только простынками, отовсюду торчат голые руки и ноги. Сорок спящих детей уложены в постели для ежедневного полуторачасового отдыха, к которому они приучены. Один глаз открылся и глянул на меня. Как ни старались мы не нарушить тишины, все-таки нас почуяли, услышали. Мне хотелось уйти: как-то глупо вторгаться в чужую жизнь с таким явным намерением — посмотреть, как люди живут. Они живут хорошо, все у них о'кэй. Детей в этой стране боготворят. Ни при каких обстоятельствах их не подвергают в школе телесному наказанию, как это случается в Англии. Здесь это невозможно, полностью исключено.

В конце комнаты на стене портрет Ленина в раме. Политический деятель с бородкой и в рабочей кепке любовно охраняет покой этого приюта невинного детства. В глазах легкая усмешка, но губы твердо сжаты, как

будто, глядя на детей, он вспоминает погибшего брата, когда-то вот так же мирно спавшего в детской кровати в такие же тихие дни.

Я вторгся в класс вечерней школы, и изучение технических наук на этом уроке далеко не пошло. Вместо того чтобы продолжать занятия, ученики принялись задавать мне вопросы, потом отвечали на мои. Через десять минут комната, вначале наполовину пустая, оказалась битком набита юношами и девушками в возрасте лет семнадцати и старше — среди них было несколько и совсем взрослых. Во всем чувствовалась атмосфера «вечерней школы», девушки принаряжены, на молодых людях их обычная в нерабочее время одежда: пиджак и брюки, но без галстука. Кое-кто в свитере. Когда слышишь, что в Сибири возник новый город, думаешь: «Изумительно! Невероятно!» — и видишь перед собой здания и заводы, выросшие как по волшебству. Но как бы широко ни применялась современная техника (в Братске свои фабрики сборных и крупно-блочных домов), требуется время для прокладки канализационных труб на каждой улице и время на то, чтобы собрать и поставить дома. На все требуется много времени, мускульной силы, энергии. Чего стоит одна перевозка на грузовиках и по железной дороге сырья из мест за сотни миль отсюда! Чтобы все было реализовано, необходимо учить этих молодых людей в вечерних школах, необходимо давать им технические знания, которые в первую очередь и сделали возможным строительство в этом далеком краю.

Я обратился к нескольким учащимся с вопросом: что их привело в Братск? Одни, главным образом девушки, сказали, что слышали об этом строительстве, и мысль о нем их увлекла; они читали о нем, приехали сюда, им здесь понравилось. Некоторые признались, что их соблазнила высокая оплата труда, но полюбили Братск и остались, не захотели возвращаться в те города, где жили прежде. Некоторых девчонками и мальчишками привезли сюда с собой родители. А двое-трое заявили, что любят колесить по стране: может, потом, когда строительство здешней плотины будет завершено, они переберутся в Красноярск или Усть-Илимскую.

Я спросил, долго ли приходится ждать комнаты или квартиры молодоженам. Мне ответили: «Всего несколько месяцев, не больше». Молодежь живет в основном в общежитиях, их в Братске много. Большинство покидает

их, только когда женится. А женятся все, рано или поздно.

Я поинтересовался, какие они находят здесь развлечения. Летом часто отправляются в тайгу на весь выходной день, а то и на несколько дней, во время праздников, и живут там под открытым небом. На майские дни была намечена большая экскурсия, и одна из девушек пригласила меня присоединиться к ним. Они все будут очень рады, сказала она, если и я тоже пойду. Я ответил, что, к сожалению, должен скоро возвращаться в Москву, но мне бы очень хотелось пойти с ними. Они сказали: какая жалость... Я тоже сказал: какая жалость; может, когда я в следующий раз приеду в Братск...

Нескольких я спросил об их специальности. Среди них оказались электрик, шофер, разнорабочий, машинистка, лаборант. Они работают по семь часов в день. А вечером учатся.

Эта молодежь заставила меня вспомнить мои дни работы на заводе, потому что мне тогда тоже было семнадцать и энергии у меня, как и у них, было хоть отбавляй. Уйдя с завода и уехав из промышленного города, я утратил эту большевистскую энергию. А эти люди будут и дальше жить в обществе, где их поощряют к тому, чтобы они учились, ибо такова официальная политика страны. И в них эта энергия сохранится. И я почувствовал в них ту же силу, которая помогала мне в течение десяти лет, пока я стремился стать писателем и не встречал нигде ни поддержки, ни поощрения. Этот город молодежи дышит энергией и снова и снова напоминает мне о юности. Каким-то странным образом, заглядывая в будущее или, быть может, соприкасаясь с ним, я возвращаюсь к своему прошлому. Но, мне думается, если бы я продолжал оставаться заводским рабочим, я не испытывал бы сейчас тоски. Я просто ощущал бы свою близость с ними.

Я вижу столько людей, со столькими разговариваю, что кажется, будто я в Братске уже много недель и не один год живу в Советском Союзе. Лондон, Англия, моя семья, мое прошлое — все сметено бесчисленными и ошеломляющими впечатлениями, деревьями, ветром, машинами, льдом и строительством. В Братске говорят: «Здесь мы ставим дома», или: «Мы пускаем новый завод», или: «Мы построили плотину». А в Англии всегда слышишь только: «Говорят, в будущем году они соби-

раются строить муниципальные дома». Если бы я спросил рабочего в Ноттингеме: «Что это вы тут строите, приятель?» — он бы ответил: «Да вот они хотят ставить электрическую станцию», или: «Они опять строят новые конторы». В Советском Союзе я ни разу не слышал, чтобы мне сказали «они», все здесь говорят «мы», будь то писатель, заместитель председателя горсовета, боксеры в спортивном зале Братска, водитель такси, студент, работница, выкладывающая плитками пол в помещении электростанции в Волжске. Настолько-то я знаю русский язык, чтобы уловить разницу между «мы» и «они», «нас» и «их».

Под свирепым ветром лед темнеет. Весенняя пора. Теперь, когда льду грозит гибель, полосы троп и дорог на нем становятся отчетливее, будто едва приметное начало оттепели коснулось нижних слоев и под верхней ледяной корой оказалась талая вода. По ночам я вижу сны — вероятно, потому, что много езжу, а может, новизна обстановки снимает один за другим пласты с моего сознания. Здесь я чувствую себя дома, словно приехал на родину после долгих лет скитания по чужим краям. Тревожное, будоражащее чувство, но как писатель я ему рад. Это естественно, если столько разъезжаешь, повторяю я себе. Но все-таки тут что-то другое, уж очень глубоко оно меня задевает.

Тайга велика, горы круты, просторы необъятны. В Братске не сыщешь уроженца старше семи лет. Это новый город, и условия жизни в нем порождают социалистические формы, которые в европейской части России редко так отчетливо выражены. Сама изолированность их в тайге сближает людей. Русские даже до революции славилась своей общительностью, а здесь, в Братске, это свойство становится неплохим средством сохранить жизнеспособность: в далекой глуши люди тянутся к созданным в ней духовным и культурным ценностям, черпают из них сообща, возмещая этим отсутствие прошлого у этого края.

Вместо прошлого есть теперешний их уклад, который в конечном счете окажется сильнее. Слишком глубокое ощущение прошлого погубило бы их, привело бы к инертности и бесплодным воспоминаниям. Коллективная жизнь — позитивная общественная сила, она дает городу возможность расти и стать крепким, устойчивым организмом. Это вовсе не значит, что здесь живут скученно. В Братске достаточно домов и квартир, но

всех объединяет один центр, одна общая идея. Каждый точно знает, какая роль отведена ему в создании города. Этот центр, основная идея — близящееся завершение строительства плотины. Даже для тех, кто начал работать на ней семь лет назад, она все еще притягательное зрелище, они любят ее, гуляя по берегу, созерцают ее величие с уступов Ангарских гор, смотрят на сооружение, политое их потом, огрубившее их руки, забравшее их труд и время.

Для поэта перекрытие такой мощной водной артерии, как Ангара, столь же величественно, как пущенная вокруг Луны ракета. Ангара и Луна обе далеки и негостеприимны. Чтобы одолеть могучую силу реки и грандиозное расстояние до планеты, нужно вдохновенное провидение материалиста.

В день моего отъезда — необыкновенно оживленное сообщение между Братском и Иркутском. Один за другим в Иркутск вылетели восемь самолетов, каждый с десятью пассажирами. На аэродроме стояли и вертолеты — их используют для служебных целей, на трудных строительных участках и как санитарные машины. Пока мы ждали свой самолет, я видел, как один из вертолетов снялся с земли, повис над нами и потом с гулом двинулся за вершины деревьев. Последний раз я видел вертолет в воздухе в сентябре 1960 года — полицейские на нем наблюдали за антивоенными манифестациями на Трафальгар-сквере.

Я оказался в седьмом самолете. Пилот сказал:

— С добрым утром, товарищи. Мы полетим на высоте тысяча восемьсот метров и будем в Иркутске приблизительно через три часа. Сегодня немного болтает, так что, если понадобится, используйте бумажные пакеты.

Все время полета дверь в кабину пилота оставалась открытой.

Одну молоденькую девушку укачало тут же, едва мы поднялись в воздух. После обильной еды и выпитой водки я тоже чувствовал себя неважно, но был поглощен тем, что в последний раз вижу плотину, и жалел, что расстаюсь с нею. Внушительны извилистые, отлогие берега Ангара ниже по течению и песчаные отмели на усмирной реке, которую бетонная стена лишила ее половодья.

В Братске я с большим трудом отделался от модного журнала «Вог». В Лондоне мне кто-то сказал, чтобы я непременно захватил с собой пару номеров — в России, дескать, за них готовы отдать правую руку. Правая рука у меня имеется своя, но все-таки я взял несколько журналов в подарок. Мне было совестно предлагать в Братске бывший у меня с собой экземпляр. Сплошные рекламы: молодые женщины, тонкие, как палки, держат в отставленной руке белые перчатки или ведут на поводке подстриженного пуделя; молодые бездельники худосочного вида протягивают золотые зажигалки или сигареты или смотрят со страниц, полузадушенные модным галстуком, или в костюме для гольфа стоят, опершись на клюшку. Нескончаемые вереницы штанов для катания на яхте, ночных рубашек, хлыстов для верховой езды. Страница за страницей глянцевиной бумаги, и все на них ничтожно, пусто, неуместно, нежизненно, фальшиво — бумага слишком плотная, чтобы разжечь ею огонь, слишком гладкая, чтобы использовать ее в уборной. Было бы оскорблением предложить этот журнал здесь, в суровом, бурно растущем городе далекой Сибири.

Так я и оставил его в номере, чтобы его потом вышвырнули вместе с остальным бумажным сором, но в тот момент, когда наш автобус уже трогался, из двери дома выбежала уборщица, крича, что я забыл свой журнал. Что мне оставалось делать? Отречься от него? Еще арестуют за то, что я втихомолку занимаюсь распространением подобной литературы. Сказать, что это, должно быть, забыл американский фотокорреспондент? Нет, она знает, что журнал мой, ведь она нашла его в моей комнате.

— Он мне не нужен! — крикнул я. — Я его уже просмотрел. Выбросьте его!

Автобус двинулся по широкой, не до конца замощенной, обсаженной деревьями улице, а женщина у калитки гостиницы растерянно смотрела нам вслед, прижимая к груди последний номер журнала «Вог».

Снова в Москве

...За три недели Москва заметно изменилась. Когда я видел ее в первый раз, еще всюду были слякоть, грязь, покрытый копотью снег: стаивая, он оставлял угольно-черные полосы, следы зимы.

А теперь пришла весна. Все подсохло, подметено, светло и чисто: улицы — длинные ущелья зазеленевших деревьев, и повсюду глаз встречает газоны. Москва изменилась после весенней чистки перед майскими праздниками. Дома выглядят так, будто их вымыли, выскребли, просушили на свежем ветру. Везде красные флаги, звезды, эмблемы, знамена — алая ткань развевается на шестах посреди мостовой, на фасадах зданий. С самых почетных мест смотрят портреты Маркса, Энгельса, Ленина — трех великих братьев или отцов.

Когда я, возвращаясь, летел над Сибирью, мне пришло в голову, что Россия уже не тройка, как писал Гоголь, безудержно мчавшаяся по бесконечной степи к неизвестной и страшной судьбе, а воздушный лайнер, летящий в небе по плану и расписанию, управляемый твердой, умелой рукой.

Красные розы, знамена, лозунги вдоль всего прямого шоссе, ведущего к Москве. По сторонам — лесистые холмы. Канал уже очистился от ноздреватого льда, и между его зелеными берегами струится чистая вода. Въезжая в Москву, я заметил, что некоторых уже почти достроенных домов, безусловно, еще не было и в помине в первый мой приезд.

Журнал «Иностранная литература» выплатил мне аванс в пятьсот рублей за мой роман «Ключ от двери». Это составляет приблизительно сто восемьдесят пять фунтов, и мне предстояло истратить их в течение нескольких оставшихся дней. Я пошел в ГУМ — универсальный магазин на Красной площади, огромный двухэтажный пассаж. Я пробыл там несколько часов, нагружаясь покупками так, будто готовился к рождеству. Магазин переполнен: все покупают подарки к Первому мая, поэтому я делал выбор быстро и решительно. Список моих покупок получился длинный, и когда я, согнувшись под тяжестью свертков и коробок, вышел из магазина и направился к такси, я был похож на средневекового мародера с добычей. Здесь очень дешевы пластинки — около семи шиллингов штука вместо наших двух фунтов. Поэтому я купил «Ромео и Джульетту» и «Петю и Волка» Прокофьева, «Ленинградскую симфонию» Шостаковича и несколько сонат и квартетов обоих композиторов. Пластинки весили не меньше тонны. Я купил гаванские сигары, узбекские тюбетейки ручной вышивки, рубашки и блузки. Я увидел подстаканники, на них по золоту были выгравированы

изображения Новодевичьего монастыря и Кремля. Я хотел купить их целый набор, шесть штук, но их оказалось всего четыре; не слишком гоняясь за эстетическим равновесием, я взял эти четыре. Жене я купил серебряные мундштуки для сигарет, пудреницы и брошки, сыну — громадного сибирского плюшевого мишку горчичного цвета, двадцать куколок в национальных костюмах, веселого, разудалого Ваньку в широченных штанах и с балалайкой, надувных резиновых оленей и матросскую бескозырку, у которой спереди золотыми буквами написано: «Космонавт». Еще я купил черную меховую шапку, яркие шкатулки из Палеха и Федоскина, разрисованные художниками, когда-то писавшими иконы, набор намагниченных шахматных фигур, кошельки, платки, почтовые марки, плакаты на колхозные темы, портреты Ленина, сотни сигарет, книги, авторучку, трубочный табак, фотоаппарат, восемь комплектов пестро раскрашенных матрешек, которые вставляются одна в другую.

В Англии некоторые уверяли меня, что в России нечего купить, но, возможно, им просто ничего не было нужно. Я никогда еще не тратил столько денег за такой короткий срок. И вокруг все покупают, покупают... Трудно пробраться к прилавку. Предпраздничным настроением охвачен весь город.

В Москву приезжает Кастро с сотней кубинцев. Все только о том и говорят. Всюду видны портреты Кастро, лозунги на испанском языке, флаг Кубы.

Предмайское настроение действует заражающе. Это весенний праздник большевиков, официальный конец зимы — самый московский воздух пропитан им, он чувствуется на всех улицах. За три недели я посетил шестьдесят музеев, научных институтов и общественных учреждений, был на шестнадцати театральных представлениях, дал девять интервью, написал две статьи, заполнил заметками пятьдесят больших страниц, разослал десятки писем и почтовых открыток.

Я мечтал побездельничать, но все-таки поехал в Дом детской книги на улице Горького. Издательство «Детская литература», при котором он организован, выпускает в год семьсот названий книг для людей всех возрастов. Директор Дома мне рассказала:

— Каждый день мы получаем от детей двести — триста писем. Мы это поощряем, печатаем в каждой книжке обращение к юным читателям: «Напишите нам,

как вам понравилась эта книга». Дети выражают свои мысли с большой прямоотой и не боятся критиковать. Все эти отзывы мы внимательно изучаем, для этого у нас создан специальный отдел, учитывающий также и отзывы взрослых о нашей работе. Высказывая свое мнение о книге, дети попутно многое сообщают о своей жизни, о своих родителях, о своих мечтах. Они пишут нам: «Мне очень понравился ваш герой, и я бы хотел с ним познакомиться. Пришлите, пожалуйста, его адрес».

...Вечером после обильного обеда я лежал на кровати, слушал по радио речь Кастро, передаваемую с Красной площади.

Мне хотелось пойти посмотреть на него, но я не мог заставить себя подняться. Его испанский язык великолепен — ясный, ритмичный; четкие, лаконичные фразы врываются, как вспышки маяка, в отрывистые фразы советского переводчика. Испанский язык Кастро страстный, зовущий, это полная противоположность мертвому, жесткому, ломаному языку испанских полицейских и солдат, замучивших Гримау. Я ловлю обрывки речи:

«...Кубинская революция стала возможной только потому, что гораздо раньше совершилась русская революция тысяча девятьсот семнадцатого года. Вчера, когда мы были в Мурманске, мы увидели новый город, тысячи новых зданий. Но нам показали также фотографии, запечатлевшие Мурманск сразу после войны, без единого неразрушенного дома...»

Как видно, Кастро действительно замечательная личность. Он весь с головой ушел в борьбу — такие побеждают...

«... Будущее человечества — это будущее социализма и коммунизма... Слава Ленину! Да здравствует пролетарский интернационализм! Да здравствует дружба между кубинским и советским народом!.. Родина или смерти! Мы победим!»

Аплодисменты, разноголосые выкрики толпы. Небольшие облака на западе пылают в огне красного солнца, которое, казалось, подхватило слова Кастро и взяло их с собой в далекий путь. Оно спускается все ниже, срезая рваные края лохматой тучки, и оказывается почти на одном уровне с новыми строящимися домами; многочисленные краны вокруг них бездействуют по случаю Первого мая.

Народный праздник

Первое мая — праздник народных масс. На метро к площади Свердлова переполненные эскалаторы несут вверх сотни молодых людей. Девушки в желтых майках и белых юбках. Нарядные детишки с красными бумажными вертушками. Круглые лица, сияющие глаза. И все, выйдя из поезда и пройдя по мраморному вестибюлю, несутся вверх по движущемуся склону. Наверху давка, но толпа непрерывно движется к выходу на площадь. Улыбаются, болтают, а лестницы всё лезут и лезут вверх. Толпа всасывает в себя всех до одного.

Солнце горит золотой звездой на одной из кремлевских башен. Снаружи — густые толпы. Молодежь разбивается на группы: красные, голубые, желтые, белые майки, кое-где цвета перемешаны. Живая цветочная клумба колышется, как море, движется, шумит — огромный цветущий сад растущих людей.

По площади во всю ее ширину движется колонна демонстрантов. Все одеты по-праздничному. Кто в плаще, кто без, на головах кепки, фетровые шляпы; некоторые в одних рубашках, несут пиджак на руке. От всех районов Москвы, от всех учреждений, заводов, магазинов — людская масса с красными флагами под голубым куполом неба, колышущаяся, как горящее поле пшеницы в мирный летний день.

Вперед, вперед, вперед — люди, флаги, портреты. На плечах у взрослых дети в матросских шапках, с цветами и кубинскими флагами. Огромные портреты членов Президиума Верховного Совета. Бурные приветствия профсоюзам. Такая же овация комсомолу.

Демонстранты шагают весело и легко, но есть в этом и что-то торжественное. Советские люди знают, чего удалось им достигнуть, знают, и какой ценой.

Я вижу их всех: молодые буяны, люди интеллигентных профессий, рабочие, женщины — те, кто ремонтирует дороги, строит дома, замешивает бетон; закаленные, умные, несокрушимые русские люди, которых мы должны узнать поближе. Русские девушки и юноши прошлого столетия горели революционным идеализмом, жаждой служить революции — теперешняя молодежь уезжает на целину, на Дальний Север или отправляется в геологические экспедиции в девственные, кишасшие комарами сибирские леса. Исконное стремление русского человека служить делу осталось. Остались жизнеспособность,

гордость и добродушие. Широкая река Первомайского праздника течет через Красную площадь.

На мгновение я готов сам начать махать руками, выкрикивать приветствия, но нет, я только наблюдаю, я писатель. И я продолжаю строчить, исписывая листки моей записной книжки. Я боюсь, что в ручке кончатся чернила.

Кубинцы со своим барабаном. Все им машут. Огромный барабан перебивает ритм военного марша. Погода отличная. Бог милостив к сегодняшнему параду — и правильно поступает; скоро ему не останется места ни в одном уголке земного шара — и слава богу!

Три часа. Четыре часа. Легче шагать в рядах демонстрантов, чем стоять и смотреть. Возвращаясь с парада, я вижу, что на набережной за рекой над зданием английского посольства развевается флаг — в честь сегодняшнего праздника. И в центре его — лицо английской королевы, благосклонно взирающей на советских рабочих людей, которые сидят на краю газона, отдыхая. Они сворачивают свои знамена и транспаранты, складывают их на грузовики. Забираются в него и сами — их развезут по домам, где они отдохнут перед тем, как вечером пойти погулять по яркому, праздничному городу.

Это был день Первого мая, и все, что я мог, это сказать про себя словами Чехова:

«Боже мой, как богата Россия хорошими людьми!»

Возвращение

Самолет с ревом мчался вперед — нет, назад, вспять, сквозь облака, обступившие землю, вниз, к внезапно замелькавшим английским улицам. Домики, четкие перекрестки, городское движение... Страна так далеко ушла в своем развитии, так, точно в ней все прилажено и пригнано, что время стерло на ней следы развития. Она выглядит такой ручной и усмирненной по сравнению со всем тем, что мне довелось повидать за последний месяц. И мне казалось, будто я вернулся в далекое прошлое, назад в историю.

Ощущение это не покидало меня и после того, как я сошел с самолета. Шоссе и улицы с великолепным покрытием, а в Братске колеса грузовиков буксуют в грязи или гремят по здоровенным булыжникам. На та-

кие вот дороги требуются годы и годы, думал я. Здесь асфальтированы даже самые глухие улочки. Но одеты англичане не лучше и выглядят не более сытыми, и уж, во всяком случае, у них лица куда менее одухотворенные.

Это возвращение назад в историю подействовало на меня угнетающе. Вокруг тихая, спокойная мертвечина, уютный хаос, с которым смирились. Я снова в стране, где каждый занят только своим делом, где твой дом за определенную сумму становится твоей крепостью, где социальный прогресс тихонько бредет куда-то по беспорядку. На глаза мне попались рекламы. Весь месяц, целые четыре недели, я отдыхал от их крикливой вздорности, от этого конечного плода большой созидательной энергии. А впрочем, куда же девать излишки энергии? Немощенные дороги — признак того, что страна еще строится; рекламы говорят о том, что строительство в ней прекращено.

Целый месяц я не читал никаких газет, кроме «Дейли уоркер» и «Юманите», и мне было интересно узнать, что же произошло нового в мае. Оказалось, ничего. Газеты были заполнены обычными тривиальностями. Ничего не произошло. Я уже заметил, что так оно всегда бывает после долгого отсутствия. В толстых еженедельных и ежемесячных журналах статьи под привычными заголовками: «Трагедия левых», «Нужна ли обществу интеллигенция?», «Можем ли мы полагаться на бога?», «Посещение Берлина», «Лейбористы возвращаются к власти». В газетах нет никаких новостей для путешественников, для странников, уходящих на поиски истинной души Земли. Как только вы перережете пуповину и оторветесь от шумихи продавцов новостей, к вам возвращается подобие душевного здоровья. Я ездил по России как путешественник, и в Англию я вернулся таким же путешественником.

Я надеюсь еще раз увидеть Байкал, вдохнуть в себя бодрость Иркутска и Братска, переплыть реку под Волгоградом, зайти в магазины на Невском проспекте, еще раз взглянуть на сорок картин Рембрандта в Эрмитаже и побродить у кремлевских стен, когда вокруг лежит глубокий снег и горят фонари. И неплохо было бы сесть на пароход и проплыть по Волге от Горького до Астрахани, а потом к Баку, пересечь Каспийское море, дальше сесть на поезд до Караганды и Акмолинска, затем на сибирской «стреле» спокойно двинуться

до Владивостока. Меня приглашали целый год бродить по Сибири, до самой границы Монголии, среди озер и пустынных земель к юго-западу от Байкала. Еще меня звали поехать поохотиться.

Путешествие — вещь хорошая. Возможности неисчерпаемы. Но охота и писательское ремесло плохо вяжутся одно с другим, во всяком случае, для меня. Дорога на Волгоград широкая. Россия огромна, Советский Союз еще необъятнее. Ему под стать его гигантские самолеты, взмывающие в небо, в стремительном полете уносящиеся далеко за Волгоград.

1964

Аларик ДЖЕЙКОБ

Джейкоб, Аларик (р. в 1909 г.) — писатель и журналист. В период Великой Отечественной войны находился в Советском Союзе в качестве корреспондента английской газеты «Дейли экспресс». В 1960-х годах вновь посетил СССР и совершил вместе с английским художником-графиком Полом Хоггартом поездку по стране. На материале этой поездки он написал книгу «Русское путешествие», изданную в 1969 году с рисунками Хоггарта. Из других книг Джейкоба следует назвать роман «Сцены из жизни буржуазии» (1949) и сборник публицистики «Два пути в мире» (1962).

Очерк «Снова в России. От Суздаля до Самарканда» был передан вместе с рисунками в рукописи в редакцию журнала «Иностранная литература», который опубликовал его в переводе на русский язык (1967, № 10). Текст дается по этой публикации. Очерк вошел в книгу «Русское путешествие».

СНОВА В РОССИИ

От Суздаля до Самарканда

Мы с Полом Хоггартом собирались совершить путешествие по Советскому Союзу еще за много лет до того, как это стало возможным благодаря некоторому ослаблению «холодной войны». Впервые я приехал в Москву в 1943 году, вскоре после Сталинграда. За плечами у меня был двухлетний опыт работы военного корреспондента при 8-й британской армии в египетской пустыне. Несколько позже, но еще во время войны, я вновь вернулся в Россию, на этот раз — с одним из конвоев, доставлявших военные грузы в Архангельск. Немецкие подводные лодки потопили много судов вокруг нас, и мы все, включая даже тех, кто не испытывал большого расположения к советскому строю, были счастливы, когда ступили на русскую землю. Но вскоре после начала «холодной войны», в 1947 году, я уехал из Москвы, и вот возвращаюсь вновь после двадцатилетнего отсутствия.

Для тех из нас, писателей и художников, кто мог безоговорочно и искренне причислить себя к друзьям Советского Союза, эти двадцать лет не прошли гладко. Никому не были нужны наши книги и статьи, потому что наши взгляды не пользовались популярностью, а наши мнения вызывали подозрения. Однако мы верили, что погода изменится. Для меньшинства в Англии «холодная война» с самого начала представлялась бес-

смысленной. Теперь наконец большинство тоже стало разделять эту точку зрения. Наступили лучшие времена.

Когда мы с Полом в холодную, снежную ночь, проделав длинный путь от аэропорта, въехали в Москву, первое, что я ощутил, была растерянность. Город так изменился, что я не узнавал его. Огромные кварталы жилых домов и широкие проспекты напоминали мне Верхний Манхэттен, а когда шофер сказал нам, что мы проезжаем Химки, я начал тщетно искать глазами дереушку и пруд, где я бывал летом двадцать три года назад. И когда на следующее утро мы объехали город, нам стало ясно, что ни одна столица в мире не переживает в таком темпе и с таким размахом. Неприкосновенным остался лишь центр, где господствуют три отличных друг от друга стиля. Во-первых, стиль ампира, присущий старым дворянским особнякам на Арбате и на бульварном кольце. Эти дома были построены после 1812 года, а некоторые еще в XVIII веке. Во-вторых, стиль модерн, в котором построены Ярославский вокзал, гостиницы «Метрополь» и «Берлин», дом Рябушинского, где жил Горький, и московский Художественный театр, настоящий храм того периода, да еще несколько творений Гропиуса и Ле Корбюзье. В-третьих, монументальный стиль сталинских лет, который вышел из моды, но не исчез из виду, так как в то время строилось много зданий и даже были возведены небоскребы в стиле готики. Из этих архитектурных стилей самое большое впечатление произвел на нас стиль модерн, и, когда мы впоследствии осматривали Тбилиси, Киев и Ленинград, мы убедились в том, что архитектура этого стиля представлена в России шире, чем во всех других европейских странах. Будем надеяться, что она сохранится. Дворец съездов, гостиница «Юность» и новые высотные здания на проспекте Калинина свидетельствуют о том, что новому поколению архитекторов удалось создать строения четких и привлекательных контуров. Но маленькие ампирные московские особняки, а также здания во вкусе Леона Бакста, Обри Бёрдсли и Оскара Уайльда придают городу особое звучание, и, поскольку к ним относятся с уважением, Москва никогда не превратится в нечто вроде Нью-Йорка.

С первого дня приезда я начал принимать меры для того, чтобы восстановить связи с теми, кого я знал двадцать лет назад. Некоторые из моих старых друзей уже

умерли, другие вступили в новый брак или уехали из Москвы. Но когда мы пошли в Большой театр на репетицию, я встретил там прелестную Гердт, которая, несмотря на возраст, руководит балетным классом, и Марину Семенову, которая во время моего последнего пребывания в Москве как раз завершила свою блестящую карьеру, а сейчас репетировала «Шопениану» с самой юной звездой балета Натальей Бессмертной.

Мы побывали у Кукрыниксов в их студии на улице Горького и видели там огромную написанную маслом картину «Нюрнбергский процесс», которую художники сделали для выставки, посвященной 50-летию революции. Потом мы поехали в Дом ветеранов сцены — красивое современное здание, довольно удачно расположенное на шоссе Энтузиастов. Пока я беседовал с пожилыми дамами и мужчинами, имена которых некогда были знамениты, Пол рисовал их портреты. Лидия Нелидова-Февейская в последний раз танцевала у Фокина в Нью-Йорке в 1940 году. Ее муж был дирижером труппы русской оперы, которую создал в Америке Шаляпин. Ее небольшая комната увешана портретами дам с нитками жемчуга на шее и в шляпках с низкими полями, фотографиями времен расцвета Чарли Чаплина. В комнате напротив живет Геннадий Уваров, все еще красивый в свои семьдесят девять лет. Когда-то он участвовал в создании многих фильмов, а теперь страдает тяжелым сердечным заболеванием. Узнав о нашем приезде, он поднялся с постели, чтобы позировать Полю, и, пока сестра делала ему укол, а Пол продолжал рисовать, беседовал с восьмидесятипятилетним Владимиром Гордениным, учеником Станиславского, некогда игравшим Гамлета и Ромео в Художественном театре.

Дом ветеранов нельзя назвать печальным местом. Столетним старикам, которые живут там, есть о чем вспомнить, и, если бы я на старости лет оказался один, без семьи, я, вероятно, предпочел бы жить среди людей своей профессии, а не в обычном приюте для престарелых.

Пол и я решили начать свое путешествие с осмотра Владимира и Суздаля, чтобы составить себе представление о местах, где зарождалось Русское государство. Суздаль с его пятьюдесятью церквями и монастырями в настоящее время восстанавливается, и эти работы ведутся в более широком масштабе, чем восстановление древнего города Вильямсбурга в Соединенных Штатах,

основанного еще голландскими колонистами. Этот «город-музей», несомненно, в самом ближайшем будущем будет привлекать туристов из всех европейских стран, хотя он представляет интерес лишь в чисто архитектурном отношении, поскольку ни одна из его церквей не является «действующей». И тем не менее этому городу стоило бы посвятить отдельную главу как самому, быть может, богатому религиозно-архитектурному ансамблю, который нам когда-либо приходилось видеть. Но больше всего нас поразило в своем символическом значении Московский Кремль, который мы увидели теперь в его новом обличье. Мы слушали оперу во Дворце съездов, а в Кремлевском театре тоже шел спектакль, и в этот вечер восемь тысяч людей прошли через узкие крепостные ворота Кремля. Двадцать лет назад ничего подобного нельзя было бы себе даже представить. За четыре года, которые я провел в России, я был в Кремле только один раз — на сессии Верховного Совета. Когда же теперь я увидел, как в антракте тысячи москвичей сплошным потоком поднимались на эскалаторах в ресторан на верхнем этаже Дворца съездов, мне пришли на память пышные празднества в Зимнем дворце во времена царизма, о которых мне приходилось читать. Это была крепость, не доступная ни для кого, кроме правителей и духовенства. К строгой крепостной постройке, воздвигнутой Юрием Долгоруким, с годами добавлялись все новые более роскошные дворцы и церкви, и Кремль постепенно превращался в храм, являющийся символом русского народа.

Грузия

Грузины очень гордятся своим национальным поэтом Руставели. Профессор Тбилисского университета как-то сказал мне: «О нас говорят, что мы любим хвастать своим Руставели, но, если бы мы не кричали о нем во весь голос, кто бы нам поверил? Он непереволим. Мы утверждаем, что его можно поставить в один ряд с Шекспиром».

Мы познакомились в Тбилиси с немолодым уже американским поэтом Стэнли Кюницем. Он совершал поездку по Советскому Союзу и в разных городах читал свои собственные стихи и переводы Пастернака и Вознесенского. В Тбилисском университете послушать его

собрались четыреста студентов, изучающих английский язык, и они долго стоя аплодировали ему. Вместе с Кюницем и грузинским поэтом Нонешвили мы совершили далекую поездку в маленький городок Сигнахи в Кахетии, где Нонешвили был только что избран депутатом Верховного Совета. Мало кто из членов парламента может похвастать таким красивым избирательным округом. Городок стоит высоко на горе над широкой долиной, а на горизонте, словно облака, сияют белизной вершины Кавказского хребта, до которого отсюда шестьдесят километров. Долина утопает в виноградниках, и, когда мы спустились в нее, чтобы пообедать в одном из колхозов, нас угостили вином, которое нацедили из огромного чана в подвале. Мы пили из деревянных кубков, и наше пиршество с многочисленными тостами носило поистине гомеровский характер. Спрос на грузинские вина и коньяки колоссален не только в Советском Союзе, но и за границей, и колхозники, у которых мы были в гостях, уже очень зажиточны и в скором времени непременно станут богаты. У них в клубе играет свой хорошо оснащенный театр, а на примыкающем к клубу футбольном поле я разговорился с мальчишками, которые смотрели по телевизору матчи на розыгрыш международного кубка, передававшиеся из Англии, и называли свои команды в честь английских футболистов Бобби Чарлтона и Мура.

Мы с Полем очень полюбили Тбилиси. Гуляя по бульвару Руставели, залитому ярким солнечным светом, или разглядывая старинные здания на берегу Куры, мы невольно сравнивали этот город с Бухарестом или Софией, но тут же сознавали, что это сравнение не подходит. Грузия не похожа ни на одну страну. Ее веселых, жизнелюбивых жителей можно, правда, назвать «гасконцами» Советского Союза, но они не терпят никаких компромиссов ни в чем, что касается их национальной самобытности, и с глубочайшим уважением относятся к науке и искусству. Я познакомился со студентом-филологом, который в свободное время переводит на грузинский язык огромный труд Джеймса Джойса «Улисс». Я спросил его, сколько времени это займет. «Вероятно, лет пять,— ответил он.— Но если я посвящу какую-то часть своей жизни тому, чтобы сделать это сложное произведение доступным для нашего народа, быть может, когда-нибудь какой-нибудь гениальный ирландец откроет Руставели людям, говорящим

по-английски. Это можно сделать. Посмотрите, как перевел на английский язык Фицджеральд Омара Хайяма».

Ленинград

Последний раз я был в Ленинграде сразу после снятия блокады, в 1944 году. Немцы отступали по всему фронту, но финны упорно стояли всего в двадцати четырех километрах от города. Разрушенные дома были завалены снегом, градусник показывал двенадцать градусов ниже нуля по Фаренгейту, а в окнах гостиницы «Астория» почти не оставалось стекол. Продовольствия все еще не хватало, лица прохожих были бледными и изможденными. Я писал тогда: «Весь Ленинград является собой зрелище, при виде которого трудно удержаться от слез. Он опустошен, как Фландрия во время первой мировой войны. На много миль не видно ни деревца. Птицы не поют, им негде сесть. Вокруг торчат только обгорелые пни,— стволы деревьев срезало артиллерийским огнем — остались одни пни. Все исторические памятники разрушены. Петергоф уже никогда не поднимется из руин. От другого великолепного дворца Растрелли в Царском Селе остался один остов. Гатчина сожжена дотла. Когда Гитлер устремился к Ленинграду, шедевры Растрелли и Камерона оказались у него на пути, и они были стерты с лица земли. Главный архитектор города говорит, что «со временем все будет восстановлено», но кто воссоздаст агатовые паркеты Екатерины Великой или спальню царицы Марии Александровны с фиолетовыми стеклами и перламутровыми инкрустациями на полу? Где найти еще одного Растрелли?»

Что же, должен сказать, что я глубоко ошибался. Второго Растрелли не нашлось, но рядовые советские мастера изучили все секреты и приемы своих предшественников XVIII века, и в результате Петергоф выглядит сейчас почти в точности так же, как и раньше. Павловск восстановлен, и даже огромный Екатерининский дворец встал из развалин. Все это, очевидно, связано с колоссальными затратами времени и денег. По всей вероятности, только осуществление программы космических полетов обходится стране дороже, чем этот выполняемый с такой любовью труд. И, чтобы довершить его, потребуется, как мне кажется, еще лет двад-

пать. Восстановление Ленинграда было наиболее впечатляющим из всего, что мы видели за время нашего путешествия. В Ленинграде есть метро, которое по своей красоте и разветвленности уступает только московскому, а план реконструкции города столь же смел, как и план перестройки Москвы, но восстановление всех архитектурных ценностей России поражает больше всего, и я не думаю, чтобы нечто подобное оказалось возможным в какой-либо другой стране. Если бы у нас в Англии во время войны были разрушены Вестминстерское аббатство, Виндзорский замок и здание Хемптонского суда, едва ли общественное мнение поддержало бы проект восстановления этих памятников старины, а правительство, несомненно, отвергло бы подобный проект как чрезмерно расточительный. Чтобы осуществить то, что было сделано в Ленинграде, требуется огромное мужество.

Уметь строить космические корабли очень хорошо. Но когда люди в то же самое время овладевают художественными и ремесленными навыками двухвековой давности — это является свидетельством высокой культуры.

Самарканд и Бухара

Мое желание увидеть Самарканд основывалось на впечатлениях, полученных еще в детстве. Во-первых, в двадцатых годах в Лондоне я видел поэтическую драму Джеймса Элроя Флекера «Хассан», лейтмотивом которой была «золотая дорога в Самарканд». Во-вторых, когда я учился в кентерберийской школе, я сидел в том же классе, где всего двести лет назад Кристофер Марло получил свои первые сведения по истории, позволившие ему впоследствии написать «Тамерлана». Во время войны мне чуть было не удалось попасть в Среднюю Азию, но в последнюю минуту я получил телеграмму от своего лондонского редактора: «На что вам Бухара, когда Берлин уже у вас в руках?»

Ступив на асфальтовую дорожку аэропорта после ночи, проведенной в самолете Москва — Самарканд, мы сразу вдохнули чистый воздух азиатской весны. В глаза нам бил яркий свет, отражавшийся от снежных вершин Зеравшанских гор. Русские пришли сюда всего сто лет назад, но они освоили этот край не так, как англичане Индию — на несколько сот километров к югу от горного

хребта,— потому что они собирались осесть здесь и в отличие от англичан, которые не переставали тосковать по Девонширу или Кенту, не считали дни до того времени, когда смогут наконец выйти на пенсию и вернуться в европейскую часть России. И все же Самарканд чем-то напоминает английское поселение в Северной Индии — те же обсаженные деревьями улицы и уютные домики с верандами, построенные еще при царизме... Знаменитые самаркандские памятники навевают грусть, потому что почти все они посвящены умершим, и чаще всего не героям, а людям, стяжавшим дурную славу. Удивительно, что памятники вообще сохранились — ведь город разрушали одни завоеватели за другими: Александр Македонский, арабы, Чингисхан. Самый красивый из всех памятников — мавзолей Тамерлана с его великолепным голубым куполом, хотя по богатству и пышности оформления первое место занимает главная площадь, Регистан. По одну сторону этой площади стоит мечеть Биби-Ханым, построенная женой Тамерлана, китайской принцессой, в честь завоеваний Тамерлана в Азии, а по другую — медресе, мусульманское училище, в котором, по преданию, преподавал Улугбек, внук Тамерлана. Улугбек был величайшим астрономом своего времени, но муллы возненавидели его за передовые взгляды, и по их наущению он был схвачен на дороге и обезглавлен.

Неподалеку от площади Регистан помещается чайхана, куда мы зашли и где некоторые из посетителей любезно предоставили Полю возможность нарисовать их. Все они говорили только по-узбекски или по-таджикски, так что нам пришлось объясняться с ними жестами. Но их лица не могли не привлечь к себе художника, и одеты они были очень красочно.

Некоторое время спустя в чайхану зашел солдат, говоривший по-русски, и он объяснил нам, о чем здесь шел разговор. Оказалось, что в этом году празднуется 2500-летие основания Самарканда, и на празднование приглашены мэры всех древних городов мира. «Только древних?» — спросил я. «Да,— ответили мне с гордостью,— только такие города, как Рим, Дамаск и Афины, могут сравниться с Самаркандом». Очевидно, Тамерлан придерживался того же мнения, потому что построенные им вокруг Самарканда селения до сих пор сохранили такие названия, как Багдад, Париж и т. п.

От Самарканда до Бухары всего сорок минут лету. Самолет летит над зеленой, хорошо орошаемой долиной.

Бухара больше, чем Самарканд, походит на арабский город: глинобитные дома встречаются куда чаще, чем здания, облицованные изразцами, и повсюду чувствуется, что всего лишь сорок пять лет назад здесь властвовали самые жестокие и косные правители, каких знала история, — бухарские эмиры. Дворец эмира, Арк, является сейчас своего рода музеем жестокости: восковые фигуры изображают узников, заключенных эмиром в темницы, а на самом видном месте висит огромная плеть — символ эмирской власти. Но наиболее жуткое впечатление оставляет глубокое подземелье, в котором по приказу эмира в течение многих месяцев томились полковник Стоддарт и капитан Конолли, эмиссары королевы Виктории, посланные ею в Бухару в 1842 году. В подземелье кишели скорпионы и змеи, которых эмир разводил там для того, чтобы усугублять муки своих жертв. Впоследствии оба англичанина были казнены — как говорили тогда, за то, что они отказались принять мусульманскую веру. Однако узбекские историки, с которыми мне приходилось беседовать, полагают, что посланцы королевы Виктории явились жертвами тайной борьбы царской России и Великобритании за сферы влияния. Хотя Бухара была в то время нецивилизованным государством, ее эмиры владели колоссальными богатствами, потому что им было известно месторождение золота, которое они разрабатывали, используя для этой цели исключительно труд узников, чтобы никто не мог проведать, где находится золотой рудник. Если бы эмир заподозрил, что англичанам с помощью подкупа или какими-либо другими средствами удалось раскрыть тайну, он ни за что не выпустил бы их живыми. Царскому правительству расположение рудника, разумеется, не было известно.

В Бухаре вы на каждом шагу встречаете напоминание о смерти и о боге. На центральной площади возвышается Башня Смерти, с которой некогда сбрасывали преступников, приговоренных к казни, но с этой же башни муэдзины созывали верующих на молитву, а кроме того, она была и маяком: на вершине разводили костер, который служил ориентиром караванам в пустыне, направляющимся в Бухару.

Самое приятное впечатление за время пребывания в Бухаре оставила у меня встреча с преподавателем городского педагогического института литературоведом Саидом Алиевым. Я побывал у него в доме. На его

книжных полках я увидел произведения Шекспира, Бернса, Байрона и Бернарда Шоу. Господин Саид познакомил меня с двумя узбекскими поэтами, Ташпулатом Хамидом и Мурадом Халилом, которые пришли к нему, узнав о визите английского гостя. Несмотря на ранний час, нам устроили роскошное пиршество — было подано мясное национальное кушанье манты, а также груши, гранаты, орехи, халва и хлеб разных сортов, который наш хозяин торжественно разламывал и раскладывал вокруг моей тарелки. Оба поэта читали свои стихи, а господин Саид прочел несколько строф из Омара Хайяма на фарси. Они рассказали мне, что в первые годы после революции изучение узбекской литературы требовало огромного труда, так как до 1929 года узбекский язык знал только арабскую письменность. Позднее был введен латинский алфавит, а с 1940 года узбеки пользуются кириллицей. «Но первый бокал,— сказал господин Халил, с нескрываемым удовольствием оглядывая стол, который ломился от угощения,— я поднимаю не за нашего английского гостя, я хотел бы предложить благодарственный тост за то, что мой народ избавился от болезней. Это я ценю превыше всего. В нашей семье было одиннадцать детей, и девять из них умерло от разных заболеваний. Мой отец был писцом, он переписывал Коран и этим зарабатывал себе на жизнь. Мы жили в доме без окон и без печи, хотя зимой у нас иногда выпадает снег. Представлений о санитарии не было и в помине, и люди заболевали оттого, что пили загрязненную воду. Еды всегда не хватало. А при эмире до последнего времени в Бухаре было всего несколько врачей и больничных коек. Мы были не просто отсталым народом, надо прямо сказать — мы жили как нищие. Вы бывали уже в нашей стране, и сейчас вы объехали города, которых я никогда не видел, и, может быть, кое-что вас разочаровало, но для нас здесь, в Средней Азии, о разочаровании не может быть и речи: у нас произошли коренные перемены, впервые за всю нашу историю мы стали жить как люди».

Чарлз Перси СНОУ

Сноу, Чарлз Перси (1905—1980) — писатель, физик, государственный и общественный деятель; классик литературы XX века; лорд, пэр Англии; почетный доктор Ростовского университета (1963). Убежденный сторонник мирного сосуществования государств с различным общественным строем и культурного взаимообогащения народов, Сноу был другом Советского Союза, неоднократно бывал в СССР вместе с женой, писательницей Памелой Хенсфорд Джонсон, и внес большой вклад в дело популяризации у себя на родине советской литературы.

Крупнейшее творение Сноу — цикл социально-психологических романов «Чужие и братья», начатый в 1940 году одноименной книгой и законченный романом «Завершения» (1970). Из наиболее значительных частей цикла, дающего панораму жизни британской интеллигенции — научной, творческой, состоящей на государственной службе — и правящих классов, на русский язык переведены «Пора надежд» (1949), «Наставники» (1951), «Возвращения домой» (1956), «Дело» (1960), «Коридоры власти» (1964). В Советском Союзе изданы также его первая книга, детектив «Смерть под парусом» (1932, перераб. 1959), роман об ученых-физиках «Поиски» (1934, перераб. 1958) и роман «Лакировка» (1959), содержащий резкую критику поветрия моральной распущенности и вседозволенности, захлестнувшего Великобританию с конца 1960-х годов.

Ответ на анкету журнала «Иностранная литература» опубликован в этом журнале (1967, № 5) и дается по журнальной публикации. Приводим текст самой анкеты:

«В этом году исполняется пятьдесят лет со дня Октябрьской революции в России. Как это историческое событие отразилось — прямо или косвенно — на судьбах человечества и отдельных людей за минувшие полвека?»

Что черпают демократические силы Вашей страны и связанная с ними творческая интеллигенция в полувековом опыте социалистического строительства и развития социалистической культуры в Советском Союзе?

Какое влияние оказали идеи Октября на Ваше собственное духовное формирование?»

Статья «„Тихий Дон“ — великий роман» была впервые опубликована в «Литературной газете» 21 мая 1975 года и перепечатана в книге: Я видел будущее. Кн. 2. — М.: Прогресс, 1977. Текст дается по этому изданию.

ОТВЕТ НА АНКЕТУ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Пожалуй, я ограничусь ответом на ваш вопрос: он обнимает самое существенное и двух остальных.

Нет, безусловно, никакого сомнения, что Октябрьская революция — заглавное, определяющее событие XX ве-

ка. Оно повлияло на судьбы всех нас — независимо от того, живем мы в Советском Союзе или за его пределами. Один тот факт, что социалистическое государство смогло выстоять и, несмотря на трудности и препятствия, едва укладывающиеся в представления, превратиться в одну из двух «супердержав» мира, — сам этот факт имеет непреходящее значение. Быть может, пока мы еще даже не в состоянии увидеть его в широкой исторической перспективе. К концу нынешнего века наши дети и внуки смогут оценить этот гигантский процесс более точно, чем мы. К тому времени советское строительство достигнет новых рубежей. То же можно сказать и о техническом прогрессе, который со все нарастающей скоростью меняет облик западного мира. В какой-то степени эти перемены, хотя они и оказывают глубокое воздействие на жизнь общества, совершаются по законам собственной внутренней динамики, не связанной непосредственно с категориями политики. И в этом одновременно величайшая проблема, сложнейшая задача и — говорю это с надеждой, не вполне свободной от доли тревоги, — величайшая перспектива для последующих поколений человечества.

Хотел бы прибавить несколько слов лично о себе. Мне было двенадцать лет в пору Октябрьской революции. С юности я с пристальным вниманием слежу за прогрессом советского общества. Я радовался вашим победам и огорчался во времена ваших трудностей. Я удостоился особой чести быть занесенным в гитлеровские черные списки сразу по двум графам; если бы Красная Армия не разбила нацистов, сегодня меня не было бы в живых.

Меня всегда интересовали пружины действия политического механизма. Подобно большинству людей, интересующихся политикой, я понимаю, насколько сложен этот механизм (еще более сложен, чем сама физика, как говорил Эйнштейн), как трудны здесь предвидения. И однако долг каждого — сохранять чувство будущего. Человек без чувства будущего представляет опасность для всех нас. Через все трудности — сколько бы их ни было, как бы они ни были велики — советское общество всегда проносило веру в будущее. И это — самое сокровенное, самое дорогое в нем для всех людей доброй воли.

«ТИХИЙ ДОН» — ВЕЛИКИЙ РОМАН

Первая часть «Тихого Дона» была опубликована в Англии вскоре после того, как она вышла в Советском Союзе. У нас она появилась под названием «And Quiet Flows the Don» («А Дон тихо течет»), и в странах английского языка так называют с тех пор весь роман. Наименование это слишком цветисто, в нем нет благородства, заключенного в русском названии. Однако перевод самого текста романа, выполненный Стефаном Гэрки, безусловно, хорош; он был использован во всех последующих изданиях. В нем встречаются иной раз английские выражения, которые сегодня звучат несколько неуклюже и старомодно, но в целом он с такой естественностью передает авторский стиль, в высшей степени характерный, яркий, эмоциональный и колоритный, что кажется, будто книга никак иначе и не могла быть написана. Так и только так — вот формула, определяющая великое творение искусства.

Вероятно, справедливо будет сказать, что «Тихий Дон» потерял в переводе меньше других великих произведений русской литературы. И вероятно, английский перевод не уступает переводам на другие языки.

Книга с самого начала имела громадный успех. Все мы тогда же ее прочли. Она дошла до широчайшего круга читателей. Так было повсюду на Западе. Многим из нас она казалась не только первым великим романом, написанным в советское время, но и великим романом вообще, по любым стандартам. Это впечатление и теперь, спустя много лет, не изменилось.

У критики книга нашла самое теплое, безоговорочное признание, на какое только может рассчитывать современный роман.

«Тихий Дон» живет своей собственной жизнью. Конечно, не иностранцу предсказывать, какие именно русские произведения навсегда останутся в разряде классических, но, если эта книга не окажется в их числе, душе моей не знать покоя. В Англии с момента ее выхода в свет она никогда не исчезала из продажи, переиздавалась вновь и вновь. Если вы зайдете сегодня в любой порядочный книжный магазин в Англии, вы найдете ее в очень привлекательном пингвиновском издании. «Пингвин» — наша самая известная издательская

фирма, выпускающая так называемые «paperbacks» — маленькие компактные томики, которые теперь имеют гляцевитую иллюстрированную обложку. Весь «Тихий Дон» уместился в двух толстых книжках небольшого формата; дата последнего издания — 1974 год.

«Тихий Дон» — великий роман, но при всей легкости и блеске его внешней оболочки это роман загадочный и трудный. На первый взгляд речь в нем идет о растерянности простых людей — людей из плоти и крови, обуреваемых страстями, живущих в конкретное историческое время, в период конкретного всемирного потрясения. Однако если бы содержание книги этим исчерпывалось, ее не читали бы сегодня молодые люди за рубежом, для которых тогдашняя буря — если они вообще о ней что-либо знают — есть всего лишь глава в учебнике истории.

Если не ограничиваться одной лишь внешней стороной, то окажется, что роман сообщает нам нечто, имеющее всеобщее значение, хотя что именно, мы не можем с уверенностью сказать. Повествование представляется — опять-таки на первый взгляд — объективным. Здесь нет толстовских личных высказываний и философских комментариев, которые играют столь важную роль в «Войне и мире», независимо от того, согласны вы с ними или нет, и вносят в текст новые интонации.

Однако под внешней оболочкой «Тихого Дона» скрыто страстное субъективное восприятие жизни. Трагическое восприятие жизни. Я написал эти слова сознательно. Как у нас говорят, иной раз игру ясней видит тот, кто следит за ней со стороны. Великолепная концовка произведения — одна из сильнейших в мировой литературе трактовка темы смерти. Почти все люди, чья жизнь описывалась на страницах этого романа, теперь уже мертвы. Смерть — это неизбежный факт, с которым не поспоришь. Никому из них не помогла их поразительная жизненная сила. Последнее звено, связующее Мелехова с жизнью, — маленький сын. Это все, что соединяет его с будущим. Он может надеяться, что ребенок будет жить лучше в лучше устроенном мире. Его же самого ждет конец.

Это звучит гораздо более жестоко, чем, например, окончание «Войны и мира» или «Братьев Карамазовых». Только писатель, питающий суровое уважение к

истине, мог избрать такую концовку. И как это ни странно, она рождает у нас ощущение духовного подъема.

Последний том «Тихого Дона» вышел в свет в 1940 году, когда Шолохову было 35 лет; он был принят с таким же восторгом и нашел столь же широкого читателя, что и первая книга. Следует помнить, что Шолохов приобрел мировую славу спустя всего несколько месяцев по выходе первой части романа. Это случай необычный, но не небывалый. На Западе можно привести несколько сходных примеров. Пожалуй, наиболее известный среди них — это Диккенс. Когда он начал печатать частями свои «Записки Пиквикского клуба», ему было 24 года, то есть даже меньше, чем Шолохову в 1930 году, и за какие-нибудь несколько недель он стал в Англии фигурой национального масштаба.

Некоторые писатели словно бы рождаются «готовыми», им остается лишь вырасти, чтобы сказать то, что они имеют сказать. Одни писатели обретают зрелость в одном, другие — в другом возрасте, и менее везучие завидуют тем немногим, которые уже в молодости добились большого успеха.

Впрочем, не такое уж это безусловное благо. Если в двадцать лет с небольшим вы достаиваетесь всех наград, коими литература способна вас одарить, у вас вполне может закружиться голова. Так было с Диккенсом, хотя он был человек чрезвычайно самоуверенный. Как говорят английские спортсмены, достигшие в своем деле абсолютной вершины, оттуда путь только один — вниз. Для писателя вторая книга становится тяжким испытанием. Но «Тихий Дон» можно рассматривать как четыре полноценных романа.

Второй самостоятельный роман Шолохова — «Поднятая целина» (в английском переводе «*Virgin Soil Uplifted*»), — был опубликован в Англии в промежутке между двумя первыми и двумя заключительными книгами «Тихого Дона». К нему отнеслись с уважением, и расхвалился он очень хорошо. Однако о нем нельзя сказать, что он так же покориł на Западе людские сердца и так же несокрушимо противостоял натиску времени, как и первый роман (впрочем, совсем недавно его выпустили вновь, тоже в приятном пингвиновском издании), хотя, на наш взгляд, многие его страницы отмечены тем же самобытным блеском, что и «Тихий Дон».

а отдельные места исполнены той же волнующей душой силы.

Ну что ж, написать «Тихий Дон» — уже само по себе было достаточно великим деянием. «Поднятая целина» — еще один громадный роман. С тех пор производительность Шолохова снизилась. Подобного рода примеров также имеется великое множество, особенно среди писателей, проявивших необыкновенную одаренность в молодости; Диккенс на протяжении последнего десятилетия своей жизни напечатал сравнительно мало, хотя он умер, когда ему было всего лишь 58 лет. Толстой после «Анны Карениной» написал только один роман, да и то не особенно хороший. Мы мало что знаем о процессе высшей творческой деятельности, помимо того что он совершенно различен у различных писателей.

Мне хотелось бы добавить к сказанному и личную ноту. Думаю, что я — один из сравнительно немногих представителей Запада, лично знакомых с Шолоховым. В каждый свой приезд в Англию он бывал у меня дома. Он сидел возле моей постели, всячески стараясь подбодрить, когда мне предстояла отправка в больницу для глазной операции. Я имел удовольствие присутствовать при получении им почетной степени одного из наших старейших университетов. Он был, пожалуй, первым после Тургенева русским писателем, удостоившимся подобного признания, хотя после него эта честь была оказана еще двоим или троим (в том числе Чуковскому и шекспироведу Аниксту). Я часто встречался с Шолоховым также в Советском Союзе и пользовался его щедрым гостеприимством в станице Вёшенской на Дону. С тех пор как мы прочли «Тихий Дон», прошло так много лет, и как же приятно было провести несколько летних дней в тех самых краях!

Шолохов обладает замечательным остроумием, какого я не встречал ни у кого больше, — тонким и язвительным в одно и то же время. Он наделен также редкостным чувством юмора, столь ценным во взаимоотношениях между людьми. В споре он может быть порою резок, но при этом всегда остается вежливым и тактичным; улыбаясь, он заявляет: не будем пытаться переубедить друг друга.

Он не слишком жалуется любопытствующим чужакам, льстецам и подхалимов. С самой лучшей стороны он про-

являет себя тогда, когда имеет дело со своими, в особенности когда те приходят к нему за советом. и вообще со всяким, будь то даже странствующий чужеземец, кто попал в настоящую беду. Не в такую беду, которую он называет салонной. Он не любит салонной литературы — по отношению к ней он нетерпим. Но когда дело касается подлинной беды, вы не обнаружите и следа нетерпимости с его стороны...

1975

РОДИНА НАШЕГО БУДУЩЕГО

Почти всю свою жизнь я был писателем и романтиком, и большую ее часть я потратил на то, чтобы понять, что чувствует человек во время того или иного события, битвы, демонстрации, революции или просто в жаркий летний день.

Что произошло? Что вы чувствовали? В чем заключалась цель? — таковы вопросы, которые задает зачарованный человек, и именно эти вопросы я всегда задавал моим советским друзьям, которые видели Октябрьскую революцию и даже участвовали в ней и затем прошли через годы юности, молодости и зрелости первого социалистического государства.

В той или иной форме я хитро ставил эти вопросы таким моим хорошим друзьям, как Константин Федин, Алексей Сурков или Борис Изаков, которые так или иначе соприкасались с революцией, пусть даже в мальчишеском возрасте. Что они думали и чувствовали, какие были люди и как они жили в те времена? Ходили ли в ту пору трамвай, всегда ли на улицах можно было встретить солдат, как люди одевались, слышалась ли каждый день перестрелка, был ли у вас хлеб, видели ли вы Ленина, сознавали ли вы, что происходит?

Наверно, я задаю такого рода вопросы потому, что, если хочешь понять, надо чувствовать. Даже теперь, когда я пересекаю площадь перед Зимним дворцом в Ленинграде, мысленно я иду рядом с каждым солдатом и гражданином, с каждым врагом и другом, кото-

рые проходили по этой площади в 1917 году. Я ничего не могу с собой поделывать. В сущности я смотрю на 1917 год каждый день потому, что на моем письменном столе стоит картинка, изображающая взятие Зимнего дворца: бронеавтомобиль, люди, бегущие с винтовками и флагами, высокая колонна и луч прожектора, рассекающий небо.

Всю свою жизнь я прожил в мире, где перемежались социализм и капитализм. И почти на каждое историческое событие на протяжении моей жизни прямо или косвенно воздействовало существование Советского Союза. Для меня самое знаменательное — это то, что Советский Союз существует. Мир был бы мне ненавистен, если бы он не существовал.

В дни моей молодости капиталистический мир был настолько могуществен и так жаждал сокрушить социализм, что, откровенно говоря, мы не были уверены в том, что социализм уцелеет. Только победа Красной Армии во время войны с нацистами доказала, что он может уцелеть. Теперь же, когда уже нет сомнения относительно того, что социализм и Советский Союз уцелеют, роль первого в мире социалистического государства явно стала иной. Старые враги все еще ждут возможности сокрушить Советский Союз, если удасться, но теперь мы знаем, что они не смогут этого сделать.

Почему не смогут?

Ответ на этот вопрос по-прежнему очень прост. Ваш социализм пользуется широкой поддержкой вашего народа и многих миллионов людей за пределами вашей страны. В экономическом отношении ваше общество более устойчиво, чем наше. В военном отношении вы готовы отразить всякую попытку напасть на Советский Союз и превосходно вооружены для этого.

Но теперь, когда Советский Союз в состоянии сам о себе позаботиться, роль его друзей за границей тоже изменилась. Некогда мы все неизменно и безоговорочно проявляли слепую лояльность и приверженность всем сторонам советской жизни. Ныне, когда вы достаточно сильны, чтобы выдержать критику, мы можем сочетать свою поддержку и восхищение с критической оценкой. В этом нет вреда, напротив, если критика носит правильный характер, она может лишь помочь.

Я лично не стану критиковать Советский Союз публично, если только он не сделает что-нибудь столь не-

подходящее, что необходимо будет высказать критические замечания. Со многим я не согласен и буду сердито спорить с моими советскими друзьями, но на Западе и без того раздается достаточно голосов против социализма и Советского Союза по всем вопросам, чтобы я еще добавлял к ним мой голос просто в порядке демонстрации своей объективности. Так или иначе ваши ошибки не ускользнут от внимания ваших врагов, так пусть же они занимаются критиканством. Я к ним не примкну. Только если вы повредите другу, надо будет критиковать вас публично.

Я говорю все это, чтобы показать изменение роли Советского Союза как первой социалистической державы в плане его всемирного значения. Первое социалистическое государство безусловно является образцом для всех других, но не все будут точно копировать Советский Союз в построении социализма и даже в подходе к своему народу. Наш народ во многом отличается от вашего — в социальном, экономическом и историческом отношениях. Например, у нас в Англии на протяжении трехсот лет не было крестьянства в привычном смысле этого слова; мы сконцентрировали усилия на развитии некоторых специфических отраслей промышленности и создали особый тип квалифицированного рабочего.

По-моему, роль Советского Союза состоит в том, чтобы уцелеть и процветать в ваших собственных условиях и в то же время оставаться второй родиной для каждого честного социалиста и гуманиста-социалиста, где бы он ни находился. Иногда это трудная роль, потому что законные национальные интересы Советского Союза часто делают необходимым проведение такой внешней политики, которая требует очень терпеливого понимания со стороны мирового социалистического движения. И наоборот, многие требования мирового социалистического движения делают необходимым очень терпеливое понимание со стороны Советского Союза.

Все мы, очевидно, учимся жить на новой основе, и время от времени это будет вызывать неприятности. Но остается неизменным тот факт, что Советский Союз — как бы ни менялось соотношение сил — это первое социалистическое государство. И до тех пор, пока Советский Союз остается социалистическим, все мы будем защищать его от неуместной злобы капиталистических нападок. В этом не может быть сомнения.

Необходимость сохранения мира — это такая колоссальная ответственность, что, когда мы на Западе иногда склонны критиковать Советский Союз за какую-нибудь акцию внутренней или внешней политики, мы должны также делать скидку, потому что никто не совершенен. Признать ошибку — это здравый поступок, и я считаю, что в общем Советский Союз признает крупные свои промахи.

Вера в общество и в людей, которые несут ответственность за это общество, тоже имеет важное значение. Критика, которую мы подчас высказываем по адресу советских друзей, несущественная и обычно касается не важных сторон политики, а методов и образа действий. Это скорее различия, нежели разногласия.

Я хочу всем этим сказать, что мы учимся находить различные пути к одной и той же цели, не нанося при этом ущерба мировой борьбе за социализм. Мне думается, что терпение Советского Союза в минувшем году в большой мере способствовало этому делу, и нам известно, каких усилий это иногда стоило. Порой важно не только быть правым, важно, будучи правым, с терпением относиться к тому, кто ошибается, пока он не возьмется за ум. Иногда, конечно, мы тоже не правы, потому что терпение сейчас особенно необходимо для социалистов, живущих в мире, где всегда есть правые и неправые.

Я считаю неизбежным, что иногда мы тоскуем по тем временам, когда все было так просто, или, вернее, казалось таким простым. Теперь в политической области все становится более сложным и требует гораздо большего понимания и вдумчивости, внимания, дисциплины и умения разобраться. Это не значит, что мы должны сузить свои взгляды. Напротив, наше представление о будущем становится все более сложным, потому что мы постоянно расширяем свои воззрения и пытаемся вобрать самое лучшее из обширной сферы борьбы и надежд. Мы стараемся нащупать самый правильный путь.

Легко, оглядываясь назад, говорить о том, какие ужасные ошибки мы допустили, какие совершили поступки, как много растратили зря, но очень важно не забывать, каковы были условия в ту пору. Ретроспективный взгляд — вещь очень легкая, когда условия стали легкими. Я, конечно, не ставил под сомнение нашу

правоту в ту пору, когда Гитлер готовился уничтожать мир. Тогда не было ни времени, ни оснований для сомнений. Мы не смели сомневаться. Теперь мы можем оглянуться назад, и некоторые наши ошибки приводят нас в трепет. Но мы можем позволить себе роскошь оглядываться назад, только если мы будем помнить о том, каково было положение тогда, а не о том, каково оно сейчас.

Но мы изживаем свои ошибки, учась на них, и если социализм не будет учиться на ошибках, то, значит, никто не будет. В основе своей — это именно то, чему нас учит марксизм: диалектика действия иногда порождает любопытные противоречия. Я полагаю, что быть хорошим марксистом — значит предвидеть противоречия до того, как они примут дурной оборот, и соответственно перестроиться.

Другая задача нашей диалектики в этом смысле теперь заключается попросту в сохранении самого человечества. И, в конечном счете, это, быть может, самая большая ответственность, которую несет Советский Союз. Капитализм отчаянно беззаботно относится к судьбам человечества, хотя он, вероятно, и не хочет уничтожать себя. Но он идет на риск ради того, чтобы уцелеть, и если мы будем терпимо относиться к его опасным методам, это будет равнозначно самоубийству.

Нас спасет социализм, а не капитализм. Когда, например, капитализм спасет два миллиона людей, умирающих от голода в Индии? Никогда. Только когда Индия станет социалистической страной, будут спасены миллионы голодающих. Когда расизм погибнет естественной смертью? Только при социализме. Когда насилие и эксплуатация перестанут быть проблемой для человечества? Только при социализме. Когда осуществятся мечты, которые мы все еще лелеем? Только при социализме, и не иначе.

Это надежда, а не осуждение. У нас, в Англии, например, есть много превосходных и цивилизованных институтов, которые очень ценны не только для нас, но для всего человечества, хотя они возникали и не при социализме. Но все они порождены борьбой народа. В результате длительной борьбы за многие свободы в Англии мы обрели свободу. Никто не дал нам наших свобод, они всегда завоевывались в борьбе благодаря стойкости и решимости не уступить своих завоеваний. Потому наши лучшие институты — наши собственные, нам

некого благодарить за них, кроме народа, который за них боролся.

Социализм в Советском Союзе — это тоже плод усилий не только революционеров — русских, таджиков, армян, но многих людей, которые никогда в своей жизни не видели Советского Союза, не знали даже, что он появится на свет. Люди боролись за социализм сотни лет, и чаще всего без всякой надежды на то, что он когда-либо наступит. И все же он наступил, поэтому я рад, что живу сейчас, когда социализм реально существует в мире, а не раньше, когда не было ничего похожего, разве что в умах мечтателей.

Лично я — мечтатель, я мечтал всю жизнь и буду продолжать мечтать, но не о своей дорожке, а о пути для всех. Великолепно сказал Поль Элюар: «От горизонта одного человека к горизонту всех людей». Интеллигенты иногда склонны считать свой горизонт всеобщим горизонтом, но это не так. Объективно мы должны увидеть горизонты, выходящие далеко за пределы наших собственных узких интересов и гораздо более широкие, чем наше желание говорить только от своего имени.

В интеллектуальном плане мы не можем слишком усиленно предаваться детскому увлечению собственными словоизлияниями, если мы не хотим навсегда остаться людьми, занятыми игрой.

Мы не играем. Я думаю, что Советский Союз взял на себя роль человека, занятого работой. Жить полной жизнью — да! Экспериментировать — да! Постоянно расширять наши горизонты — да! Но принижать человека — нет! И обходиться с ним жестоко — нет! Угрожать человеку — нет! Уступать толстому брюху — нет! Жизнь — это и «за», и «против». Гуманизм имеет много окрасок, и идея, что советский гуманизм должен быть таким же, как христианский гуманизм, или капиталистический гуманизм, или вообще какой-то всеобщий, всеобъемлющий гуманизм, — ошибочна. Во всяком случае, по моему мнению, советский гуманизм не таков.

Жизнь советского общества демонстрирует всему миру сочетание необходимостей, которые породят когда-нибудь систему, где уже не будет основных противоречий нашей современной действительности. Таково ваше будущее, и мы надеемся — также и наше.

Я говорил вначале, что всегда старался понять, что чувствует человек во время того или иного события,

революции или в жаркий летний день. Чувствовать, в общем, относительно просто, трудно постигнуть событие. Без понимания чувство бесплодно, и радость, которую я всегда испытывал от того, что живу в наше время, отчасти проистекала не просто от удовольствия соприкасаться с жизнью, а от подлинно трудной задачи ее понимания.

Социализм — это нечто, достойное чувств понимания. И Советский Союз по-прежнему является родиной нашего будущего. Что до меня, то я храню ему верность не как русский, или таджик, или армянин, для которых он создание их собственных рук, а храню верность идее. Я живу ради социализма, и до тех пор, пока Советский Союз будет продолжать служить этой идее, он будет важнейшей частью моей жизни, и я постоянно благодарен ему за это.

1966

«ЭТОТ ФАКТ ИМЕЕТ НЕПРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ»

Склонность англичан к путешествиям известна давно — на карте мира немало имен британских мореплавателей. Наверное, во многом это объяснялось островным расположением королевства. В самом деле, ведь и сегодня, чтобы попасть из Англии в какую-нибудь страну, надо как минимум пересечь пролив, а это какое-никакое, а все-таки путешествие...

Классическая английская литература, можно сказать, прочно стоит на традиции рассказа о путешествиях. Известные нам с детства «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта, «Сентиментальное путешествие» Лоренса Стерна... А в результате чего родился на свет рассказ о необычайных приключениях Робинзона Крузо? Конечно же, все началось с путешествия...

Англичане до сих пор любят писать и читать книги о путешествиях. Недаром и в издательских планах, и даже в книжных магазинах нередко имеется специальный раздел — «Книги о путешествиях».

Именно поэтому книга, которая лежит сейчас перед вами, уважаемый читатель, естественна для ее английских авторов, которые в большинстве своем немало поездили по миру и с готовностью поведали об увиденном. И в то же время она, представляющая собой сборник очерков о поездке в СССР, — очень неожиданна. Она начисто лишена обычной предвзятости, свойственной подавляющему большинству авторов, пишущих в этом жанре и, как правило, глубоко убежденных в истонном преимуществе всего британского над любым небританским.

Многовековая географическая обособленность, устойчивость обычаев и привычек, над которыми сами англичане с удовольствием посмеиваются, но которые сохраняют... Постоянно формируют у англичан недоверчивое, подозрительное отношение к иностранцам и могущая, хорошо отлаженная пропагандистская машина, и тщательное сохранение традиций в большом и малом.

Один пожилой англичанин в беседе со мной сказал так: «Не забывайте, что мы живем на острове, и нам просто нет дела даже до остальной Европы, а о тех странах, что расположены на других континентах, мы и слышать не хотим».

Поразительно, но факт. Подобная психология живуча и дает о себе знать и в 80-е годы, когда как будто уже всем стало ясно, сколь мала и хрупка наша планета, и какие разрушительные мощности накоплены в военных арсеналах, и что не могут люди, где бы они ни жили, оставаться безучастными к тому, что происходит на другом краю земли.

И думается, те англичане, которые участвуют в демонстрациях протеста против размещения американских ракет, бóльшие патриоты своей страны, нежели те, кто традиционно продолжает полагать, что они живут на острове, отделенном от всего остального мира.

Но как бы то ни было, несмотря на то что в последние годы Англия переживает тяжелые времена, особенно в плане экономическом, она остается в глазах жителей Британских островов если уже не «мастерской мира», то во всяком случае «матерью парламентов», цитаделью свободы, одним из мировых оплотов цивилизации.

Складывавшаяся веками традиция превозносить преимущества британского образа жизни, подлинные и мнимые, сегодня в полной мере используется теми пропагандистскими службами, которые организуют и направляют антисоветские фантазии.

И как тут не вспомнить предостережение, сделанное В. И. Лениным одному из авторов нашего сборника — Артуру Рэнсому еще 1919 году. Ленин «выразил мнение, что в Англии не допустят, чтобы я говорил правду о России». Рэнсом приводит и точнейшее ленинское суждение о рецепте, по которому готовится ядовитая стряпня на антисоветской кухне: «...говоря о клевете, которую распространяют о России, Ленин заметил, что это главным образом извращенные факты, а не голые выдумки...»

Тут мне хочется сделать отступление. Но это — отступление, имеющее самое непосредственное отношение к теме. Ленинские слова в высшей степени справедливы и спустя более семидесяти лет, в чем мне довелось убедиться на собственном опыте. Бывая в командировках в Англии, я интересовался тем, как представляют образ нашей страны средства массовой информации.

«Метода» не слишком сложная. Скажем, пишет известный английский журналист из солидной, уважаемой газеты статью о московском метро. Казалось бы, не так-то и просто сказать о нем нечто дурное. Он пишет верно, что наше метро — самое дешевое и самое надежное в мире. Но, как будто по предписанному рецепту, тому, еще семидесятилетней давности, добавляет обязательную ложку дегтя — оказывается, в нашем метро «всегда жарко» и, кроме того, обычно «пахнет чесноком и водкой». Прочтя вышеозначенное, я, наивный, возмущился и начал опрашивать бывавших в Москве англичан, согласны ли они с такой характеристикой московского метро. Они, посмеиваясь, говорили, что ничего подобного не помнят. Но ведь это те, кто был, кто видел собственными глазами. Их сравнительно немного.

А остальные? Остальные вполне могут принять на веру свидетельства очевидца. Таков нехитрый и распространенный прием «частичной дезинформации» — широкоизвестные достоинства подаются сухо и скорсговоркой, их реальная ценность в публикуемом материале «снимается» личным опытом автора, пострадавшего от жары и запаха чеснока.

Особую роль в постоянной дезинформации о нашей стране играет телевидение. Практически каждую неделю по одному из его каналов демонстрируются фильмы, призванные убедить зрителя в том, что русские тупы, невежественны, а главное, агрессивны и вынашивают планы порабощения «свободного» Запада. Поскольку факты, подтверждающие выкладки натовских штабистов, найти невозможно, идея агрессивности русских облекается в «художественную» форму. В этих фильмах советские агенты орудуют в центре Лондона, намереваясь с помощью шантажа выведать важные военные секреты. А если действие переносится в Москву, что бывает нередко, то экран заполняют какие-то странные люди в малиновых халатах с кистями, какой, помнится, нашивал гоголевский Ноздрев, на ломаном русском языке отдают приказания подчиненным, одетым в мешковатые, плохо сшитые пиджаки, все время выпивают, приговаривая: «...на ваше здоровье».

Но, может, в литературе, в книгах все же обнаружится некий более объективный подход? Увы, многие пишущие о нашей стране следуют все тому же давнему рецепту дезинформации. Даже исходя из собственного

опыта пребывания в СССР, они вовсе не стремятся правдиво рассказать о том, что увидели. В этом плане очень показательна «документальная» книга «Москва, прощай» Джорджа Файфера, который был стажером МГУ, но, по его собственному признанию, почти не посещал профессорский зал Библиотеки имени Ленина, куда его, аспиранта, с нашей обычной щедростью и гостеприимством записали. Основное содержание книги составляет достаточно однообразное описание походов героя с дамами сомнительных моральных принципов. Где тут фантазия, а где истина, судить трудно, но зато есть необходимый для западного рынка налет сенсационности. Подумать только, чистого и порядочного американского юношу развратили в... Москве. Справедливости ради надо сказать, что Файфер не отрицает существования нормальных студентов, интересующихся наукой, будущей специальностью, но вот как раз они-то его совсем не привлекали, дружить с ними ему было, видите ли, скучно. Тянуло его не к книгам, театрам или музеям, а к выпивке и «веселому» времяпрепровождению. Вот эти-то похождения он и обнародовал, проявив при этом высокомерное презрение ко всему советскому, презрение недоучки, полагающего себя суперменом, не ссблаготившего по-настоящему взглянуть в лик страны, историей которой он как будто намеревался заниматься.

Впрочем, и творения Файфера, и сам он остались бы на уровне курьеза, когда бы не были, к сожалению, отражением достаточно распространенного не только в США, но и в Великобритании предвзятого подхода к нашей стране.

Довольно известная журналистка Нора Белофф выпустила книгу, повествующую о поездке по СССР, — «Русское путешествие ни с чем не сравнить». Что же сближает эту, претендующую на широту охвата материала, книгу с сочинением Файфера?

Оба автора откровенно не любят СССР, Россию. Так спрашивается, зачем ехать, зачем писать? Только потому, что посылают и неплохо заплатят?

Никак не понимаю людей, которые занимаются страной и ее культурой, не испытывая к ней хотя бы определенного пристрастия.

Двадцать лет изучая Великобританию и ее литературу, я люблю тихие переулки и уютные скверы Блумсбери, круглосуточную суету Пикадилли и Лейстер-сквер, немного надменную опрятность белых домов Челси и

Кенсингтона — многоликий Лондон, готовый каждый миг предстать перед тобой совсем иным. Нельзя остаться равнодушным к красоте седой старины Эдинбурга, строгой деловитости Ньюкасла или Шеффилда. Любя страну и уважая ее трудолюбивый, талантливый и веселый народ, хочется понять, почему безработица в Британии перевалила трехмиллионный рубеж, почему индустриальное сердце державы на севере стучит с тяжелыми перебоями?

Ставила ли себе цель Нора Белофф понять и правдиво отразить нашу жизнь? Перед поездкой она отправилась за инструкциями, рекомендациями и идеями в Мюнхен, на радио «Свобода»... Заданный камертоном «Свободы» взгляд и доминирует на страницах ее книги. Конечно, нельзя отрицать очевидные факты — самая низкая в мире квартплата, низкие цены на общественный транспорт. Дезинформация же умело дозируется. Скажем, вместо признания повышенного спроса на произведения художественной литературы речь идет об «ограниченности тиражей» книг западных авторов. На деле же эти «ограниченные тиражи» раз в десять больше тех, которыми эти произведения издаются у себя на родине, ибо средний тираж английского романа в настоящее время не превышает четырех тысяч экземпляров, а у нас стотысячный тираж для романа или сборника рассказов обычное явление. Да что говорить об изданиях на русском языке, когда мы издаем английских писателей на английском языке тиражом 50 тысяч экземпляров! Наши тиражи поражали и поражают западных издателей.

Нора Белофф видит коварство и злой умысел даже... в нашем традиционном гостеприимстве! В самом деле, западному прагматическому уму бывает нелегко понять, с какой стати малознакомый человек приглашает иностранца обедать. Но мне повезло на друзей в Англии, они совсем не похожи на госпожу Белофф, они радушны, гостеприимны и искренни.

Опытная журналистка недоумевает: почему обычные советские люди, с которыми она так стремилась общаться, выражали свое неудовольствие теми разговорами, которые она с ними заводила?

О, как прекрасно изучил я эту манеру общения так называемых английских либералов, более всего озабоченных развитием демократии и защитой прав человека где угодно, только не у себя дома. Их велеречивые,

демагогические тирады представляют собой не что иное, как прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны, нетерпимость к иной политической системе, сознательное неуважение наших законов. Нора Белофф не без гордости сообщает о том, как проехала на троллейбусе без билета. Хотел бы я посмотреть, как бы ей это удалось в «свободном» Лондоне...

Сочинения подобного типа всегда производят на меня странное впечатление. Каким же грандиозным запасом самоуверенности нужно обладать, чтобы, приехав на несколько недель в чужую страну, поучать ее граждан, объяснять им, как должно организовать их жизнь!..

Отступление мое, право же, затянулось, но нельзя промолчать о том, с каким постоянством и усердием многие английские средства массовой информации преподносят своим читателям или зрителям полуправду-полужуть, а то и откровенную фальсификацию. И самое печальное, что немало людей попадают на эту пропагандистскую удочку. Примеров совершенно абсурдной лжи, принятой на веру, можно привести великое множество. Помню, как портье в одной из лондонских гостиниц сетовал на то, что у нас иностранцам одним не разрешают гулять по улицам, а то бы он с большим удовольствием приехал бы посмотреть архитектурные памятники Ленинграда. Хочется верить, что я разубедил его... Но, вспоминая тот и многие другие случаи, еще раз понимаешь, как прав был Ленин тогда, в далеком, незабываемом 1919 году! До сих пор ох как нелегко опубликовать в Англии правдивую статью о нашей стране!

Тем важнее и ценнее эта книга, написанная людьми разных взглядов и убеждений, которых объединило одно — искренний, непредвзятый интерес к первой в мире стране социализма.

Совершенно естественно, что их как магнитом притягивал образ вождя революции Ленина. Из очерков Рэнсома, Уэлса, Линдсея встает образ живой и многогранный. Человека огромного, планетарного масштаба и в то же время в высшей степени земного, живого, веселого и обаятельного. Тем, кому посчастливилось видеть Ленина, общаться с ним, удалось почувствовать, каким поразительным оптимизмом была проникнута вся его деятельность в голодной, разрушенной России.

Рэнсом пишет: «Его морщины — морщины смеха, а не горя. Я думаю, что это именно так, ибо он первый великий вождь, который полностью отрицает значение своей собственной личности. Ему совершенно несвойственно честолюбие. Более того, как марксист, он верит в народное движение, которое с ним или без него все равно будет поступательным... Поэтому он свободен, как не был свободен ни один выдающийся человек до него. Доверие к нему рождает не столько то, что он говорит, сколько эта ощущаемая в нем внутренняя свобода и это его бросающееся в глаза самоотречение». Какой силой убеждения, какой выдающейся прозорливостью нужно было обладать, чтобы заглянуть в будущее, разглядеть в дымке его строгий и точный контур! Уэллс говорит о том, что Ленин «во время нашей беседы почти заставил меня поверить в свое предвиденье».

Честный скептик Уэллс сомневается в возможности воплощения того, что видит Ленин: «...он видит, как вместо разрушенных железных дорог возникают новые, электрифицированные магистрали, как по всей стране прокладываются новые шоссейные пути, как создается новое, счастливое коммунистическое государство с могучей промышленностью».

История нашего государства, сумевшего, несмотря на все попытки империалистов, приостановить или хотя бы замедлить наше движение, за удивительно короткий срок дважды подняться из руин, служит лучшим подтверждением великой ленинской правды.

Рэнсом, да и Уэллс все же сумели увидеть в молодых, голодных и плохо одетых и обутых революционерах необыкновенную силу. Несмотря на голод и разруху, эти люди были жизнерадостны, деятельны, активны. В боях они добыли свободу и трудились день и ночь, чтобы построить свое, свободное от эксплуатации государство.

Английским писателям и публицистам, представленным в этой книге, пришлось стать свидетелями самых тяжелых и драматических лет нашей истории — революция и первые послереволюционные годы, Великая Отечественная и опять годы восстановления разрушенного. Будучи объективны и правдивы, они нигде и никогда не умалчивают о наших трудностях и заботах, нигде их не приукрашивают.

Что же сближает все материалы, написанные людьми разных политических ориентаций и масштабов даро-

вания? Все авторы отразили самое главное — новое для истории человечества — *чувства и действия победившего народа*.

Так что же, все, что писалось в те, уже далекие или сравнительно близкие годы, принадлежит прошлому и имеет только историческую ценность? Вовсе нет. Повествуя о событиях, удаленных во времени на десятилетия, книга как бы ежеминутно перебрасывает мост в современность. Ум, честность и писательский талант стали основой, цементирующей этот мост эпох.

Бернард Шоу еще тогда заметил основную цель нашего общества — создание нового человека, — заметил и сказал об этом со своим обычным юмором: «У этого создания рот почти такой же, подбородок, уши и глаза мало чем отличаются, но внутренности работают не по-американски. В особенности поразительно отличается сознание, так что достижения, которые являются гордостью Америки, русскому кажутся гнусным хвастовством».

В шуточной форме Шоу высказывает мысли куда как серьезные: «Они настолько свободны от всех ваших забот и беспокойств по поводу всяких дел, ренты и налогов, что могут себе позволить быть ласковыми с вами, и они настолько горды своими коммунистическими учреждениями, что чрезвычайно охотно будут их вам показывать».

Сегодня мы, может быть, еще в большей степени, нежели в годы, о которых писал Шоу, способны оценить, сколь многим мы и в самом деле имеем право без ложной скромности гордиться. И не только учреждениями. А прежде всего — чувством уверенности в завтрашнем дне, знанием, усвоенным с самых детских лет, того, что у нас всегда будет кров над головой, всегда будет работа, оплаченный отпуск, бесплатное медицинское обслуживание, пожалуй, самые дешевые в мире лекарства. И наверняка самый дешевый в мире транспорт. И многое другое... Мы так привыкли ко всему перечисленному, что воспринимаем все эти блага как естественные. Что ж, наверное, так и должно быть. Тем более, все эти права гарантируются нашей Конституцией. И наш заработок несколько не зависит от колебаний на валютных биржах Лондона, Нью-Йорка или Цюриха. Словом, государство наше с тех пор, когда писал Шоу, укрепилось, принципы, сформулированные в первые годы Советской

власти, нашли в последующие десятилетия свое развитие и воплощение.

И еще одну вещь я понял, перечитывая ироничные строки великого драматурга. Не один год беспокоила меня одна из загадок английской жизни — многие мои знакомые, люди вполне обеспеченные, очень часто повторяли: «Мы не можем себе позволить это», — причем речь шла о вещах далеко не экстраординарных для той общественной прослойки, к которой они принадлежали, — ремонт дома, замена автомашины на более современную модель, путешествие во время отпуска и т. д. Теперь я, кажется, понял природу их вечной озабоченности и, конечно, не скарденности, а — скажем так — никогда не отпускающего чувства бережливости, постоянной и нервной своего рода калькуляции. Современное капиталистическое общество, так называемое «общество потребления», создает подавляющему большинству своих членов состояние, близкое к стрессовому.

С одной стороны, от тебя настойчиво требуют всегда и везде покупать, не останавливаться в этой потребительской гонке. Коммерческая реклама, обрушивающаяся на тебя, скажем, с экрана цветного телевизора, во многих случаях сделана просто мастерски, а иногда, не боюсь этого слова, талантливо. Авторы этих рекламных телероликов в высшей степени убедительно обосновывают «настоятельную необходимость» приобрести, и притом немедленно, именно данный товар. Но потребительские возможности даже вполне обеспеченных людей, как нетрудно представить себе, в сущности, ограничены. Реальные ножницы между навязываемым бесконечным предложением и действительным, возможным спросом и порождают парадоксальный потребительский синдром, заставляющий людей постоянно концентрироваться на проблемах приобретательства.

С другой стороны, в «обществе потребления» безраздельно царствует неуверенность в будущем, масштабы и глубину которой нам невозможно даже представить. Писатель, актер, режиссер могут утратить имевшуюся популярность, выйти из моды и оказаться в буквальном смысле без средств к существованию. Помню, как в ответ на мои самые искренние комплименты по поводу высокого уровня игры достаточно заурядной и малозвестной театральной труппы, я услышал: «А как может быть иначе при таком количестве безработных актеров в стране?»

А что сказать о преподавателе, инженере или банковском служащем? Призрак безработицы маячит перед нами всю трудовую жизнь. Отсюда демонстративная бережливость во всем, неотпускающие думы о «черном дне», безрадостной старости...

Эти думы посещают не только рабочие пригороды Ньюкасла и Ноттингема, но и уютные кофейни и пабы богемно-артистического Челси.

Никогда не забуду, как всемирно известный писатель, человек далеко не юный, сказал мне: «Представь себе, все эти годы мои книги продолжали покупать...» Он не оговорился — он не имел в виду «читать». Речь шла именно о том, что его сложные и трагические книги имели странный, по его мнению, коммерческий успех.

Находящийся на самом гребне популярности писатель и журналист делает регулярные взносы в частный пенсионный фонд, откуда ему в старости будут платить пенсию, — надежды на государство «всеобщего благоденствия», увы, нет.

Бернард Шоу был больше чем прав — нам, советским людям, нет нужды думать не только о «рентах и налогах», но и о многом другом, о том же, к примеру, пенсионном фонде.

Еще один мудрый и зоркий человек — Герберт Уэллс сумел понять в голодной и разоренной России первых послереволюционных лет главное: «Должен сказать сразу, что в настоящее время это единственное правительство, возможное в России. Только оно одно воплощает в себе идею, только оно еще дает России основу для сплочения. Но главное не в этом. Для западного читателя важнее всего тот печальный и грозный факт, что общественно-экономическая система, построенная по образу и подобию нашей, а также тесно с нею связанная, потерпела крах».

Закономерность краха монархической и капиталистической России, о которой сурово и беспощадно сказал крупный писатель, сегодня ясна многим миллионам людей во всем мире. Уникальный опыт первой страны победившего социализма в наши дни служит не только вдохновляющим примером, но бесценной сокровищницей знаний, откуда черпают народы стран разных континентов, выбравшие некапиталистический путь развития.

Герберту Уэллсу открылась не только логика и правда революции. Емким и точным писательским словом он пригвоздил к позорному столбу Истории ее многочислен-

ных врагов: «Но должен сказать сразу, что разоренная Россия отнюдь не подверглась нападению некой разрушительной и зловещей силы. Прогнивший строй сам по себе пришел в упадок и рухнул. Не при коммунизме, а при капитализме построены нелепые громады этих городов. Не коммунизм вверг эту гигантскую, пошатнувшуюся, обанкротившуюся империю в опустошительную шестилетнюю войну. Это сделал европейский империализм. И не коммунизм подверг истерзанную и, быть может, погибающую Россию непрерывным нападениям платных наемников, интервенции и мятежам. не коммунизм стиснул ее в кольцо жестокой блокады. Мстительный французский кредитор, тупоголовый английский журналист гораздо более ответственны за ее смертные муки, чем любой из коммунистов».

Платные наемники, интервенции, мятежи, блокады...

Приемы и методы империализма остались без изменений. Достаточно вспомнить Вьетнам, Чили, Кубу, Ливан, Сальвадор и Гренаду...

И разъясняя за рубежом политику СССР в области обороны, приходится нередко напоминать, чьи солдаты участвовали в интервенции, ставившей целью задушить молодую Республику Советов...

А сколько раз нам предсказывали неминуемую гибель и притом безапелляционно называли конкретные сроки! Хотя лжепророки оказались посрамленными и страна наша продолжает свой уверенный путь в коммунистическое будущее, не перевелись еще на Западе политики, видящие в СССР «империю зла» и тешащие себя несбыточной надеждой изменить наш строй на западный лад.

Верным показателем гуманизма социалистического общества является его бережное отношение к культуре, духовному наследию, в том числе не только своего народа, но и всех других. Именно Герберт Уэллс заметил и зафиксировал эту черту нашего государства и, проведя сопоставление со странами, считающимися в западном мире «оплотами цивилизации», резко и определенно высказался в пользу культурной политики молодой Республики Советов.

Просто поразительно, насколько справедливым, можно сказать, пророческим оказался сегодня его вывод. Уэллс писал: «Сейчас в России никто, кроме нескольких поэтов, не пишет книг, никто не рисует картин. Но большинство писателей и художников нашли себе при-

менение в подготовке грандиозного издания русской энциклопедии всемирной литературы. В этой удивительной России, измученной войной, холодом, голодом и тяжкими невзгодами, всерьез делается большое литературное дело, которое немыслимо сейчас ни в богатой Англии, ни в богатой Америке. В Англии и в Америке практически перестали выпускать хорошие книги в общедоступных изданиях «ввиду дороговизны бумаги». Духовная пища английских и американских масс оскудевает, становится все низкопробнее, и никому из власть имущих нет до этого дела. Здесь большевистское правительство по сравнению с ними оказалось на высоте. В голодающей России сотни людей работают над переводами, их переводы набираются и печатаются, и, быть может, благодаря этому новая Россия так глубоко ознакомится с сокровищницей мировой мысли, что оставит позади все другие народы. Я видел некоторые из этих книг, а также работу переводчиков. Я написал «быть может», так как у меня нет полной уверенности...»

Простим знаменитому фантасту известную долю скептицизма...

Сегодня мы по праву гордимся тем, что наша страна — самая читающая в мире, что культурные ценности других народов стали достоянием наших читателей и зрителей. Примеров тому несть числа. Приведу один, хотя бы потому, что он непосредственно связан с Англией и ее литературой.

В феврале 1984 года автору этих строк довелось принимать участие в выставке книг английских авторов, изданных в СССР. Эта выставка была устроена в Лондоне по инициативе Британского общества культурных связей с Советским Союзом. Подобная выставка проводилась впервые и вызвала большой интерес, что, впрочем, неудивительно. За годы Советской власти книг английских авторов издано в нашей стране, прямо скажем, немало. Красноречив, казалось бы, сухой язык цифр!

На 46 языков народов СССР переведены произведения более 300 писателей Великобритании. Издано 4686 названий книг общим тиражом 323 миллиона 304 тысячи экземпляров. Произведения Шекспира издавались 411 раз на 29 языках общим тиражом 11 766 тысяч экземпляров, Диккенса — 281 раз на 19 языках общим тиражом 30 865 тысяч экземпляров, Уэллса — 253 раза на 21 языке общим тиражом 18 559 тысяч экземпляров...

Знай эти цифры Уэллс, он, пожалуй, признал бы свой скептицизм излишним.

Как же проявляет себя тенденция, подмеченная Уэллсом в западном обществе, в наши дни? «Оскудевает» ли «духовная пища английских и американских народных масс»?

Мы порой не отдаем себе отчета в том, насколько в реальности подчинены коммерции современная литература и искусство в развитых капиталистических странах Запада. Многие издательства принадлежат крупным компаниям, производящим электронное оборудование или стиральный порошок. Исходя из внутренней извращенной логики капитализма, книга, как любой другой товар, должна давать прибыль, а еще лучше сверхприбыль. Тут уж не до заботы о том, насколько доброкачественна «духовная пища», поставляемая на рынок. Подобный откровенно коммерческий подход несет роковые последствия для морального состояния общества. Литература перестает быть учебником жизни, в котсром читатели ищут и находят ответы на серьезные политические и нравственные вопросы современности. Она превращается в лучшем случае в развлекательное чтение. В худшем же варианте, потрафляя самым невзыскательным вкусам, она по существу смыкается с порнографией, открыто пропагандирует насилие и жестокость, культ силы.

Продолжающийся упадок книжной культуры на Западе, о котором с большой тревогой говорят многие видные литераторы, вызван повсеместным распространением телевидения, стремящегося увлечь зрителя в иллюзорный мир всеобщего процветания и по существу представляющего собой для западного обывателя наиболее простой и дешевый способ бегства от неразрешимых проблем действительности. Немалую лепту вносит в борьбу с печатным словом и разразившийся в последние годы на Западе «видеобум».

Одним словом, в данном случае самые худшие опасения выдающегося фантаста подтвердились полностью.

Нельзя обойти молчанием и еще одну оценку Уэллса, злободневность которой сегодня в полной мере сохранилась: «Политическое лицо русских эмигрантов в Англии заслуживает лишь презрения. Они без конца повторяют рассказы о «зверствах большевиков».

Давно почили в бозе многие представители того поколения эмигрантов, что претендовало на знание из пер-

вых рук о «зверствах большевиков». Но как упрямы и настырны попытки гальванизировать эту бредовую легенду в эмигрантских кругах! Конечно, кто платит, тот и заказывает музыку. И приходится отрабатывать кусок хлеба грязной клеветой, которая вызывает презрение и брезгливость у любого честного человека.

Важнейшим узловым моментом этой книги стал рассказ о Великой Отечественной войне. О чувствах, которые испытывали к нашей стране все честные англичане, да и вообще все честные люди мира в те годы, превосходно сказал Джеймс Олдридж: «...я жил вашей жизнью, умирал вашей смертью и отчасти сам испытал душевное напряжение и муку, бывшие вашим уделом в те трудные годы. Но испытал я и нарастающую радость, и непреклонную решимость, и бескрайние надежды, которыми жил каждый советский человек, когда до конца войны оставались считанные месяцы, недели, дни, часы».

В объективной военной хронике Александра Верта нельзя без волнения читать страницы, посвященные массовому героизму ленинградцев. Сквозь скупые, сдержанные репортажные строки нет-нет да прорвется потрясение и восхищение мужеством и стойкостью не только тех, кто сражался на фронтах, но и тех, кто приближал победу в цехах знаменитого Кировского и других заводов, стараясь не обращать внимания на постоянный артиллерийский обстрел.

Великолепный социально-психологический анализ истоков героизма ленинградцев принадлежит перу патриарха современной английской литературы Дж. Б. Пристли: «Самая жестокая в мире дисциплина не может заставить людей приносить такие жертвы: полумертвых от голода носить боеприпасы рабочим, ставшим солдатами, отдавать свои силы для оказания любой возможной помощи, совершать побеги из плена и целые годы сражаться в тылу врага — на это идут добровольно. Ленинградская блокада продолжалась девятьсот дней. Страх не может заставить человека проявлять героизм. Он должен верить душой и сердцем в то, что он защищает. Ошибка Гитлера заключалась в том, что он считал, будто советский режим навязан русским силой и они не будут долго его защищать. И есть люди, которые до сих пор верят в это. Им надо приехать на несколько дней в Ленинград, посмотреть и послушать».

Любые, даже самые беглые заметки о жизни и быте другой страны неминуемо ведут к сравнению. Недаром Пристли подчеркивает, «что русские не стремятся ни к власти, ни к славе, не претендуют на чужие владения, а хотят дружбы, настоящей крепкой дружбы».

Многие авторы книги особо отмечают открытость, доброжелательность, человечность и дружелюбие нашего народа.

Совершивший в свое время большое путешествие по нашей стране Алан Силлитоу говорит о том, что «исконное стремление русского человека служить делу осталось». Ему, сыну рабочего, самому начавшему трудовую жизнь на заводе, наиболее привлекательной чертой нашего общества показалась его созидательность, способствующая раскрытию творческих возможностей каждой личности, осознанная ответственность людей труда за все, что происходит в стране.

Силлитоу по собственному опыту знает, как живут рядовые англичане, и потому его как будто по ходу брошенное сравнение ценно и достойно внимания: «...одеты англичане не лучше и выглядят не более сытыми, и уж во всяком случае, у них лица куда менее одухотворенные».

Знакомство с нашей страной заставило Силлитоу иначе посмотреть и на «добрую старую Англию»: «Это возвращение назад в историю подействовало на меня угнетающе. Вокруг тихая, спокойная мертвечина, уютный хаос, с которым смирились. Я снова в стране, где каждый занят только своим делом, где твой дом за определенную сумму становится твоей крепостью, где социальный прогресс бредет куда-то по беспорядку. На глаза мне попались рекламы. Весь месяц, целые четыре недели, я отдыхал от их крикливой вздорности, от этого конечного плода большой созидательной энергии».

Путевые заметки Силлитоу становятся еще одним звеном в правдивом рассказе о нашей стране. Читая его строки, посвященные вставшему из руин Волгограду, вспоминаешь главу о Сталинграде в военной хронике Верта; повествуя о Братской ГЭС, Силлитоу сам вспоминает Уэллса, с сомнением отнесшегося к ленинскому плану электрификации нашей страны. Связь времен продолжается, она неразрывна.

Если ограничиться даже только теми очерками и статьями, которые собраны в данной книге, то и по ним

можно судить, какой грандиозный путь пройден нашей страной после Великого Октября.

Идет время, и появляются новые свидетельства англичан о поездках в Советский Союз. Так, сравнительно недавно английская писательница Эмма Смит написала книгу под названием «Дети советского села». Изучив, как живут дети в нескольких селах Белоруссии и Сибири, она сделала характерный вывод: «*Эти дети излучают доброту*»¹. (Подчеркнуто Эммой Смит.— Г. А.) Наблюдая колхозные будни доброжелательно и непредвзято, Эмма Смит заметила то, на что мы, выросшие в советское время, наверняка не обратили бы внимания. Вот, например, к какому серьезному и принципиальному обобщению привели ее несколько часов, проведенных в колхозной диспетчерской: «Телефон звонил беспрерывно. Он словно взрывался речью, с треском выдавал несколько фраз и умолкал. В диспетчерской было постоянное движение. Но никто не приходил сюда без определенной цели — просто поболтать. Я тихо сидела в уголке и наблюдала за происходившим. Что-то в общей атмосфере диспетчерской удивляло меня, но я не могла понять сразу, что именно. Мужчины входили уверенным шагом, шли через всю комнату, направляясь к телефону или селектору. Как ни странно, это ничуть не возмущало диспетчера, непосредственно отвечающую за работу диспетчерской. Дежурная была так же спокойна и вела себя так же естественно, как мужчины. И тут меня осенило, я поняла, что меня так удивляло: *люди входили в диспетчерскую как в свой собственный кабинет!* (Подчеркнуто Эммой Смит.) Они чувствовали себя здесь хозяевами. И это было возможно потому, что они и в самом деле были ее хозяевами. Диспетчерская принадлежит всем им, а дежурному диспетчеру — не больше и не меньше, чем всем остальным, приходившим сюда и звонившим. Само помещение и его оборудование, здание, где она находилась, раскинувшиеся вокруг этого здания на многие километры земли — все это принадлежит им. И они это знают. Их уверенность — это уверенность людей, твердо знающих, что они имеют дело с тем, что принадлежит им по праву».

Эмма Смит писала свою книгу в конце 70-х годов в стране победившего, развитого социализма. Рэнсом и

¹ СССР: знакомый и неизведанный. Сб. — М.: Прогресс, 1982, с. 227.

Уэллс писали почти семьдесят лет тому назад. Тем более ценна эта своеобразная переключка через десятилетия — ведь именно об этом чувстве хозяина без собственности, освободившегося от пут капитализма человека, понявшего свою ответственность за все, и начинали писать первые свидетели рождения нового мира.

Так сложилась судьба, что мне посчастливилось лично знать четырех авторов этого сборника. Юным аспирантом я переводил неторопливую беседу Джека Линдсея с Николаем Семеновичем Тихоновым в его хлебосольном и гостеприимном доме. Довелось бывать в немного чопорном доме Чарлза Сноу в фешенебельном лондонском районе Мэйфер, слышать высочайшую оценку творчества Михаила Шолохова из уст видного английского писателя и общественного деятеля. Долгие годы знакомства связывают нас с семьей Олдридж. Мы встречались и в Москве, и в их лондонском доме в рабочем районе Баттерси. В феврале 1984 года я видел, сколько душевных и физических сил вложили обаятельная и эмоциональная Дина и всегда сдержанный и ироничный Джеймс, а также энергичная и неутомимая Эмма Смит в организацию той выставки советских изданий английских авторов, о которой уже шла речь.

«Дорогу на Волгоград» Силлитоу я впервые читал летом 1967 года в номере ленинградской «Астории», ожидая первой встречи с ее автором, который ехал на своем «пежо» из Финляндии. Потом была двухнедельная поездка вдвоем по Советскому Союзу, встречи в Москве и Лондоне. Как говорится, много воды утекло с тех пор в Неве, Москве-реке и Темзе. Силлитоу далеко уже не тот, худощавый, похожий на подростка, остроумно злословящий по поводу «Таймс» и «Дейли телеграф». Сегодня его лицо обрамлено ухоженной седой бородой, он вполне респектабелен не только в одежде, но и в творчестве, которое не противоречит нормам английской буржуазной литературной критики. Боюсь, перед нами еще один пример поразительного умения английского общества превращать оригинальный, выламывающийся из привычных рамок талант в нечто вполне добротное, но лишенное печати самобытности. Сегодня Силлитоу, наверное, не очень приятно вспоминать о левых фразах, что он так щедро расточал в дни своей писательской молодости. Трудно сказать, насколько он искренен теперь, но тогда он был искренен. Чтобы по-

чувствовать это, надо прочесть «Дорогу на Волгоград», книгу, написанную на одном дыхании открытым и чистым сердцем. Именно поэтому этой небольшой книге суждена долгая жизнь, несмотря на то, что еще напишет или заявит в печати ее автор.

Разные люди писали о Советском Союзе, пишут и будут писать.

Разнятся их таланты, политические взгляды и сферы интересов. Объединенные под одной обложкой очерки дают своеобразный коллективный портрет нашей страны на протяжении нескольких десятилетий истории. Портрет этот складывается не только из похвал, но и из критических суждений. Но нам ли, построившим первое в истории социалистическое государство, страшиться критики? Думаю, что не сделаю большого открытия, сказав, что мы свои недостатки знаем лучше, чем кто бы то ни было, и стараемся их изживать.

А вот что касается достоинств... Нередко мы словно бы стесняемся своих достижений, принимаем их как само собой разумеющееся.

Почаще бы нам вспоминать слова профессионального политика, прошедшего долгие годы в английских «коридорах власти» и великолепно описавшего их, Чарлза Сноу: «Один тот факт, что социалистическое государство смогло выстоять и, несмотря на трудности и препятствия, едва укладывающиеся в представлении, превратиться в одну из двух «супердержав» мира,— *сам этот факт имеет непреходящее значение*». (Подчеркнуто мной.— Г. А.)

Умудренный работой в британском правительстве, за которую он получил титул лорда, Сноу был трезвым и преуспевающим буржуазным деятелем и писателем. Отсюда и термин «супердержава» — он всегда мыслил в категориях, которыми мыслит английский правящий класс.

Совсем иной была биография Джеймса Олдриджа. Он не заслужил ни громких титулов, ни богатства. Но он написал роман «Дипломат», очень важную для мировой литературы XX века книгу, и, может быть, еще не вполне оцененную. Писатель ярко выраженного политического темперамента, Олдридж — давний и верный друг нашей страны, потому и его слова нам стоит не забывать: «Ваш социализм пользуется широкой поддержкой вашего народа и многих миллионов за пределами вашей страны. В экономическом отношении ваше

общество более устойчиво, чем наше. В военном отношении вы готовы отразить всякую попытку напасть на Советский Союз и превосходно вооружены для этого... Ныне, когда вы достаточно сильны, чтобы выдержать критику, мы можем сочетать свою поддержку с критической оценкой».

Олдридж говорит правду, как и должен делать настоящий товарищ. Эта его статья об СССР называется «Родина нашего будущего».

Наша страна действительно строит будущее, в этом грандиозном строительстве нас поддерживают друзья и просто честные и объективные люди разных стран. Среди них — и авторы этой книги.

Георгий АНДЖАПАРИДЗЕ

СОДЕРЖАНИЕ

1

Артур Рэнсом. ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ	4
ТЯЖЕЛЫЙ ГОД	9
Герберт Джордж Уэллс. РОССИЯ ВО МГЛЕ (<i>Главы из книги</i>)	20
Петроград на краю гибели	20
Островки спасения среди потопа	30
Кремлевский мечтатель	41
О ЛЕНИНЕ (Из «Опыта автобиографии»), 1934	51
Джек Линдсей. СВЕТОЧ, КОТОРЫЙ Я ИСКАЛ	54
Джордж Бернард Шоу. ОТВЕТ ПРОСТАКАМ	57

2

Джеймс Олдридж. ШЛА ВЕЛИКАЯ ВОЙНА...	64
Александр Верт. РОССИЯ В ВОЙНЕ 1941—1945 (<i>Главы и фрагменты из книги</i>)	76
Из предисловия к русскому изданию	76
Москва в начале войны	79
Осенняя поездка на Смоленский фронт	89
Контрнаступление советских войск под Москвой	96
Ленинград: личные впечатления	107
Сталинград: личные впечатления	125
Сталинград в дни капитуляции немцев: личные впечатления	144
На Украине: личные впечатления	162
Победа	197
Джон Бойнтон Пристли. ПОЕЗДКА В РОССИЮ (<i>Отрывок из книги</i>)	201

3

Ральф Паркер. ГОРОД ОТКРЫТЫХ СЕРДЕЦ	208
РАЗГОВОР С ГЕРБЕРТОМ УЭЛЛСОМ	242

Питер Темпест. НАЧАЛО НОВОЙ ЭРЫ	246
Алан Силлитоу. ДОРОГА НА ВОЛГОГРАД	254
Аларик Джейкоб. СНОВА В РОССИИ	306
Чарлз Перси Сноу. ОТВЕТ НА АНКЕТУ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»	316
«ТИХИЙ ДОН» —ВЕЛИКИЙ РОМАН	318
Джеймс Олдридж. РОДИНА НАШЕГО БУДУЩЕГО	323
Георгий Анджапаридзе. «ЭТОТ ФАКТ ИМЕЕТ НЕПРЕХО- ДЯЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ»	330

Составитель
Владимир Андреевич Скороденко
**АНГЛИЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ
О СТРАНЕ СОВЕТОВ**

Заведующий редакцией А. И. Белинский
Редактор Н. Н. Сотников
Художник Б. Н. Осенчаков
Художественный редактор Б. Г. Смирнов
Технический редактор Г. В. Преснова
Корректор В. Д. Чаленко

ИБ № 2822

Сдано в набор 21.06.84. Подписано к печати 04.10.84.
Формат 84×108^{1/2}. Бумага тип. № 2. Гарн. литерат.
Печать высокая. Усл.-печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 18,48.
Уч.-изд. л. 19,70. Тираж 100 000 экз. Заказ № 581. Цена
1 руб.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023,
Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного
Знамени типография им. Володарского Лениздата,
191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

А64 **Английские писатели о стране Советов/[Составитель и автор примечаний В. А. Скороденко]. — Л.: Лениздат, 1984. — 350 с., ил.**

В тематический сборник вошли очерки и публицистические статьи известных английских писателей Г. Дж. Уэллса, Б. Шоу, Дж. Олдриджа, Д. Пристли, Ч. П. Сноу и других прозаиков, публицистов и общественных деятелей. Сборник завершается послесловием критика Георгия Анджапаридзе «Этот факт имеет непреходящее значение».

А **4703000000—191**
М171(03)—84 **216—84**

84.34(4Вл)

Английские писатели о Стране Советов

